РОМЕН ГАРІ

ПОВІТРЯНІ ЗМІЇ

Подається російською мовою через відсутність українського перекладу

Ромен Гари

Воздушные змеи

Глава I

В наши дни маленький музей творений Амбруаза Флери — не более чем скромное развлечение для посещающих городок Клери туристов. Большинство посетителей отправляется туда, пообедав в "Прелестном уголке", который единодушно воспевается во всех французских путеводителях как одна из главных достопримечательностей. Путеводители всё же упоминают о наличии музея, давая пометку: "Рекомендуем посетить". В пяти залах собрана большая часть работ моего дяди, переживших войну, оккупацию, освободительные бои — все тяжести и превратности судьбы, выпавшие на долю нашего народа.

Воздушные змеи всех стран рождены народной фантазией; это всегда придаёт им некоторую наивность. Воздушные змеи Амбруаза Флери не являются исключением из правила — даже на его последних творениях, созданных в старости, лежит этот отпечаток душевной свежести и чистоты. Музей не закрывает своих дверей, несмотря на слабый интерес публики и скромность получаемых от муниципалитета средств: он слишком связан с нашей историей. Но большую часть

времени его залы пустуют, ибо мы переживаем эпоху, когда французам хочется скорее забыть прошлое, чем вспоминать.

Лучшая фотография Амбруаза Флери висит у входа в музей. Он стоит в форме сельского почтальона — кепи, мундир, грубые башмаки, кожаная сумка на животе — между воздушным змеем в виде божьей коровки и змеем, изображающим Гамбетту[1], чьи голова и туловище образуют баллон и корзину воздушного шара, на котором он совершил свой знаменитый перелёт во время осады Парижа. Существует и множество других фотографий человека, которого долго называли "тронутым почтальоном из Клери", поскольку некоторые посетители мастерской в Ла-Мотт снимали его ради смеха. Мой дядя охотно соглашался сниматься. Он не боялся выглядеть смешным и не жаловался на прозвища "тронутый почтальон" или "тихий чудак", и если даже знал, что местные жители зовут его "помешанный старик Флери", то, казалось, видел в этом скорее знак уважения, чем презрения. В тридцатые годы, когда известность дяди начала расти, хозяину "Прелестного уголка" Марселену Дюпра пришло в голову напечатать почтовые открытки с изображением моего опекуна в форме среди его воздушных змеев с надписью: "Клери. Знаменитый сельский почтальон Амбруаз Флери и его воздушные змеи". К сожалению, все эти открытки черно-белые и не передают весёлой яркости воздушных змеев. Не передают они и добродушной улыбки старого нормандца, как бы подмигивающего небу.

Мой отец был убит во время Первой мировой войны; вскоре после этого умерла и мать. Война стоила жизни и второму из трёх братьев Флери, Роберу. Мой дядя Амбруаз вернулся с войны, раненный в грудь. Должен добавить для ясности, что мой прадед Антуан погиб на баррикадах во времена Коммуны, и думаю, что этот эпизод нашего прошлого и, особенно, двойное упоминание фамилии Флери на памятниках погибшим в Клери сыграли решающую роль в жизни моего опекуна. Он стал совсем другим человеком, чем до войны 1914 — 1918 годов, — тогда о нём говорили в округе, что он легко кидается в драку. Люди удивлялись, что бывший солдат, награждённый медалью, никогда

не упускает случая высказать пацифистские взгляды, защищает уклоняющихся от военной службы по нравственным соображениям и протестует против всех видов насилия с огнём во взгляде — возможно, это был отблеск огня, горящего у могилы Неизвестного солдата. По внешности он совсем не походил на мягкого человека. Волевое лицо, правильные, жёсткие черты, седые, стриженные ёжиком волосы, густые и длинные усы, которые называют "галльскими", поскольку французы, слава Богу, ещё не разучились дорожить своими историческими воспоминаниями, даже если это всего лишь память об усах. Глаза были тёмные — это всегда признак весёлости. По общему мнению, он вернулся с войны "тронувшимся" — так объясняли его пацифизм и причуду отдавать всё свободное время воздушным змеям — "ньямам", как он их называл. Он нашёл это слово в книге об Экваториальной Африке, где оно будто бы означает всё, в чём есть дыхание жизни: людей, мошек, львов, слонов или идеи. Наверное, он выбрал работу сельского почтальона потому, что его военная медаль и два военных креста давали ему право на почётную службу, а может, он видел здесь поле деятельности, подходящее для пацифиста. Он часто говорил мне: "Мой маленький Людо, если тебе повезёт и ты будешь хорошо работать, когда-нибудь и ты сможешь получить место почтового служащего".

Мне понадобились годы, чтобы понять, как переплетались в его характере глубокая серьёзность и стойкость и свойственное французам шутливое лукавство.

Дядя говорил, что "воздушные змеи должны, как и все, учиться летать", и с семи лет я провожал его после школы на "испытания", как он это называл, то на луг, раскинувшийся перед Ла-Мотт, то немного дальше, на берега Риголи, с "ньямом", от которого ещё приятно пахло свежим клеем.

— Надо крепко держать змеев, — объяснял он мне, — потому что они тянут вверх и иногда вырываются, поднимаются слишком высоко в погоне за небом, и тогда их больше не увидишь, разве только люди принесут обломки.

— А если я буду держать слишком крепко, я не улечу вместе с ними? Он улыбался, и его густые усы казались ещё милее.

— Может и так случиться, — говорил он. — Надо не позволить себя унести.

Дядя давал своим воздушным змеям ласковые имена: "Страшила", "Резвунчик", "Хромуша", "Пузырь", "Парень", "Трепетунчик", "Красавчик", "Косолапый", "Плескунчик", "Милок", — и я никогда не знал, почему он называл их так, а не иначе, почему змей, похожий на весёлую лягушку, махающий на ветру лапками, как бы здороваясь, назывался "Косолапый", а широко улыбающаяся рыбка, вздрагивающая в воздухе своими серебристыми чешуйками и розовыми плавниками, звалась "Плескунчик". Я не знал, отчего он чаще запускал над лугом у Ла-Мотт своего змея "Пампушку", чем "Марсианина", который мне очень нравился из-за круглых глаз и крыльев в виде ушей, трепетавших, когда он поднимался; этим движениям я успешно подражал, лучше, чем все мои одноклассники. Когда дядя запускал "ньяма", чья форма была мне непонятна, он объяснял:

— Надо стараться делать змеев, которые отличаются от всего, что уже видели. Что-то совсем новое. И тогда их нужно ещё крепче держать за бечёвку, потому что, если упустишь, они улетают в небо и при падении могут сильно поломаться.

Но иногда мне казалось, что это вовсе не Амбруаз Флери держит воздушного змея за бечёвку, а наоборот.

Моим любимцем долго был славный "Пузырь", чей живот удивительно раздувался от воздуха, когда он набирал высоту; при самом слабом ветерке он делал пируэты, смешно похлопывая себя лапками по брюшку, когда дядя натягивал или отпускал нити.

Я укладывал "Пузыря" с собой спать, потому что на земле воздушному змею очень нужна дружба: здесь он теряет форму и движение и легко может впасть в отчаяние. Ему нужны высота, воздух и много неба, чтобы развернуться во всей красе.

Днём мой опекун обходил округу, выполняя свои обязанности: он разносил местным жителям почту, которую забирал утром на почтамте. Но когда я возвращался из школы, пройдя пять километров, он почти всегда стоял в форме почтальона на лугу у Ла-Мотт (во второй половине дня у нас поднимается ветер), устремив глаза вверх на одного из своих дружков, трепещущих над землёй.

Однажды мы потеряли нашего великолепного "Морехода" с двенадцатью парусами, которые ветер надул разом, вырвав его у меня из рук, и я захныкал; дядя, следя взглядом за своим детищем, исчезающим в небе, сказал:

— Не плачь. Для того он и создан. Ему хорошо там, наверху.

Назавтра местный фермер привёз нам в телеге с сеном кучу деревяшек и бумаги — всё, что осталось от "Морехода".

Мне было десять лет, когда выпускаемая в Онфлере газета посвятила статью в юмористическом духе "нашему земляку Амбруазу Флери, сельскому почтальону в Клери, симпатичному оригиналу, чьи воздушные змеи составят когда-нибудь славу этих мест, как кружева прославили Валансьен, фарфор — Лимож и глупость — Камбре". Дядя вырезал статью, застеклил и повесил на гвоздь на стене мастерской,

— Как видишь, я не лишён тщеславия, — сказал он, лукаво подмигнув.

Газетную заметку с сопроводительной фотографией перепечатала одна парижская газета, и в скором времени наш сарай, получивший

название "мастерской", начал принимать не только посетителей, но и заказы. Хозяин "Прелестного уголка", старый друг моего дяди, рекомендовал эту "местную достопримечательность" своим клиентам. Однажды перед нашей фермой остановился автомобиль и из него вышел очень элегантный господин. На меня особенное впечатление произвели его усы, которые торчали до ушей и соединялись с бакенбардами, деля лицо пополам. Позже я узнал, что это крупный английский коллекционер лорд Хау. При нём был лакей и чемодан; когда чемодан открыли, я обнаружил великолепных воздушных змеев из разных стран: Бирмы, Японии, Китая и Сиама, — тщательно уложенных на обтянутом бархатом дне. Дяде было предложено полюбоваться ими, что он и сделал с полной искренностью, так как в нём абсолютно не было шовинистической жилки. В этом отношении его единственным "пунктиком" было утверждение, что воздушный змей стал значительной персоной только во Франции в 1789 году. Отдав должное образчикам английского коллекционера, дядя в свою очередь показал ему некоторые из собственных творений, среди которых был "Виктор Гюго в облаках", сделанный под влиянием знаменитой фотографии Надара, — причём поэт напоминал Бога Отца, поднимающегося в воздух. После одного-двух часов осмотра и взаимных комплиментов они оба отправились на луг, каждый запустил из любезности змея другого, и они оживляли нормандское небо до тех пор, пока не сбежались все окрестные мальчишки, чтобы принять участие в празднике.

Известность Амбруаза Флери росла, но не вскружила ему голову даже тогда, когда его "Герцогиня де Монпансье во фригийском колпаке" (у дяди была натура истого республиканца) получила первый приз на выставке в Ножане и лорд Хау пригласил его в Лондон, где дядя продемонстрировал некоторые из своих изделий в Гайд-парке. Политический климат Европы начинал портиться после прихода к власти Гитлера и оккупации Рейнской области, и в то время часто проводились различные мероприятия, имеющие целью укрепить франко-британское содружество. Я сохранил фото из "Иллюстрейтед Лондон ньюс", где Амбруаз Флери со своей "Свободой, озаряющей мир" стоит между лордом Хау и принцем Уэльским. После этого полуофициального

триумфа Амбруаза Флери избрали сначала членом, а затем почётным президентом общества "Воздушные змеи Франции". Визиты любопытных становились всё чаще.

Прекрасные дамы и важные господа, приезжавшие в автомобилях из Парижа позавтракать в "Прелестном уголке", отправлялись после этого к нам и просили "мэтра" продемонстрировать какое-нибудь из его творений. Прекрасные дамы усаживались на траву, важные господа с сигарой в зубах старались сохранять серьёзность, и публика наслаждалась созерцанием "тронутого почтальона" с его "Монтенем" или "Всеобщим миром", которого он удерживал за бечёвку, глядя в небо пронзительным взором великих мореплавателей. В конце концов я почувствовал, сколько оскорбительного было в усмешках важных дам и снисходительном выражении лиц холеных господ, и мне случалось уловить нелестные или полные сожаления реплики. "Он, кажется, не совсем нормален. Его задело снарядом во время войны". "Он объявляет себя пацифистом и ратует за ценность человеческой жизни, но я считаю, что это хитрец, который изумительно умеет создавать себе рекламу". "Умереть можно от смеха!" "Марселен Дюпра был прав, сюда стоило заехать!" "Вы не находите, что он похож на маршала Лиотэ, со своим седым ёжиком и с этими усами?" "У него что-то безумное во взгляде…" "Ну конечно, дорогая, — так называемый священный огонь!" Затем они покупали воздушного змея, как платят за место в театре, и без всякого уважения бросали его в багажник автомобиля. Это было тем более тяжело, что дядя, всецело отдаваясь своей страсти, становился безразличен к тому, что происходит вокруг, и не замечал, что некоторые гости развлекались на его счёт. Однажды, возвращаясь домой, взбешённый замечаниями, которые я услышал, когда мой опекун управлял полётом своего всегдашнего любимца "Жан-Жака Руссо" с крыльями в форме раскрытых книг, чьи листы трепал ветер, я не смог сдержать своего негодования. Я шёл за дядей большими шагами, нахмурив брови, засунув руки в карманы, и так сильно топал, что носки спадали мне на пятки.

— Дядя, эти парижане смеялись над вами. Они вас назвали старым дурнем. Амбруаз Флери остановился. Он совсем не был обижен, скорее удовлетворён.

— Вот как? Они так сказали?

Тогда я бросил с высоты своих метра сорока сантиметров фразу, которую слышал из уст Марселена Дюпра по поводу одной пары, посетившей "Прелестный уголок" и пожаловавшейся на величину счёта:

— Это мелкие люди.

— Мелких людей не бывает, — заявил дядя.

Он наклонился, осторожно положил "Жан-Жака Руссо" на траву и сел. Я сел рядом.

— Значит, они назвали меня дурнем. Ну что ж, представь себе, эти важные дамы и господа правы. Совершенно очевидно, что человек, который посвятил всю свою жизнь воздушным змеям, немного придурковат. Вопрос только, как это толковать. Некоторые называют это придурью, а другие — "священной искрой". Иногда трудно отличить одно от другого. Но если ты действительно кого-нибудь или что-нибудь любишь, отдай всё, что у тебя есть, и даже всего себя, и не заботься об остальном…

Весёлая улыбка быстро мелькнула под густыми усами.

— Вот что ты должен знать, если хочешь стать хорошим служащим почтового ведомства, Люд о.

Глава II

Принадлежавшую нашей семье ферму построил один из Флери вскоре после того, что во времена моих деда и бабушки называлось "событиями". Когда однажды мне захотелось узнать, что за "события" имелись в виду, дядя объяснил, что это была революция 1789 года. Я узнал также, что мы отличаемся хорошей памятью.

— Может быть, это из-за обязательного народного обучения, но Флери всегда имели удивительную историческую память. Думаю, никто из наших никогда и ничего не забывал из того, что выучил. Дедушка иногда заставлял нас рассказывать наизусть Декларацию прав человека. Я так к этому привык, что, случается, и теперь её повторяю.

Тогда же я узнал (мне только что исполнилось десять лет), что, хотя моя собственная память ещё не приняла "исторического" характера, она вызывает у моего школьного учителя господина Эрбье, в определённые часы певшего басом в хоре Клери, удивление и даже беспокойство. Лёгкость, с какой я запоминал всё пройденное и мог повторить наизусть несколько страниц из школьного учебника, прочитав их раз или два, так же как странная способность к счёту в уме, казалась ему скорее неким умственным отклонением, чем просто свойством хорошего или даже выдающегося ученика. Он не доверял тому, что называл не моим даром, а "предрасположенностью" (в его устах это звучало зловеще, и я почти чувствовал себя виноватым), так как все знали о дядиных "странностях" и могло статься, что я тоже страдаю каким-то наследственным изъяном, который мог оказаться роковым. Чаще всего я слышал от господина Эрбье высказывание: "Умеренность прежде всего"; произнося это предостережение, он серьёзно всматривался в меня. Однажды, когда мои наклонности проявились так явно, что один товарищ на меня наябедничал, поскольку я выиграл пари и получил кругленькую сумму, повторив наизусть десять страниц расписания поездов по справочнику Шэ, я узнал, что господин Эрбье употребил по моему адресу выражение "маленькое чудовище". Я усугубил своё положение, предаваясь извлечению квадратных корней в уме и моментально перемножая очень длинные числа. Господин Эрбье отправился в Ла-Мотт, долго говорил с

моим опекуном и посоветовал ему отвезти меня в Париж и показать специалисту. Прижав ухо к двери, я не упустил ничего из этой беседы.

— Амбруаз, речь идёт о способности, которая ненормальна. Бывает, что дети, исключительно способные к устному счёту, сходят потом с ума. Их демонстрируют на сценах мюзик-холлов, и ничего более. Часть их мозга развивается ошеломляющим образом, но в общем они становятся настоящими кретинами. В своём теперешнем состоянии Людовик почти может сдать вступительный экзамен в институт.

— Это действительно любопытно, — сказал дядя. — У нас, Флери, больше развита историческая память. Один из нас даже был расстрелян во время Коммуны.

— Не вижу связи.

— Ещё один, который помнил.

— Помнил о чём?

Дядя немного помолчал.

— Обо всём, наверное, — сказал он наконец.

— Вы не собираетесь утверждать, что вашего предка расстреляли из-за избытка памяти?

— Именно это я и говорю. Он, должно быть, знал наизусть всё, что французский народ пережил в течение веков.

— Амбруаз, вы здесь известны, извините меня, как… э-э… в общем, человек одной идеи, но я пришёл говорить с вами не о ваших воздушных змеях.

— Ну да, верно, я тоже одержимый.

— Я хочу просто предупредить вас, что память маленького Людовика не соответствует его возрасту, да и никакому возрасту. Он прочёл наизусть справочник Шэ. Десять страниц. Он умножил четырнадцатизначное число на другое, такое же длинное.

— Значит, у него это выражается в цифрах. Кажется, ему не дана историческая память. Может быть, это спасёт его от расстрела в следующий раз.

— Какой следующий раз?

— Да разве я знаю? Всегда есть следующий раз.

— Вам надо было бы показать его врачу.

— Слушайте, Эрбье, вы начинаете мне надоедать. Если бы мой племянник действительно был ненормален, он был бы кретином. До свидания и спасибо за визит. Я понимаю, что вы это делаете из лучших побуждений. Он так же способен к истории, как к математике?

— Ещё раз, Амбруаз, здесь нельзя говорить о способностях. Ни даже об уме. Ум предполагает рассуждение. Я на этом настаиваю: рассуждение. В этом отношении он рассуждает не лучше, не хуже, чем другие мальчишки его возраста. Что же касается истории Франции, то он может пересказать её с начала до конца.

Наступила довольно долгая пауза, потом я внезапно услышал, как дядя взревел:

— До конца? Какого конца?! Что, уже предвидится конец?!

Господин Эрбье не нашёл что ответить. После поражения 1940 года, когда явно наметился "конец", мне часто случалось вспоминать об этом разговоре.

Единственным из учителей, который вовсе не казался обеспокоенным моими "наклонностями", был мой преподаватель французского, господин Пендер. Он рассердился только один раз, когда, читая наизусть "Конквистадоров"[2], я, в своём стремлении превзойти себя, решил прочесть поэму наоборот, начиная с последней строфы. Господин Пендер прервал меня, погрозив пальцем:

— Мой маленький Людовик, не знаю, готовишься ли ты таким образом к тому, что, кажется, угрожает всем нам, то есть к жизни навыворот в перевёрнутом мире, но прошу тебя по крайней мере пощадить поэзию.

Тот же господин Пендер дал нам позднее тему сочинения, воспоминание о которой сыграло определённую роль в моей жизни: "Проанализируйте и сравните два выражения: уметь сохранять здравый смысл и сохранять смысл жизни. Скажите, видите ли вы противоречие между этими двумя идеями".

Надо признать, что господин Эрбье был не совсем не прав, когда делился с дядей своими опасениями на мой счёт, полагая, что лёгкость, с какой я всё запоминаю, вовсе не означает зрелости ума, уравновешенности и здравого смысла. Может быть, недостаток здравого смысла — общая беда всех людей, страдающих избытком памяти; доказательство тому — количество французов, расстрелянных через несколько лет или погибших в концлагерях.

Глава III

Наша ферма находилась позади селения Кло, на краю леса Вуаньи, где росли вперемежку папоротники и дрок, буки и дубы и водились

олени и кабаны. Дальше шли болота — мирное царство уток, выдр, лебедей и стрекоз.

Ферма Ла-Мотт была довольно уединённой. Нашими ближайшими соседями, в добром получасе ходьбы, были Кайе: маленький Жанно Кайе был на два года моложе меня и смотрел на меня снизу вверх. Его родители держали в городе молочную. Дед его, Гастон, потерявший ногу в результате несчастного случая на лесопилке, занимался пчеловодством. Дальше жила семья Маньяр: молчаливые, равнодушные ко всему, что не являлось коровой, маслом или полем; отец, сын и две старые девы никогда ни с кем не разговаривали.

— Они говорят, только когда надо назвать или узнать цену, — ворчал Гастон Кайе. Затем по дороге от Ла-Мотт к Клери шли фермы семей Монье и Симон; их дети учились со мной в одном классе.

Я знал окрестные леса до самых дальних уголков. Дядя помог мне построить на краю оврага, у так называемого "Старого источника", индейский "вигвам", шалаш из веток, накрытый клеёнкой, где я уединялся с книгами Джеймса Оливера Кервуда и Фенимора Купера, чтобы мечтать об апачах и сиу или защищаться до последнего патрона от осаждающих меня врагов, всегда "превосходящих по численности", как того требует традиция. В середине июня я наелся до отвала земляники и задремал, а открыв глаза, увидел перед собой девочку с очень светлыми волосами, в большой соломенной шляпе; она строго на меня смотрела. Под ветвями солнце перемежалось с тенью; мне ещё и теперь, после стольких лет, кажется, что эта игра светотени вокруг Лилы никогда не прекращалась, и в тот миг волнения, причина и природа которого были мне тогда непонятны, я был в какой-то мере предупреждён о будущем. Инстинктивно, под влиянием то ли неведомой внутренней силы, то ли слабости, я сделал жест, окончательность и бесповоротность которого не мог предвидеть: я протянул пригоршню земляники строгому белокурому существу. Но так просто я не отделался. Девочка села рядом со мной и, не обращая никакого внимания на горсть земляники, завладела всей корзинкой. Итак, роли

были распределены навсегда. Когда на дне корзинки осталось всего несколько земляничин, она мне её вернула и сообщила не без упрёка:

— С сахаром вкуснее.

Я не колебался. Я вскочил, помчался во весь дух в Ла-Мотт, пулей влетел на кухню, схватил с полки кулёк сахарной пудры и с той же скоростью проделал обратный дуть. Она была на месте и сидела на траве, положив рядом шляпу и разглядывая божью коровку на тыльной стороне руки. Я протянул ей сахар.

— Больше не хочу. Но ты милый.

— Оставим здесь сахар и придём завтра, — сказал я с вдохновением отчаяния.

— Может быть. Тебя как зовут?

— Людо. А тебя? Божья коровка улетела.

— Мы ещё недостаточно знакомы. Может, когда-нибудь я и скажу тебе моё имя. Знаешь, я довольно загадочна. Наверно, ты меня никогда больше не увидишь. Чем занимаются твои родители?

— У меня нет родителей. Я живу у дяди.

— Что он делает?

Я смутно чувствовал, что "сельский почтальон" было не то, что надо.

— Он мастер воздушных змеев, — сказал я. На неё это как будто произвело благоприятное впечатление.

— Что это значит?

— Это как капитан дальнего плавания, только в небе. Она подумала ещё минутку, потом встала.

— Может быть, завтра я опять приду, — сказала она. — Не знаю. Я очень неожиданная. Сколько тебе лет?

— Скоро будет десять.

— О, ты для меня слишком молод. Мне одиннадцать с половиной. Но я очень люблю землянику. Жди меня здесь завтра в это же время. Я приду, если у меня не будет ничего более интересного.

Она ушла, в последний раз строго взглянув на меня.

Назавтра я набрал, наверно, три кило земляники. Каждые несколько минут я бежал смотреть, не идёт ли она. В этот день она не пришла. Не пришла ни завтра, ни послезавтра.

Я ждал её каждый день весь июнь, июль, август и сентябрь. Сначала я рассчитывал на землянику, потом — на чернику, ежевику и грибы. Такую муку ожидания я переживал только с 1940 по 1944 год, пока ждал возвращения подлинной Франции. Когда и надежда на грибы меня покинула, я по-прежнему возвращался в лес на место нашей встречи. Прошёл год, и ещё год, и ещё, и я обнаружил, что господин Эрбье был не так уж не прав, когда предостерегал дядю, что в моей памяти есть что-то, внушающее беспокойство. Видимо, у Флери действительно имелся наследственный недостаток: отсутствовала успокоительная способность к забвению. Я учился, помогал опекуну в мастерской, но редки были дни, когда белокурая девочка в белом платье, с большой соломенной шляпой в руке не составляла бы мне компанию. Речь шла именно об "избытке памяти", как совершенно справедливо сказал господин Эрбье, — сам он им не страдал, так как при нацистах педантично держался в стороне от

всего того, что так страстно и опасно взывало к воспоминаниям. Мне и через три-четыре года после нашей встречи случалось, как только появлялась первая земляника, наполнять корзинку и, лёжа под буком и подложив руки под голову, закрывать глаза, чтобы заставить Её внезапно появиться передо мною. Я не забывал даже коробку сахара. Разумеется, в конце концов всё это стало окрашиваться улыбкой. Я начинал понимать, что дядя называл "погоней за небом", и учился смеяться над самим собой и своим "избытком памяти".

Глава IV

В порядке исключения я сдал экзамен на степень бакалавра в четырнадцать лет; помогло и свидетельство о рождении, "подправленное" секретарём мэрии господином Жюльяком, который написал, что мне пятнадцать. Я ещё не знал, что мне с собой делать. А пока мои математические способности подали Марселену Дюпра мысль доверить мне бухгалтерию "Прелестного уголка", и я ходил туда два раза в неделю. Я читал всё, что попадалось под руку, от средневековых фаблио до таких произведений, как "Огонь" Барбюса и "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка. Эти книги мне подарил дядя, хотя он редко руководил моим чтением, доверяя "обязательному народному обучению", но больше всего, кажется, тому, что вызывало, вызывает и будет вызывать споры: наследственным чертам характера — особенно присущим нашей семье, как говорил дядя.

Он уже несколько лет как оставил службу, но Марселен Дюпра настоятельно советовал ему, принимая посетителей, надевать старую форму сельского почтальона. Хозяин "Прелестного уголка" обладал тем, что сегодня назвали бы "острым чутьём в области общественных отношений".

— Понимаешь, Амбруаз, у тебя теперь есть легенда, и ты должен её поддерживать. Знаю, что тебе на это наплевать, но ты должен это сделать для наших мест. Клиенты всегда меня спрашивают: "А этот знаменитый почтальон Флери со своими воздушными змеями ещё здесь?

Можно его видеть?" В конце концов, ты ведь продаёшь свои забавные штучки и этим живёшь. Значит, надо держать марку. Когда-нибудь будут говорить "почтальон Флери", как говорят "Таможенник Руссо"[3]. Когда я говорю с клиентами, я не снимаю кухонного колпака и куртки, потому что меня хотят видеть именно таким.

Хотя Марселен был старый друг, предлагаемые им уловки дяде совсем не нравились. Произошло несколько бурных споров. Хозяин "Прелестного уголка" считал себя в некотором роде национальной гордостью и признавал равными себе только Пуэна во Вьене, Пика в Балансе и Дюмена в Сольё. У Марселена была представительная фигура, немного лысеющая голова, светлые глаза голубовато-стального оттенка. Маленькие усики придавали ему суховатый вид. В его манере держаться чувствовалось что-то военное; возможно, это осталось у него от тех лет, которые он провёл в траншеях, от 1914-1918 годов. В тридцатые годы Франция ещё не думала прятаться за своим кулинарным величием, и Марселен Дюпра считал себя непризнанным.

— Единственный, кто меня понимает, это Эдуар Эррио[4]. Как-то он мне сказал перед уходом: "Каждый раз, как я здесь бываю, у меня делается спокойнее на душе. Не знаю, что нам готовит будущее, но уверен, что "Прелестный уголок" выдержит всё. Только, Марселен, придётся немного подождать с твоим орденом Почётного легиона. Франция ещё наслаждается избытком культурных ценностей, от этого некоторым из наших более скромных ценностей не уделяется должного внимания". Вот что мне сказал Эррио. Так что доставь мне удовольствие, Амбруаз. В этом углу только ты да я пользуемся известностью. Уверяю тебя, если ты будешь время от времени надевать для своей клиентуры форму почтальона, то вид у тебя будет лучше, чем в твоём мужицком вельвете.

В конце концов дядя начинал смеяться. Я всегда был счастлив, когда на его лице появлялись добрые морщинки — такие весёлые.

— Этот славный Марселен! Тяжело быть великим человеком! Ну что ж! Он не совсем не прав, а чтобы сделать мирное искусство воздушных змеев более популярным, можно немного пожертвовать самолюбием.

Думаю всё же, что дядя без особого неудовольствия надевал при случае свою старую форму сельского почтальона, чтобы пойти с детьми на луг — двое-трое ребят часто приходили после школы в Ла-Мотт для "испытаний".

Как я уже говорил, Амбруаза Флери избрали почётным президентом общества "Воздушные змеи Франции", причём, Бог знает почему, он подал в отставку во время мюнхенских событий[5]. Я так и не вполне понял, почему убеждённый пацифист чувствовал такое возмущение и подавленность, когда в Мюнхене был спасён мир — пусть даже некоторые квалифицировали его как "позорный мир". Вероятно, всё те же вечные проделки проклятой "исторической памяти" Флери.

Моя память тоже не отпускала меня. Каждое лето я возвращался в незабываемый лес. Я спрашивал местных жителей и знал, что не был жертвой галлюцинации, как мне стало иногда казаться. Элизабет де Броницкая действительно существовала; её родители были владельцы "Гусиной усадьбы", расположенной вдоль дороги из Кло в Клери, мимо её стен я каждый день ходил в школу. Они уже несколько лет не приезжали летом в Нормандию. Дядя рассказал мне, что корреспонденцию отправляли в Польшу: их поместье находилось на берегу Балтийского моря, недалеко от свободного города Гданьска, в те годы более известного под названием Данциг. Никто не знал, собираются ли они вернуться.

— Это не первый и не последний воздушный змей, которого ты теряешь в своей жизни, Людо, — говорил дядя, когда видел, как я возвращаюсь из лесу с корзинкой земляники — к сожалению, полной.

Я ни на что больше не надеялся, но даже если эта игра и становилась немного слишком ребяческой для четырнадцатилетнего мальчика, вдохновлял меня пример зрелого человека: дядя сохранил в душе ту долю наивности, которая трансформируется в мудрость только при неудачном старении.

Около четырёх лет я не видел ту, кого называл "своей маленькой полькой", но я абсолютно ничего не забыл. У неё было лицо с такими тонкими чертами, что его хотелось коснуться ладонью; гармоничная живость каждого её движения позволила мне получить отличную оценку на экзамене по филологии на степень бакалавра. Я выбрал на устном экзамене эстетику, и экзаменатор, видимо измученный рабочим днём, сказал мне:

— Я задам вам только один вопрос и прошу вас ответить мне одним словом. Что характеризует грацию?

Я подумал о маленькой польке, о её шее, её руках, о полёте её волос и ответил без колебания:

— Движение.

Я получил "девятнадцать". Я сдал экзамен благодаря любви.

Кроме Жанно Кайе, который иногда садился в углу и смотрел на меня с лёгкой печалью, — однажды он сказал с завистью: "У тебя по крайней мере кто-то есть", — я ни с кем не дружил. Я стал почти так же безразличен ко всему окружающему, как Маньяры. Иногда я встречал их на дороге, когда они ехали на рынок со своими ящиками, — отца, сына и обеих дочерей, трясущихся на телеге. Каждый раз я здоровался с ними, а они мне не отвечали.

В начале июля 1936 года я сидел на траве рядом со своей корзинкой земляники. Я читал стихи Жозе-Мариа де Эредиа, который мне и сейчас

ещё кажется совершенно несправедливо забытым. Передо мной была светлая прогалина между буками — луч света катался там по земле, как сладострастный кот. Время от времени с соседнего болотца взлетало несколько синиц.

Я поднял глаза. Она была здесь, передо мной — девушка, с которой четыре прошедших года обошлись с благоговением, отдававшим должное моей памяти. Я застыл, почувствовав в груди толчок сердца, от которого у меня сжалось горло. Потом волнение прошло, и я спокойно положил книгу. Она вернулась с небольшим опозданием, вот и всё.

— Кажется, ты ждёшь меня четыре года… Она засмеялась.

— И ты даже не забыл сахар!

— Я никогда ничего не забываю.

— А я забываю очень легко. Я не помню даже, как тебя зовут.

Я не мешал ей играть роль. Раз она знала, что я повсюду искал её, она должна была знать, кто я.

— Подожди, дай подумать… Ах да, Людовик. Людо. Ты сын знаменитого почтальона Амбруаза Флери.

— Племянник.

Я протянул ей корзинку земляники. Она съела одну, села рядом и взяла мою книгу.

— Боже мой, Жозе-Мариа де Эредиа! Но это так старо! Тебе бы следовало читать Рембо и Аполлинера.

Оставалось только одно. Я прочёл наизусть:

Его любимая в Анжу, что так нежна,

Чарует волшебством несбыточного сна.

Смятенною тоской душа его полна,

Звучащею струной пленяется она.

Неверный — в песне, что для пахаря сложил,

Он голосом тоску свою избыл.

Она казалась польщённой и довольной собой.

— Наши садовники рассказали мне, что ты у них спрашивал, вернусь ли я. Действительно безумная любовь.

Я понял, что, если не буду защищаться, я пропал.

— Знаешь, иногда лучший способ забыть кого-то — это снова его увидеть.

— Ух ты! Не обижайся. Я шучу. Правду говорят, что вы все такие?

— Как это "такие"?

— Что вы не забываете?

— Мой дядя Амбруаз говорит, что у Флери такая хорошая память, что некоторые из нас от этого умерли.

— Как можно умереть от памяти? Это глупости.

— Он тоже так думает, поэтому он стал сельским почтальоном и ненавидит войну. Теперь он интересуется только воздушными змеями. В небе они очень красивы, только надо держать их за бечёвку, а то если они вырвутся и упадут, то станут просто бумагой и обломками дерева.

— Я бы хотела, чтобы ты объяснил, как можно умереть от памяти.

— Это довольно сложно.

— Я не совсем идиотка. Может быть, я пойму.

— Я только хочу сказать, что это довольно трудно объяснить. Кажется, Флери были жертвами обязательного народного обучения.

— Жертвами чего?!

— Обязательного народного обучения. Они выучили слишком много прекрасных вещей, и слишком хорошо их запомнили, и поверили в них полностью, и передавали их от отца к сыну из-за наследственных черт характера, и...

Я чувствовал себя не на высоте и хотел добавить, что во всём этом есть частица сумасшествия, которую называют также священной искрой, но под этим устремлённым на меня голубым строгим взглядом путался ещё больше и только упрямо повторял:

— Им объяснили слишком много прекрасных вещей, в которые они поверили: ради них они даже пожертвовали жизнью. Поэтому дядя стал пацифистом и защитником гуманности.

Она покачала головой и сказала: "П-ф-ф!"

— Я ничего не понимаю в этой твоей истории. Это ни на что не похоже, что твой дядя тебе рассказывает.

Тогда мне пришла мысль, которая показалась мне очень ловкой.

— Приходи к нам в Ла-Мотт, он тебе сам объяснит.

— Я не собираюсь терять время на сказки. Я читаю Рильке и Томаса Манна, а не Жозе-Мариа де Эредиа. Кроме того, ты с ним живёшь, а он, кажется, не смог объяснить тебе, что он хочет сказать.

— Надо быть французом, чтобы понять. Она рассердилась:

— Дьявол! Потому что у французов память лучше, чем у поляков?

Я начинал терять голову. Это была вовсе не та беседа, на которую я надеялся после трагической четырёхлетней разлуки. С другой стороны, мне ни в коем случае не хотелось выглядеть жалким, хоть я и не читал ни Рильке, ни Томаса Манна.

— Речь идёт об исторической памяти, — сказал я. — Существует много вещей, которые французы помнят и не могут забыть всю жизнь, кроме людей, у которых бывают провалы памяти. Я тебе ужо объяснял, что это действие обязательного народного обучения. Не понимаю, что тебе тут непонятно.

Она встала и посмотрела на меня с жалостью:

Так ты считаешь, что только у вас, французов, есть эта "историческая память"? Что у нас, поляков её нет? Никогда я не видала такого осла. Только за последние пять веков у Броницких было по шестьдесят убитых, причём большинство погибло при героических обстоятельствах, и у нас есть документы, которые это доказывают. Прощай. Больше ты меня не увидишь. Или нет, увидишь. Мне тебя

жалко. Ты приходишь сюда четыре года и ждёшь меня, и, вместо того чтобы признаться, что ты в меня безумно влюблён — как все остальные, — ты плохо говоришь о моей стране. Во-первых, что ты знаешь о Польше? Ну, давай, я слушаю.

Она скрестила руки на груди и ждала.

Всё это так отличалось от того, на что я надеялся и что представлял себе, когда мечтал о ней, что слёзы навернулись мне на глаза. Во всём виноват мой старый сумасшедший дядя, он забил мне голову вещами, которые ему лучше бы использовать для своих бумажных хлопушек. Я сделал такое усилие, чтобы не разреветься, что она вдруг забеспокоилась:

— Что с тобой? Ты позеленел.

— Я люблю тебя, — пробормотал я.

— Это не причина, чтобы зеленеть, во всяком случае пока. Ты должен узнать меня получше. До свидания. До скорой встречи. Но только никогда не давай нам, полякам, уроков исторической памяти. Обещаешь?

— Клянусь тебе, я не хотел… Я очень хорошо думаю о Польше. Это страна, известная…

— Чем?

Я замолчал. Я с ужасом обнаружил, что единственное, что приходило мне на ум по поводу Польши, было выражение: "Пьян как поляк". Она засмеялась:

— Ну ладно. Четыре года — это неплохо. Конечно, бывает и лучше, но на это нужно время. С этим бесспорным высказыванием, произнесённым с серьёзным видом, она меня оставила

— белая быстрая фигурка, мелькнувшая за буками, среди света и тени.

Я дотащился до Ла-Мотт и лёг лицом к стене. У меня было чувство, что моя жизнь кончена. Я не мог понять, как и почему, вместо того чтобы кричать ей о своей любви, я втянулся в этот бессмысленный спор о Франции, Польше, об их исторической памяти, которая интересует меня как прошлогодний снег. Всё это дядина вина с этими его "Жоресами" с радужными крыльями и "Мальчиком Арколе"[6], от которого теперь, как объяснил дядя, осталось только название моста, справедливо это или нет.

Вечером он поднялся ко мне:

— Что с тобой?

— Она вернулась.

Он любовно улыбнулся.

— Бьюсь об заклад, что она теперь совсем другая, — сказал он. — Гораздо надёжнее, когда делаешь своих воздушных змеев сам, беря красивые краски, бечёвки и бумагу.

Глава V

На следующий день, около четырёх часов, когда я уже начал думать, что всё кончено и мне придётся сделать самое сверхчеловеческое усилие, состоящее в том, чтобы забыть, перед нашим домом остановилась огромная синяя открытая автомашина. Корректный шофёр

в серой форме объявил нам, что я приглашён к чаю в "усадьбу". Я поспешно начистил башмаки, надел свой единственный костюм, из которого вырос, и сел рядом с шофёром — он оказался англичанином. Он сообщил мне, что Станислав де Броницкий, отец "барышни", — финансовый гений; его жена была одной из самых известных актрис в Варшаве и, оставив театр, утешалась тем, что дома постоянно делала сцены.

— У них огромные владения в Польше и замок, где господин граф принимает глав государств и знаменитостей со всего света. Да, это большой человек, можешь мне поверить, my boy. Если он тобой заинтересуется, тебе не придётся провести всю жизнь на почте.

"Гусиная усадьба" представляла собой большое двухэтажное деревянное строение, украшенное верандами с резными балюстрадами, башенками и затянутыми сеткой балконами. Она не походила ни на что окружающее. Это была точная копия дома Остророгов, двоюродных родичей Броницких, стоявшего на Босфоре, в Стамбуле. Усадьба располагалась в глубине парка, так что сквозь решётку виднелись только аллеи. В кафе "Улитка" на улице Шаров в Клери часто продавались открытки с её изображением. Она была построена в 1902 году отцом Станислава де Броницкого в честь друга, Пьера Лоти[7], и тот потом часто в ней бывал. От времени и влажного климата доски покрылись тёмной патиной, которую Броницкий запрещал удалять из уважения к подлинности. Мой дядя хорошо знал усадьбу и часто говорил мне о ней. Когда он ещё работал почтальоном, он ходил туда почти каждый день, так как Броницкие получали больше корреспонденции, чем все остальные жители Клери.

— Богачи не знают, что уж и придумать, — ворчал он. — Соорудили турецкий дом в Нормандии!… Ручаюсь, что в Турции они построили нормандскую усадьбу.

Стоял конец июня, и парк был во всей красе. Я был знаком с природой в её первозданной простоте; никогда ещё я не видел её столь

ухоженной. Цветы имели такой сытый вид, как будто только что вышли из "Прелестного уголка" Марселена Дюпра.

— У них тут пять садовников работают полный день, — сказал шофёр. Он оставил меня одного у веранды.

Я снял берет, смочил волосы слюной и взбежал по ступенькам. Как только я позвонил и мне открыла обезумевшая горничная, я понял, что попал как нельзя более некстати. Белокурая дама, одетая, как мне показалось, в переплетение голубых и розовых лоскутов, рыдая, полулежала в кресле; озабоченный доктор Гардье, держа в руке часы в виде большой луковицы, щупал ей пульс. Человек скорее маленького роста, но крепкого сложения, в халате, блестящем, как серебряная кольчуга, ходил по гостиной взад и вперёд; за ним по следам ходил метрдотель с подносом, уставленным напитками. У Стаса де Броницкого были густые белокурые кудри, как у ребёнка, и баки до половины щеки. Можно было бы сказать, что в его лице мало благородства, если бы это качество поддавалось определению невооружённым глазом, без помощи внушающих доверие документов. Круглое лицо с полными щеками, цвет которых слегка напоминал ветчину; легко можно было представить его мясником, склонившимся над разделочной доской. Еле заметные усики или, скорее, пушок украшал недовольный, куриной гузкой, рот, придавая графу постоянно раздражённый вид, — правда, в момент моего появления это, видимо, действительно имело место.

Большие глаза линяло-голубого оттенка, слегка навыкате. Их неподвижный блеск отчасти напоминал бутылки на подносе метрдотеля и, должно быть, имел отношение к содержимому этих бутылок. Лила спокойно сидела в углу, дожидаясь, чтобы миниатюрный пудель встал на задние лапки ради кусочка сахару. Индивидуум хищного вида, весь в чёрном, сидел за письменным столом, склонившись над грудой бумаг, которые, казалось, рыл своим носом, такой он был острый и длинный.

Я застенчиво ждал с беретом в руке, пока кто-нибудь обратит на меня внимание. Лила, сначала бросившая на меня рассеянный взгляд,

наконец вознаградила пуделя, подошла ко мне и взяла меня за руку. Именно в эту минуту красивая дама разразилась ещё более отчаянными рыданиями, к чему все окружающие отнеслись с полным безразличием, и Лила сказала мне:

— Ничего страшного, это опять хлопок.

Так как мой взгляд, видимо, выражал крайнюю степень непонимания, она добавила вместо объяснения:

— Папа опять впутался в хлопок. Он не может удержаться. Она добавила, слегка пожимая плечами:

— С кофе было гораздо лучше.

В то время я не знал, что Станислав де Броницкий выигрывал и терял на бирже состояния с такой скоростью, что никто не мог с уверенностью сказать, разорён он или богат.

Станиславу де Броницкому — Стасу для его друзей по азартным играм и скачкам и для дам из "Шабане" и "Сфинкса" — было тогда сорок пять лет. Меня всегда удивлял и немного смущал контраст между его массивным, тяжёлым лицом и такими мелкими чертами, что, по выражению графини де Ноай[8], "их приходилось искать". Было также что-то нелепое в его детских белокурых кудрявых волосах, розовом цвете лица и фарфорово-голубых глазах — вся семья Броницких, кроме сына Тадеуша, казалась белокуро-розово-голубой. Этот спекулянт и игрок, который бросал деньги на игорные столы так же легко, как его предки посылали своих солдат на поля сражений, не проиграл только одного: своих дворянских грамот. Он принадлежал к одной из четырёх или пяти ветвей высшей аристократии Польши, такой как Сапеги, Радзивиллы и Чарториские, в течение долгого времени делившие между собой Польшу, пока страна не перешла в другие руки и не подверглась другим разделам. Я заметил, что его глаза подчас слегка вращались в

орбитах, как если бы им передалось движение всех тех шариков, за которыми они следили при игре в рулетку.

Сначала Лила подвела меня к отцу, но так как он, поднеся руку ко лбу и возведя взгляд к потолку, откуда, по-видимому, на него свалилась катастрофа, не обратил на меня ни малейшего внимания, она подтащила меня к госпоже де Броницкой. Дама перестала плакать, бросила на меня взгляд, взмахнув таким количеством ресниц, какого я ещё не встречал на человеческих глазах, с рыданиями отняла от губ платок и спросила тонким голоском, ещё исполненным муки:

— А этот откуда взялся?

— Я его встретила в лесу, — сказала Лила.

— В лесу? Боже, какой ужас! Надеюсь, он не бешеный. Сейчас у всех животных бешенство. Я читала в газете. Укушенным приходится проходить очень мучительный курс лечения… Надо быть осторожными…

Она наклонилась, взяла пуделя и прижала к себе, глядя на меня с подозрением.

— Прошу вас, мама, успокойтесь, — сказала Лила.

Так я встретился в первый раз с семьёй Броницких в её естественном состоянии — в разгаре драмы. Геня де Броницкая (я узнал позже, что "де" исчезало, когда семья возвращалась в Польшу, где эта частица не употребляется, чтобы вновь возникнуть во Франции, где Броницкие были менее известны) обладала красотой, о которой раньше говорилось, что она "производит опустошения". Это выражение теперь вышло из моды — видимо, количество опустошений, которые мир перенёс за последнее время, его обесценило. Очень тонкая (с почтительной оговоркой относительно бёдер и груди), она была из тех женщин, которые не знают, что делать, если они так красивы.

Меня окончательно отстранили движением платка, и Лила, по-прежнему держа меня за руку, наставила меня перейти коридор и подвела к лестнице. Между большим парадным холлом, где разыгрывалась хлопковая драма, и чердаком было три этажа, но, кажется, во время этого короткого подъёма я узнал больше подробностей относительно некоторых странных вещей, которые происходит между мужчинами и женщинами, чем за всю предыдущую жизнь. Едва мы поднялись на несколько ступенек, как Лила уведомила меня, что первый муж Гени покончил с собой в ночь свадьбы, перед тем как войти в брачную комнату.

— Он нервничал, — объяснили мне Лила, по-прежнему крепко держа меня за руку, боясь, может быть, что я убегу.

Второй муж, напротив, погиб от избытка уверенности в себе.

— От истощения, — сообщила Лила, глядя мне прямо в глаза, как бы желая меня предостеречь, а я спрашивал себя, что она хочет этим сказать.

— Моя мать была самой великой актрисой Польши. Нужен был специальный слуга, чтобы получать цветы, которые всё время присылали. Её содержал король Альфонс Тринадцатый и король Румынии Кароль. Но она любила только одного человека в жизни, я не могу тебе сказать его имя, это секрет…

— Рудольфо Валентино[9], — сказал голос.

Мы только что вошли на чердак, и, обернувшись по направлению, откуда раздалась эта реплика, произнесённая с саркастической интонацией, я увидел мальчика, сидевшего скрестив ноги на полу под окном мансарды, с открытым атласом на коленях, рядом с глобусом. У него был профиль орлёнка, нос доминировал на лице, как бы чувствуя себя хозяином. Волосы чёрные, глаза карие, и, хотя он был старше меня

всего на год или на два, его тонкие губы уже дышали иронией — непонятно было даже, улыбается ли он, или такой рисунок рта у него от рождения.

— Внимательно слушай, что тебе говорит моя сестричка, потому что во всём этом никогда нет ни слова правды, а это развивает воображение. У Лилы такая потребность лгать, что на неё нельзя сердиться. Это призвание. У меня склад ума научный и рациональный, что совершенно уникально в этой семье. Меня зовут Тад.

Он встал, и мы пожали друг другу руки. В глубине чердака висел красный занавес, и за ним кто-то играл на рояле.

Лила вовсе не казалась смущённой словами брата и наблюдала за мной с лукавым выражением.

— Ты мне веришь или нет? — спросила она меня. Я не колебался:

— Я тебе верю.

Она с торжеством взглянула на брата и уселась в большое ветхое кресло.

— Ну, вижу, это уже любовь, — констатировал Тад. — В этих случаях рассудку сказать нечего. Я живу в обществе совершенно сумасшедшей матери, отца, который может поставить на кон Польшу, и сестры, считающей правду своим личным врагом. Давно вы знакомы?

Я собирался ответить, но он поднял руку:

— Погоди, погоди… Со вчерашнего дня? Я кивнул.

Признание, что я видел Лилу один раз четыре года назад и с тех пор никогда не переставал о ней думать, только вызвало бы какую-нибудь его сокрушительно-ироническую реплику.

— Так я и думал, — сказал Тад. — Вчера она потеряла своего пуделя Мирлитона и поспешила найти ему замену.

— Мирлитон вернулся сегодня утром, — объявила Лила.

Эти фехтовальные выпады явно были привычкой брата и сестры.

— Ну что ж, надеюсь, что теперь она тебя не отошлёт. Если она будет тебя дурачить, приходи ко мне. Я очень силён насчёт того, что дважды два четыре. Но если хочешь хороший совет — спасайся!

Он вернулся в свой угол, снова сел на пол и погрузился в свой атлас. Лила, откинув голову на спинку кресла, безразлично глядела в пространство. Я немного поколебался, потом подошёл к ней и сел на подушку у её ног. Она подняла колени к подбородку и задумчиво смотрела на меня, как бы спрашивая себя, какую выгоду можно извлечь из своего нового приобретения. Я опустил голову под этим взглядом, в то время как Тад, нахмурив брови, обводил пальцем на глобусе какой-то изгиб Нигера, Волги или Ориноко. Иногда я поднимал глаза, встречал задумчивый взгляд Лилы и снова их опускал, боясь услышать: "Нет, ты мне всё-таки не подходишь, я ошиблась". Я чувствовал, что моя жизнь делает поворот и что у Земли совсем другой центр тяжести, чем тот, о каком говорили в школе. Я разрывался между желанием остаться здесь, у её ног, до конца жизни и желанием бежать. Я ещё и теперь не знаю, удалась ли моя жизнь, оттого что я не убежал, или я её испортил, потому что остался.

Лила засмеялась и прикоснулась к моему носу кончиками пальцев.

— Мой бедный мальчик, у тебя совершенно безумный вид, — сказала она. — Тад, он меня видел два раза за четыре года и уже потерял голову. Но в конце концов, что во мне такого? Почему они все безумно в меня влюбляются? Они на меня смотрят, а потом сразу делается невозможно разумно разговаривать. Они застывают и глядят на меня, время от времени бекая и мекая.

Тад, не отнимая пальца от глобуса, чтобы не затеряться в пустыне Гоби или Сахаре, которую исследовал, и не умереть от жажды, бросил на сестру холодный взгляд. В шестнадцать лет Тад Броницкий обладал таким знанием света, что казалось — ему остаётся всего лишь внести несколько мелких поправок в географию и историю планеты.

— Малышка страдает манией величия, — сказал он.

Всё это время рояль за занавесом в глубине чердака продолжал играть; вероятно, невидимый музыкант чувствовал себя за тысячу миль отсюда, увлекаемый мелодией к тем далям, куда не могли проникнуть ни наши голоса, ни любой другой отзвук событий этого мира. Затем музыка прекратились, занавес приоткрылся, и я увидел очень кроткое лицо под взлохмаченной шевелюрой и глаза, которые как бы ещё следили за звуками, улетевшими в неизвестные дали. Кроме этого, было длинное тело подростка лет пятнадцати-шестнадцати, сутулого и как будто придавленного своим ростом. Сначала я думал, что он меня рассматривает, но Бруно видел вас тем меньше, чем более внимательно, как вам казалось, смотрел на вас, причём материальная реальность мира, эта "вещь первой необходимости", как говорил Тад, вызывала у него безразличие, смешанное с удивлением.

— Вот это Бруно, — возвестила Лила, в чьих словах слышались известная нежность и гордость собственницы. — Когда-нибудь он получит в консерватории первую премию за игру на рояле. Он мне обещал. Он будет знаменитым. Впрочем, через несколько лет мы все будем знаменитыми. Тад будет великим путешественником, Бруно будут аплодировать во всех концертных залах, я буду второй Гарбо, а ты…

С минуту она изучала меня. Я покраснел.

— Ну ничего, — сказала она.

Я опустил голову. Должно быть, я тщетно пытался скрыть своё унижение, потому что Тад вскочил, подошёл к своей сестре, и, насколько я понял, оба подростка обменялись по-польски градом ругательств, совершенно забыв о моём присутствии, благодаря чему я смог немного успокоиться. В этот момент господин Жюльен, официант из "Прелестного уголка", пришёл на чердак в сопровождении горничной, неся два подноса, уставленных сладостями, тарелками, чашками и чайниками. Скатерть разостлали и чай нам подали на полу, что я сначала принял за польский обычай. В действительности же это делалось, как объяснил мне Тад, "чтобы внести немного простоты в этот дом с его невыносимыми привычками к роскоши".

— Кроме того, я марксист, — добавил он (я слышал это слово в первый раз, и оно показалось мне относящимся к обычаю садиться на пол для еды).

За чаем я узнал, что Тад вовсе не собирается становиться путешественником, как требует его сестра, но что он поставил перед собой цель "помочь людям изменить мир" — говоря это, он сделал жест по направлению к глобусу у окна. Бруно был сын умершего итальянского метрдотеля, который служил Броницким в Польше. Обнаружив у ребёнка необыкновенные способности к музыке, граф усыновил его, дал ему свою фамилию и помогал ему сделаться "новым Рубинштейном".

— Ещё одно капиталовложение, — бросил Тад. — Отец рассчитывает стать его импресарио и заработать много денег.

Я узнал также, что вся семья собирается в конце лета уехать из Нормандии.

— Во всяком случае, если папу отпустят кредиторы и если он не продал наши земли в Польше, — заметила Лила. — Но всё это неважно. Мама опять нас выручит. Она всегда находит очень богатого любовника, который в последний момент спасает дело. Три года назад это был Василий Захаров, самый крупный поставщик оружия в мире, а в прошлом году —господин Гульбенкян, его называют "господин пять процентов", потому что он получает пять процентов со всех доходов английских нефтяных компаний в Аравии. Мама обожает отца, и каждый раз, как он разоряется и грозит покончить с собой, она… в общем… как сказать?…

— Она продаётся, — кратко заключил Тад.

Я ещё никогда не слышал, чтобы дети так говорили о своих родителях, и, видимо, моя растерянность была заметна, потому что Тад дружески хлопнул меня по плечу:

— Ну, ну, ты красен как мак. Ну да, что ты хочешь, мы, Броницкие, немного декаденты. Декаданс — знаешь, что это такое?

Я молча кивнул.

Но я напрасно рылся в знаменитой "исторической памяти" Флери — этого слова там не было.

Глава VI

Я вернулся домой с решимостью стать "кем-то", причём в самый краткий срок, предпочтительно до отъезда моих новых друзей. Это привело к сильной лихорадке, и несколько дней мне пришлось пролежать в постели. В бреду я обнаружил у себя способность к завоеванию галактик и сорвал с уст Лилы поцелуй в знак благодарности. Помню, что по возвращении с одной особенно враждебной планеты после экспедиции, во время которой я взял в плен сто тысяч нубийцев (я не знал, что такое "нубиец", но это слово казалось мне удивительно

подходящим для межзвёздных хищников), я надел в честь вручения Лиле моего нового королевства костюм, так разукрашенный драгоценными камнями, что среди самых сверкающих звёзд внезапно поднялась паника при виде яркого свечения, исходящего с Земли, занимавшей до сих пор очень скромное место в ряду световых лет.

Моя болезнь закончилась самым приятным образом. В комнате было очень тёмно: ставни закрыли и занавески задёрнули, так как боялись, что после нескольких дней недомогания у меня может начаться корь, а в то время при лечении кори принято было держать больного в темноте, чтобы оберечь его глаза. Доктор Гардье проявлял тем большее беспокойство, что мне было уже четырнадцать лет и корь запаздывала. Выло около полудня, судя по свету, который залил комнату, когда открылась дверь и появилась Лила в сопровождении шофёра, мистера Джонса, неся огромную корзину фруктов. За ней шёл мой дядя, не переставая предостерегать мадемуазель о риске заразиться роковой болезнью. Лила помедлила минуту в дверях, и, несмотря на крайнее волнение, я не мог не почувствовать продуманности позы, которую она приняла в луче света, играя своими волосами. Хотя этот визит имел отношение ко мне, прежде всего здесь присутствовал театральный элемент, игра во влюблённую девушку, которая склоняется над постелью умирающего; это хотя и не полностью исключало любовь и смерть, однако оттесняло их на задний план. Пока шофёр ставил на стол корзину с экзотическими фруктами, Лила постояла ещё несколько мгновений в той же позе, затем быстро пересекла комнату, наклонилась надо мной и коснулась поцелуем моей щеки, несмотря на повторное напоминание дяди о разрушительном и пагубном могуществе микробов, возможно поселившихся в моём теле.

— Ты ведь не собираешься умереть от болезни? — спросила она, как бы ожидая от меня какого-то совершенно иного и замечательного способа покинуть землю.

— Не трогай меня, ты можешь заразиться. Она села на кровать.

— Зачем тогда любить, если боишься заразиться?

Жаркая волна хлынула мне в голову. Дядя разглаживал усы. Мистер Джонс нёс караул возле экзотической корзинки, где плоды личи, папайи и гуаявы напоминали скорее о роскоши Парижа, чем о тропических пейзажах. Амбруаз Флери высказал в избранных выражениях признательность, которую, по его словам, только моя слабость мешала мне выразить. Лила раздвинула занавески, распахнула ставни и вся стала светом, склонившись надо мной в потоке своих волос; в них свободно играло солнце, знающее толк в хороших вещах.

— Я не хочу, чтобы ты был болен, я не люблю болезни, надеюсь, что это не войдёт у тебя в привычку. Время от времени можешь себе позволить небольшой насморк, но не больше. Больных и без тебя достаточно. Есть даже такие, которые умирают, и совсем не от любви, а от какой-нибудь ужасной гадости. Я понимаю, когда умирают от любви, потому что иногда она так сильна, что жизнь не может этого выдержать, она взрывается. Ты увидишь, я дам тебе книги, где это описывается.

Дядя, помня о славянских привычках, предлагал чашку чая. Мистер Джонс бросал корректные взгляды на часы и "позволял себе напомнить, что барышню ждут на урок музыки". Но Лила не торопилась уходить: ей было приятно видеть мои глаза, полные немого обожания, — она царила, я был её царством. Сидя на краю кровати, нежно склонившись ко мне, она позволяла себя любить. Что касается меня, то я полностью пришёл в себя только после её отъезда и больше думал об этом душистом получасе, проникнутом первым в моей жизни дуновением женственности и первым проявлением телесной близости, когда он закончился, чем пока продолжался. После того как Лила ушла, я подождал с четверть часа, а потом встал с постели. Я чувствовал беспокойство и старался скрыть его от дяди. Так было весь день. Я оделся и весь вечер шагал по полям, но ничего не помогало, пока в ту ночь во сне благожелательная природа сама не пришла мне на помощь.

Лазурно-голубой "паккард" с откидным верхом приезжал за мной каждый день, и дядя начал ворчать:

— Эти люди приглашают тебя, чтобы показать, что у них нет предрассудков, что у них широкие взгляды и они позволяют своей дочери дружить с деревенским мальчиком. На днях я встретил госпожу Броницкую в Клери. Знаешь, что она делала? Она навещала своих бедняков, как в средневековье. Ты умный мальчик, но не замахивайся слишком высоко. Хорошо, что они уезжают, а то бы ты в конце концов приобрёл дурные привычки.

Я отодвинул тарелку.

— Во всяком случае я не хочу быть почтовым служащим, — сказал я. — Я хочу быть кем-то совсем другим. Я совершенно не знаю, что я хочу делать, потому что мне хочется делать что-то очень большое. Может быть, этого даже ещё нет, и нужно, чтобы я это изобрёл.

Я говорил громко и уверенно и гордо поднимал голову. Я не думал о Лиле. Я и сам не знал, что во всём, что я говорил, в этом стремлении превзойти себя речь идёт о молодой девушке, об её дыхании на моих губах и её руке на моей щеке.

Я снова взялся за суп.

Дядя казался довольным. Он слегка щурился и разглаживал усы, чтобы скрыть улыбку.

Глава VII

В нескольких километрах от Ла-Мотт, за прудом Маз, был овраг, окружённый ясенями и берёзами. Здешний лес, некогда использовавшийся для кольберовского флота, заглох; там, где раньше стучал топор, теперь росли во множестве красные дубы, окружённые

зарослями кустарника и папоротника. Именно у этого оврага дядя помог мне построить "вигвам" рядом с источником, обессилевшим и умолкшим от старости. Благодаря какой-то игре воздушных потоков бумажные змеи, если их запускали на краю оврага, поднимались в воздух с лёгкостью, для которой у дяди имелось научное объяснение, но мне казалось, что это проявление дружеской благожелательности неба по отношению ко мне. Недели за две до отъезда Броницких я стоял тут, задрав голову к последнему творению Амбруаза Флери под названием "Крепость" — крепости, рассечённой надвое, с толпой маленьких человечков внутри, которые трепетали в воздухе, как бы толкаясь. Раскручивая бечёвку, я давал змею больше свободы в небе, где он был в своей стихии; и вдруг меня кто-то толкнул, ударил, и, не выпуская барабана из рук, я оказался на земле, а противник навалился на меня всем весом. Я очень быстро заметил, что у него не было ни сил, ни сноровки, соответствующих его воинственным намерениям, и, хотя у меня был свободен только один кулак, легко с ним справился. Он храбро дрался, беспорядочно молотя кулаками, а когда я уселся ему на грудь, прижимая к земле одну его руку коленом, а другую — своей рукой, он попытался ударить меня головой. Это не дало никакого результата, но удивило меня, потому что в первый раз я внушал кому-то такие сильные чувства. У него были тонкие черты лица, почти как у девушки, и длинные белокурые волосы. Он отбивался с энергией, которая не могла компенсировать узости его плеч и слабости рук. Наконец, в изнеможении, он застыл неподвижно, набираясь сил, потом снова начал дрыгаться, а я старался не дать ему встать, не выпуская своего змея.

— Что тебе от меня нужно? Что это на тебя нашло?

Он попытался ударить меня головой в живот, но только ударился затылком о камень.

— Откуда ты взялся?

Он не отвечал. Этот голубой взгляд, уставившийся на меня с каким-то светлым бешенством, начинал действовать мне на нервы.

— Что я тебе сделал?

Молчание. У него шла кровь носом. Я не знал, что мне делать со своей победой, и, как всегда, когда чувствовал себя более сильным, хотел пощадить его и даже помочь ему. Я отпрыгнул и отступил.

Он полежал ещё минуту, потом встал.

— Завтра в это же время, — сказал он.

На этом он повернулся ко мне спиной и пошёл прочь.

— Эй, слушай! — крикнул я. — Что я тебе сделал?

Он остановился. Его белая рубашка и красивые брюки-гольф были измазаны землёй.

— Завтра в то же время, — повторил он, и я в первый раз заметил его гортанный иностранный акцент. — Если не придёшь, будешь трус.

— Я тебя спрашиваю, что я тебе сделал?

Он ничего не ответил и удалился, держа одну руку в кармане и согнув другую, прижав локоть к телу, — эта поза показалась мне необыкновенно элегантной. Я следил за ним глазами, пока он не исчез среди папоротников, потом вернул свою "Крепость" на землю и весь остаток дня ломал себе голову, пытаясь понять причину нападения мальчика, которого никогда раньше не видел. Я рассказал дяде о приключении, и он предположил, что забияка собирался завладеть нашим воздушным змеем, покорённый видом этого шедевра.

— Нет, я думаю, он злился на меня.

— Но ты ведь ему ничего не сделал?

— Может быть, я ему что-то сделал, не зная об этом.

Я в самом деле начинал чувствовать за собой какую-то неведомую мне вину. Но сколько ни ломал голову, ничего не мог вспомнить; я мог себя упрекнуть только в том, что несколько дней назад послушался Лилу и выпустил ужа во время мессы, что оказало на публику в высшей степени удовлетворительное действие. Я с нетерпением ждал часа встречи со своим противником, чтобы заставить его сказать, чем вызван его мстительный гнев по моему адресу и какое зло я ему причинил.

На следующий день он появился, едва я подошёл к "вигваму". Думаю, он поджидал меня в зарослях шелковицы на краю оврага. На нём была куртка в белую и голубую полоску, то есть блейзер, как я узнал, когда привык к хорошему обществу, и белые фланелевые брюки. На этот раз он, вместо того чтобы прыгнуть на меня, выставил вперёд ногу и, сжав кулаки, принял позицию английского бокса. Это произвело на меня впечатление. Я ничего не понимал в боксе, но видел точно такую же стойку на фотографии чемпиона Марселя Тиля. Он сделал ко мне шаг, потом другой, вращая кулаками, как будто заранее наслаждался сокрушительным ударом, которым поразит меня. Оказавшись совсем близко, он начал подпрыгивать и пританцовывать вокруг меня, иногда прижимая кулак к своей щеке, то подступая вплотную, то немного отпрыгивая назад или вбок. Так он пританцовывал некоторое время, потом кинулся на меня и наткнулся на мой кулак, который угодил ему прямо в лицо. Он сел, потом сразу же встал и снова начал пританцовывать, иногда выбрасывая руку вперёд и нанося мне удар-другой, которых я почти не чувствовал. Наконец мне это надоело, и я влепил ему тыльной стороной руки хорошую нормандскую оплеуху. Наверное, я, не желая этого, сильно его ударил, потому что он снова упал, и теперь рот у него был в крови, Я ещё никогда не видел такого хрупкого парнишку. Он хотел подняться, но я прижал его к земле.

— Слушай, ты объяснишь, в чём дело?

Он молчал и с вызовом глядел мне прямо в глаза. Мне было досадно. Я не мог его проучить: он действительно был слишком слаб. Оставалось только взять его измором. Так что я продержал его на земле около получаса, но так ничего и не добился. Он молчал. Не мог же я в самом деле просидеть на нём целый день. Я боялся ему повредить. У него были мужество и воля, у этого олуха. Когда я наконец отпустил его, он встал, поправил свою одежду и длинные светлые волосы и повернулся ко мне:

— Завтра в это же время.

— Иди к чёрту.

Я снова спросил свою совесть и, не найдя, в чём себя упрекнуть, решил, что мой упорный противник принимает меня за кого-то другого.

Во второй половине дня меня оторвал от чтения томика Рембо, которого мне дала Лила, знакомый гудок "паккарда" перед домом, и я быстро выбежал на улицу. Мистер Джонс подмигнул мне, и я услышал традиционное и дружески насмешливое: "Месье приглашают к чаю".

Я бегом поднялся к себе, чтобы умыться, надел чистую рубашку, смочил волосы и, сочтя результат малоудовлетворительным, взял в мастерской клей, которым воспользовался как помадой. Затем я с серьёзным видом уселся на заднем сиденье, с пледом на коленях, но, к большой досаде мистера Джонса, выпрыгнул из машины, которая уже тронулась, и снова побежал в свою комнату: я забыл начистить башмаки.

Глава VIII

В салоне Броницких толпилось много народу, и первым, кого я увидел, был мой загадочный противник: он был с Лилой и не проявил никакой враждебности, когда моя подруга взяла его под руку и подвела ко мне.

— Вот мой кузен Ханс, — сказала она.

— Очень рад. — Он слегка поклонился. — Полагаю, мы уже встречались и у нас ещё будет возможность снова увидеться.

Он удалился с беспечным видом.

— Что такое? — удивилась Лила. — Ты странно выглядишь. Надеюсь, вы будете друзьями. По крайней мере, вас объединяет одно: он тоже меня любит.

Госпожа де Броницкая лежала с мигренью, и Лила с лёгкостью играла роль хозяйки дома, знакомя меня с гостями:

— Это наш друг Людо, племянник знаменитого Амбруаза Флери.

Большинство находившихся здесь влиятельных парижан ничего не знали о моём дяде, но делали вид, что понимают, чтобы не быть пойманными на каком-нибудь вопиющем невежестве. Все они были одеты с ошеломляющей элегантностью. Целая коллекция драгоценностей, шляп, жилетов, костюмов и гетр — такое я видел только на клиентах "Прелестного уголка". Мне было неловко среди них в моих стоптанных башмаках, пиджаке с лоснящимися рукавами и с вылезающим из кармана краем берета. Я храбро боролся с ощущением приниженности, представляя себе того или иного гостя, в этих брюках с жёсткой складкой, клетчатом пиджаке и с жёлтым галстуком, в воздухе, привязанным за бечёвку, конец которой я буду держать в руке и тянуть туда-сюда. Так я в первый раз использовал воображение с целью самозащиты, и ничто в жизни не пригодилось мне так, как это. Разумеется, я был далёк даже и от зачатка общественной позиции, но предавался некоему самовыражению, в котором тем не менее присутствовал если не революционный, то по крайней мере подрывной элемент. Дородный мужчина по имени Устрик, чьё безбородое и в избытке снабжённое жиром лицо было украшено кукольным носом и

пухлыми губами, узнав в свою очередь от Лилы, что я племянник "знаменитого Амбруаза Флери", сказал, пожимая мне руку:

— Поздравляю вас. Франция будет нуждаться в таких людях, как ваш дядя. Я заметил на лице Лилы лукавый проблеск, который уже хорошо знал.

— Знаете, — сказала она, — возможно, что при следующем правительстве его назначат на пост министра почтового ведомства.

— Большой человек! Большой человек! — поспешил заявить господин Устрик, слегка наклоняя туловище к близлежащему пирожному.

У меня вдруг возникло желание спасти пирожное от ожидающей его участи. Среди всех этих шикарных людей я чувствовал себя стёртым в порошок, и мне казалось, что единственной возможностью утвердить себя в глазах Лилы был какой-то геройский поступок,

Я деликатно вынул пирожное из пухлой руки господина Устрика и поднёс его к губам. Мне это многого стоило, моё сердце билось очень сильно. Я ещё не мог ни сравняться со своим предком Флери, погибшим на баррикадах в 1870-м, ни войти во главе войск в Берлин, взяв в плен Гитлера, чтобы поразить Лилу, но всё же мог показать ей, из какого металла я отлит.

Когда господин Устрик увидел, как пирожное исчезло у меня во рту, на его лице появилось выражение такого изумления, что я вдруг понял всю дерзость своего поступка. Ни жив ни мёртв, так как ещё не обладал силой характера настоящих революционеров, я повернулся к Лиле. Я видел на её лице выражение нежного удивления. Она взяла меня за руку, увела за ширму и обняла:

— Знаешь, это очень по-польски, то, что ты сделал. Мы — народ сорвиголов. Ты был бы хорошим уланом при Наполеоне, а потом стал бы маршалом. Я уверена, что ты добьёшься многого в жизни. Я тебе помогу.

Я решил испытать её. Я хотел знать, любит ли она меня ради меня самого или только из-за подвигов, которые я собирался совершить ради неё.

— Послушай, когда я вырасту, я надеюсь получить хорошее место служащего почтового ведомства.

Она покачала головой и погладила меня по щеке почти материнским жестом.

— Ты плохо меня знаешь, — сказала она, как будто я говорил о её жизни, а не о своей. —Пойдём.

В тот день у Броницких присутствовали некоторые из самых известных людей большого света того времени, но их имена были мне так же неизвестны, как им — имя моего дяди. Только один из них проявил ко мне дружеский интерес. Это был знаменитый лётчик Корнильон-Молинье, проявивший большое мужество во время своего неудачного перелёта из Парижа в Австралию, который он пытался осуществить вместе с англичанином Молиссоном. "Ла газетт" отозвалась на неудачу перелёта следующим комментарием: "Никогда не полететь Молиссону с Молинье!" Этот маленький южанин с томными глазами, украшенными длинными, почти женскими ресницами, сказал с юмором, когда Лила представила меня, не преминув добавить: "Он — племянник знаменитого Амбруаза Флери":

— После моей неудачи ваш дядя подарил мне одного из своих воздушных змеев, видимо, чтобы внушить мне, что не всё ещё потеряно…

Обойдя таким образом салон, я смог наконец присоединиться к другим молодым людям в соседней комнате и сесть за стол, где нас обслуживал официант в белых перчатках. Я едва прикасался к сладостям, мороженому, крему и экзотическим фруктам, которые подавались на серебряных блюдах с гербом Броницких — позолоченной волчицей. Я чувствовал себя тем более скованно в этой атмосфере роскоши и элегантности, что напротив сидел двоюродный брат Лилы, мой хрупкий и храбрый лесной враг. Ханс фон Шведе держался очень прямо, положив ногу на ногу, и, поднося к губам чашку, прижимал локоть к боку. В его лице — у него были почти такие же светлые и длинные волосы, как у Лилы, — была тонкость, которую в тот период моей жизни я ещё не умел назвать аристократической, не зная связи этого термина с эстетикой. Он не проявлял ко мне враждебности и ни разу не попытался извлечь пользу, посмеявшись над разницей в нашей одежде — его блейзером с посеребрёнными пуговицами и брюками из белой фланели и моим старым, слишком узким костюмом, который подходил как нельзя хуже к обществу, в котором я находился. Он меня просто не замечал, и я утешался, отыскивая на его лице неоспоримые доказательства своего существования: слегка припухшую губу и синяк под глазом. Он рассеянно ковырял ложечкой свой смородиновый шербет, придавая ему форму розы. Тад бросал холодные взгляды на гостей "раута" — это слово доживало последние годы во французском языке. Его тонкие губы выражали то, что многие годы спустя я научился квалифицировать как "иронию террориста", — намёк на неё я встретил потом в чертах знаменитого гудоновского Вольтера. Свесив одну руку через спинку стула, он созерцал столы, за которыми гости Броницких воплощали в совершенстве тот "хороший тон" тридцатых годов, кода Лазурный берег ещё не существовал летом, поскольку его отели открывались только на зимний сезон, а Кабур ещё не приобрёл "очарования старины", облагораживающего дурной вкус прошлого. Что касается Бруно, он спокойно сидел среди нас, по-прежнему немного сутулый, немного рассеянный, с растрёпанными кудрями, где уже виднелось несколько седых нитей, несмотря на его шестнадцать лет. Есть такие очень кроткие лица, которые кажутся созданными для зрелости и готовы встретить снегопад ещё весной. Мальчики встали все

втроём, когда подошла Лила; она усадила меня рядом с собой. Помню, что я всё время чувствовал, какие на мне короткие брюки: из-под них над носками виднелись голые лодыжки. Так все мы встретились в первый раз в тот знаменательный день, в конце июля 1935 года, и все эти сладости, печенья и груши "Прекрасная Елена" никогда уже не растают и не зачерствеют в моей памяти.

— Смотрите, — говорил Тад, — как отчаянно модельеры, портные, гримёры и парикмахеры борются за полную безликость, вульгарность души и интеллектуальное ничтожество этих сливок общества. И их пение соответствует их оперению, потому что пусть меня повесят, если они говорят о чём-нибудь, кроме биржи, бегов и приёмов, в то время как в Испании вспыхивает гражданская война, Муссолини применяет газ против эфиопов, а Гитлер требует Австрию и Судеты… Этот очень худой господин, украшенный лысиной, чья голова напоминала бы яйцо страуса, если бы Эль Греко не изобразил точно такую же в своих "Похоронах графа д'Оргаса", вовсе не испанский гранд, а ростовщик, который даёт деньги моему отцу на условиях двадцати процентов… Человек в сером сюртуке и жилете — адвокат, который имеет доступ ко всем министрам, используя как визитную карточку свою жену. Что до наших дорогих родителей, делается страшно при мысли, что с ними стало бы, если бы их так хорошо не прикрывало генеалогическое древо. Отец потерял бы свой аристократический вид, став похожим на мясника, а мать, если бы она не могла больше платить мадемуазель Шанель, парикмахеру Антуану, массажисту Жюльену, специалистке по гриму Фернандо и жиголо Нино, начала бы походить на близорукую горничную, которая не знает, куда девала утюг…

Лила ела эклер.

— Тад — анархист, — объяснила она мне.

— Это означает, что он — избранная натура, — заметил Ханс.

Я с удовольствием отметил, что у него немецкий акцент. Поскольку Франция и Германия всегда были врагами, я чувствовал, что, какова бы ни была причина его нападения, я хорошо сделал, что проучил его.

Бруно казался огорчённым.

— Мне кажется, Тад, что ты страдаешь не меньшим количеством предрассудков, чем те люди, которым ты их приписываешь. Можно сделать то же с самой природой — находить, что у птиц глупый вид, что собаки гнусны, потому что вылизывают себе зад, и нет никого глупее пчёл, потому что они делают мёд для других. Будь осторожен. То, что начинается таким взглядом на вещи, становится жизненным принципом. Если всё перекашивать, то всё будешь видеть кривым.

Тад повернулся ко мне:

— Вы слышали, мой юный друг, голос сочной груши, призвание которой — быть съеденной. Это то, что называют идеалистом.

— Я хотела бы знать, почему ты вдруг говоришь "вы" нашему другу? — спросила Лила.

— Потому что он ещё не мой друг, если даже когда-нибудь им и станет. В семнадцать лет я больше не бросаюсь очертя голову ни в дружбу, ни во что другое. Хотя я и поляк, быть сорвиголовой — не моё призвание. Это было хорошо для наших предков-улан, у которых была необходимая святая дерьмовая глупость.

— Прошу тебя не употреблять подобных выражений в присутствии девушки, — бросил ему Ханс.

А вот и пробуждение прусского юнкера, — вздохнул Тад. — Кстати, кто это тебя так разукрасил? Дуэль?

— Они дрались из-за моих красивых глаз, — объявила Лила. — Они оба безумно влюблены в меня, и, вместо того чтобы понять, что это братство, которое должно их объединять, они дерутся. Но это у них пройдёт, когда они поймут, что я люблю их обоих и что, таким образом, ревновать не к кому.

Я ещё не произнёс ни слова. Однако я чувствовал, что настал момент так или иначе проявить себя, ибо я не имел права забывать, что я племянник Амбруаза Флери и должен быть его достоин. Я ничего не знал об искусстве блистать в обществе, но страстно желал тут же на глазах у Лилы доказать какое-нибудь своё неоспоримое превосходство, которое бы всех посрамило. Если бы на свете существовала справедливость, я получил бы в эту минуту дар летать в облаках, или оказался лицом к лицу со львом, чья судьба была бы плачевна, или завоевал титул чемпиона всех разрядов на ринге, у края которого сидела бы Лила. Но всё, что я мог сделать, это спросить:

— Какой будет квадратный корень из 273 678?

Должен сказать, что мне удалось по крайней мере удивить их. Трое юношей внимательно на меня поглядели, потом обменялись между собой взглядами. Лила была в восторге. У неё был священный ужас перед математикой, так как она находила, что у цифр неприятная привычка утверждать, что два и два — четыре, в чём она видела что-то противное самому польскому духу.

— Ну, раз вы не знаете, я вам скажу, — заявил я. — Он равняется 523,14242!

— Я полагаю, что вы выучили это наизусть, перед тем как прийти сюда, — презрительно произнёс Ханс. — Вот что я называю принимать меры. Впрочем, я ничего не имею против шутов, которые разрезают женщин на куски и достают кроликов из шляпы, это такой же способ,

как и другие, чтобы зарабатывать на жизнь… если в этом есть необходимость.

— Тогда выберите цифру сами, — сказал я, — и я сразу же дам вам квадратный корень. Или перемножу любые цифры. Или прочтите мне колонку из ста цифр, и я повторю её в том порядке, как вы прочли.

— Какой будет квадратный Корень из 7 198 489? — спросил Тад.

Мне понадобилось на несколько секунд больше обычного, потому что я волновался, а это был вопрос жизни и смерти.

— 2683, — объявил я. Ханс пожал плечами:

— К чему это? Ведь нельзя проверить.

Но Тад вынул из кармана блокнот и карандаш и сделал подсчёт.

— Правильно, — сказал он. Лила захлопала в ладоши.

— Я ведь вам говорила, что он гений, — объявила она. — Это и так было очевидно, без этих совершенно излишних упражнений счёта в уме. Я не выбираю первого попавшегося.

— Надо бы всё-таки рассмотреть это более внимательно, — пробормотал Тад. — Признаю, что я заинтересован. Может быть, он согласится подвергнуться некоторым дополнительным испытаниям…

Это было трудно, но я справился без единой ошибки. В течение получаса я повторял по памяти списки цифр, которые мне читали, извлекал квадратные корни из бесконечных чисел и перемножал такие длинные цифры, что результаты могли бы заставить побледнеть от зависти звёздные пространства. В конце концов мне не только удалось

убедить своих слушателей в том, что моя подруга тут же назвала моим "даром", но Лила в придачу встала из-за стола, пошла к отцу и сообщила ему, что я вундеркинд в математике, заслуживающий его внимания. Граф Броницкий тут же пришёл за мной; он, видимо, решил, что где-то в глубине моего мозга скрывается приспособление, при помощи которого можно будет выигрывать в рулетку, баккара и на бирже. Этот человек глубоко верил в чудеса в денежной форме. Так и вышло, что меня пригласили стать посреди гостиной перед публикой, среди которой находились некоторые из самых известных деловых людей того времени — их неотразимо притягивали цифры. Никогда ещё я не занимался устным счётом с такой отчаянной волей к победе. Конечно, никто в этой семье не называл меня плебеем и не давал почувствовать моё низкое общественное положение. Семья Броницких принадлежала к такой старой аристократии, что они начали проявлять к народу немного печальное ностальгическое влечение, какое можно испытывать только по отношению к вещам несбыточным. Но представьте себе пятнадцатилетнего мальчика, выросшего в нормандской деревне, в слишком коротких брюках и вылинявшей рубашке, с беретом в кармане, в окружении пятидесяти дам и мужчин, одетых с роскошью, говорившей об их принадлежности к свету, "единственная возможность проникнуть в который — это его разрушить" (по словам Равашоля[10], в ту пору мне не известным). Только так можно понять, с каким трепетным жаром, с каким волнением я вступил в этот бой во имя чести. Мне пришлось прожить довольно долго, прежде чем оказаться в мире, где выражение "бой во имя чести" вызывает не больше чувств, чем какой-либо нелепый плюмаж былых времён, едва достойный насмешки; что ж, это означает только, что мир ушёл в одну сторону, а я в другую, и не мне решать, кто ошибся тропинкой.

Стоя на сверкающем паркете, выдвинув ногу вперёд, скрестив руки на груди, с пылающими щеками, я умножал, делил, извлекал квадратные корни из огромных чисел, называл на память сотню телефонных номеров, которые мне читали по справочнику, высоко держа голову под картечью цифр, пока обеспокоенная Лила не пришла

мне на помощь, схватив меня за руку и бросив присутствующим дрожащим от гнева голосом:

— Хватит! Вы его замучили.

Она увела меня в помещение за буфетом, где слуга Броницких суетился возле новых порций дорогих блюд, мороженого и шербетов, только что доставленных из "Прелестного уголка". Не знаю почему, но, хотя я вышел из своей битвы победителем, я чувствовал себя грустным и униженным. Тад, который появился вместе с Бруно, отодвинув бархатную портьеру, отделявшую нас от высшего общества, объяснил мне мою растерянность.

— Прошу тебя извинить нас, — сказал он. — Моя сестричка должна была бы знать, что отец не упустит такого случая развлечь общество. Ты обладаешь довольно необычным талантом. Постарайся не стать цирковой собачкой.

— Не обращай на Тада внимания, — сказала Лила, которая, к моему ужасу, курила сигарету. — Как все очень умные мальчики, он не выносит гениальности. Это зависть. В самом деле, мой дорогой брат, с твоим складом ума тебе бы банщиком работать — ты так любишь окатывать холодным душем!

Тад поцеловал её в лоб:

— Я тебя люблю. Жаль, что ты мне сестра!

— Но я только её кузен, так что, может быть, у меня есть шанс! — заявил некто, чей германский акцент я сразу же узнал.

Ханс был здесь с бутылкой порто в руке. Я с трудом выходил из своего состояния мозгового и нервного напряжения, но вид этого красивого тонкого и светлого лица помог мне полностью прийти в себя.

Я уже знал: или он, или я, и, так как он выпил и стал смотреть на меня с вызовом, я пожелал немедленной войны между Францией и Германией, чтобы нас разделила сама судьба. Я ненавидел эту подчёркнутую элегантность, эту выправку — рука в кармане, локоть прижат к телу — происходившего от тевтонских завоевателей или балтийских баронов хвастуна, с которым я справился одной рукой.

— Отличный номер, — сказал он мне. — Перед вами большое будущее.

— Не говори ему "вы", — запротестовала Лила. — Мы все будем друзьями.

— Вас ждёт прекрасная карьера, господин Флери, — повторил Ханс, — так как будущее, несомненно, принадлежит цифрам. С тех пор как исчезло рыцарство, мир научился считать, и всё только усугубляется. Мы ещё увидим исчезновение всего, что не может быть сведено к цифрам, например чести.

Тад наблюдал за нами с улыбкой. Брат Лилы обладал почти физическим даром беспечности — он как бы пытался замаскировать то, что в нём было необычного и страстного, принимая равнодушный и немного усталый вид. Я чувствовал, что у него на языке вертелась сокрушительная реплика, но, как я сам понял во время двух наших "стычек", Ханс был мальчиком, которого хотелось пощадить. В четырнадцать лет он был самым молодым из нас и самым хрупким. Тем не менее он готовился к военной карьере, как все фон Шведе. Я узнал от Лилы, что между его участью и моей есть некоторое сходство, хотя тогда мне не пришло бы в голову сказать "участь" по отношению к Флери, — единственное слово, которое я слышал, когда речь шла о моих родных, было "судьба". Его отец был убит во время войны 1914-1918 годов, а мать, как и моя, умерла вскоре после его рождения; он воспитывался у тётки в замке Кремниц, в Восточной Пруссии, всего в нескольких километрах от поместья Броницких в Польше.

Пока мы обменивались более или менее любезными репликами, Бруно держался в стороне, выстукивая по краю стола воображаемую мелодию.

— Поехали кататься на лодке, — предложила Лила. — Собирается дождь. Может быть, будет буря, молнии… Происшествие!

Она подняла глаза к небу, но над нами, как это случается слишком часто, был только потолок.

— О Боже, — воскликнула она, — пошли нам хорошую грозу или вулкан, если это в Твоей власти, чтобы положить конец этой нормандской безмятежности!

Тад мягко взял её под руку:

— Сестричка, хотя в мире достаточно вулканов с экзотическими названиями, пламя, которое зреет в Европе, гораздо опаснее, и его порождают не недра земли, а люди!

Когда мы дошли до пруда, упало несколько капель дождя. Пруд был творением известного английского пейзажиста Сандерса, создавшего в Европе бесчисленные цветочные апофеозы. Отец Лилы потратил миллионы на украшение поместья в надежде продать его в пять-шесть раз дороже какому-нибудь ослеплённому нуворишу. Броницкие постоянно находились на грани "окончательной" финансовой катастрофы, как говорил не без некоторой надежды Тад; пышность их образа жизни скрывала кризисы и почти безвыходные положения, которые можно замаскировать только внешними признаками богатства.

Мы взялись за вёсла. Лила томно возлежала на подушках. Упало несколько капель дождя, свидетельствовавших о милости неба, избавившего нас от ливня. В облаках ощущалась тяжесть, которая увеличилась бы при порыве ветра, но ветер не спешил дуть. Птицы

лениво отдыхали перед дождём. Очень далеко слышался шум поезда, но он не вызывал волнения, так как это был только поезд Париж — Довиль, не напоминающий о дальних путешествиях. Приходилось грести осторожно, чтобы не повредить водяные лилии. От воды славно пахло свежестью и тиной, и насекомые падали в воду там, где надо, и от них разбегались маленькие круги. В это время не было моих любимых стрекоз. Иногда подлетал шутки ради большой глупый шмель. Лила в белом платье, полулёжа в окружении своих гребцов, напевала польскую балладу, обратив взор к небу, — небу везло! Я был самым сильным гребцом, но она не обращала на это никакого внимания; впрочем, я должен был подчиняться ритму остальных. Приходилось уклоняться от ухоженных веток, а то с них упало бы несколько цветков. Имелся, конечно, и маленький мостик изумительного рисунка, увитый белыми цветами, специально выписанными из Азии. Но это был единственный явно искусственный штрих, остальные растительные массивы, тщательно продуманные, выглядели естественно.

Лила перестала петь. Она играла своими волосами, и её глаза, такие голубые, что, казалось, отнимали часть синевы у неба, приобрели выражение серьёзности, означавшее её преклонение перед мечтой.

— Я не уверена, что хотела бы стать второй Гарбо, я не хочу быть второй ни в чём. Не знаю ещё, что я буду делать, но я буду единственной. Конечно, сейчас не та эпоха, когда женщина может изменить карту мира, но надо действительно быть мужчиной, жалким мужчиной, чтобы хотеть изменить карту мира. Я не буду актрисой, потому что актриса становится другой только на один вечер, а я хочу меняться всегда, с утра до вечера, нет ничего грустнее, чем быть только самой собой, произведением искусства, которое создали обстоятельства… Я ненавижу всё неизменное…

Я грёб, благоговейно слушая, как Лила "мечтает о себе", по выражению Тада: Лила одна переплывала Атлантический океан, как Ален Жербо; Лила писала романы, которые переводились на все языки; Лила становилась адвокатом и спасала человеческие жизни чудесами

красноречия… Эта белокурая девушка, лежащая на восточных подушках, даже не подозревала, что уже была для меня более необыкновенным и волнующим созданием, чем все те, о ком она говорила в неведении себя самой.

Тяжёлый запах стоячей воды поднимался вокруг нас при каждом взмахе вёсел, пушистые травы ласкали моё лицо; иногда между кустов показывались искусственные дали чащи, так прекрасно сделанной, что надо было смотреть очень холодными глазами, чтобы помнить, что это только английский парк.

— Я ещё могу всё испортить, — говорила Лила, — я для этого достаточно молода. Когда люди стареют, у них меньше шансов всё испортить, потому что на это уже нет времени и можно спокойно жить, довольствуясь тем, что уже испортил. Это называют "умственным покоем". Но когда тебе шестнадцать лет и можно ещё всё испробовать и ничего не добиться, это обычно называют "иметь будущее"…

Её голос дрогнул.

— Послушайте, я не хочу вас пугать, но иногда мне кажется, что у меня ни к чему нет таланта…

Мы запротестовали. Я говорю "мы", но это в основном были Тад и Бруно, которые предсказывали ей чудесное будущее. Она станет новой мадам Кюри или даже ещё лучше, совсем в другой области, которую, может быть, ещё не открыли. Что касается меня, то я надеялся, хотя и с некоторым стыдом, что Лила права: если у неё ни к чему нет таланта, то у меня есть шанс. Но Лила была неутешна, и слеза медленно скользнула по её щеке и остановилась как раз там, где могла блестеть. Разумеется, она её не стерла.

— Я так хотела бы тоже стать кем-то, — прошептала она. — Я окружена гениями. У ног Бруно будут толпы, никто не сомневается, что

Тад будет более великим путешественником, чем Свен Гедин[11], и даже у Людо удивительная память...

Я проглотил это "даже у Людо" без большого труда. У меня была веская причина чувствовать себя удовлетворённым: Ханс молчал. Он отвернул голову, и я не видел его лица, но втайне торжествовал. Я плохо представлял себе, как он сможет объяснить Лиле, что его тоже ждёт блестящее будущее и что в немецкую военную академию он поступает из любви к польке. Я чуял, что здесь я держусь за нужный конец бечёвки, как у нас говорят, и не собирался его выпускать. Я даже позволил себе роскошь немного пожалеть соперника. Этот век не благоприятствовал тевтонским рыцарям. Впрочем, надо признать, что понравиться женщине становилось всё труднее: Америка была уже открыта, источники Нила тоже, Линдберг совершил перелёт через Атлантический океан, и Ли Мэллори поднялся на Эверест.

Мы все пятеро были ещё близки к наивности детства — быть может, самому плодотворному времени, которое жизнь дарит нам, а потом отнимает.

Глава IX

На следующий день Стас Броницкий посетил моего дядю. Он прибыл торжественно, потому что это был не такой человек, который допустил бы бестактность, переодевшись и приняв скромный вид для визита к людям маленьким. Голубой "паккард" сиял; шофёр, мистер Джонс, одновременно распахнул дверцу и снял фуражку с торжественностью, красноречиво говорящей о достоинстве как хозяина, так и слуги, и кавалерист финансов, как его называли на Парижской площади, явился во всём великолепии своего гардероба: костюм цвета розового дерева, галстук в духе лучшего лондонского клуба, перчатки цвета свежего масла, трость, гвоздика в бутоньерке и прежнее озабоченное выражение лица человека, чьи самые хитроумные расчёты предательски разрушают биржа, баккара и рулетка.

Мы как раз закусывали, и наш посетитель, кинув на колбасу, деревенский хлеб и кусок масла заинтересованный взгляд, был приглашён присоединиться к нам, что он и сделал немедленно, элегантно орудуя большим кухонным ножом и выпив несколько стаканов нашего терпкого вина почти не поперхнувшись. Затем он сделал дяде неожиданное предложение. Я являюсь, заявил он с польским акцентом, в котором я узнавал певучие гласные и немного обрывистые согласные Лилы, — так вот, я являюсь гением в области устного счёта и памяти: о моём будущем следует всячески позаботиться. Он предложил направлять меня и постепенно посвятить в секреты биржевых операций, ибо преступно было бы не обращать внимания на мои таланты и, быть может, дать им заглохнуть из-за отсутствия среды, благоприятной для их развития. В настоящее время, поскольку мой юный возраст не позволяет мне готовиться к экзамену на финансово-экономический факультет, а тем более самостоятельно прокладывать себе путь в той сфере деятельности, где математический гений должен сочетаться со зрелостью ума и необходимыми знаниями, он предлагает мне каждое лето выполнять при нём функции секретаря.

— Вы понимаете, месье, ваш племянник и я, мы обладаем в некотором роде способностями, дополняющими друг друга. У меня в высшей степени развито умение предвидеть биржевые колебания, а у Людовика — способность немедленно переводить на язык конкретных цифр мои предвидения и теории. В Варшаве, Париже и Лондоне я располагаю специальными бюро, но мы проводим лето здесь, и я не могу весь день не отходить от телефона. Вчера ваш племянник продемонстрировал такую скорость счёта и такую память, которые мне позволят выиграть драгоценное время в той области, где, как совершенно справедливо говорят, время —деньги. Если вы согласны, мой шофёр будет каждое утро заезжать за ним и вечером привозить его обратно. Он будет получать сто франков в месяц, часть которых сможет выгодно помещать при благоприятных ситуациях, которые я ему укажу.

Я был настолько потрясён перспективой проводить целый день с Лилой, что чуть ли не усмотрел здесь влияние воздушного змея

"Альбатрос", накануне улетевшего в небо и, быть может, снискавшего для меня эту милость. Что касается дяди, то он зажёг трубку и задумчиво глядел на поляка. Наконец он подтолкнул к нему колбасу и бутылку; Стас Броницкий завладел ими и на этот раз откусил прямо от колбасы, уже не заботясь об элегантности. Затем, с полным ртом, дохнул на нас чесноком, и мы услышали настоящий крик души:

— Наверное, вы считаете, что я слишком занят финансами, и, так как вы сами увлекаетесь вещами крылатыми и возвышенными, это, разумеется, должно казаться вам чересчур приземлённым. Но вы должны знать, господин Флери, что я веду настоящий бой во имя чести. Мои предки победили всех врагов, которые пытались нас покорить, а я собираюсь победить деньги, этого нового захватчика и естественного врага аристократии, на его собственной территории. Не думайте, что я стремлюсь отстаивать мои былые привилегии, но я не пойду на уступку деньгам и…

Он оборвал свою речь и, высоко подняв брови от удивления, внезапно уставился на какую-то точку в пространстве. Это были последние дни Народного фронта, и хотя мой дядя и говорит, что не принадлежит ни к какой партии, под влиянием исторического момента он соорудил "Леона Блюма"[12] из бумаги, бечёвки и картона, с управляемым хвостом. Он был очень хорош в небе со своей чёрной шляпой и красноречиво поднятыми руками, но сейчас висел вниз головой у балки рядом с "Мюссе" с лирой, без особого соблюдения хронологии.

— Что это такое? — спросил Стас Броницкий, откладывая колбасу.

— Это моя историческая серия, — сказал Амбруаз Флери.

— Похоже на Леона Блюма.

— Я держусь в курсе событий, вот и всё, — объяснил дядя. Броницкий сделал неопределённый жест рукой и отвернулся.

— Хорошо, неважно. Так вот, как я вам говорил, таланты вашего племянника могут быть для меня очень полезны, так как нет машины, которая способна была бы считать так быстро. В финансовой сфере, как в фехтовании, главное — быстрота. Нужно опередить других.

Он бросил ещё один беспокойный взгляд в сторону Леона Блюма, взял платок и вытер лоб. В его небесно-голубых глазах был отчаянный отблеск, как у рыцаря в поисках чаши святого Грааля, которого обстоятельства заставили заложить коня, доспехи и копьё в ломбард,

Мне понадобилось время, чтобы обнаружить, что финансовый гений Броницкого был самым настоящим. В самом деле, он одним из первых разработал финансовую систему, которая затем вошла в обиход и благодаря которой банки оказывали ему поддержку: он столько им задолжал, что капиталовладельцы не могли себе позволить довести его до банкротства.

Дядя проявил осторожность. С тем полным отсутствием всякого намёка на иронию, которое он проявлял в свои самые иронические моменты, он сообщил моему будущему покровителю, что мой жизненный путь в общем определён и рассчитан на большие высоты:

— Хорошее скромное место почтальона с обеспеченной пенсией, вот что я имею в виду для него.

— Но, Боже мой! Господин Флери, у вашего племянника гениальная память! — прогремел Стас Броницкий, ударив кулаком по столу. — И всё, чего вы для него хотите, это место мелкого чиновника?

— Месье, — ответил мой дядя, — сейчас наступают такие времена, когда, может быть, самая лучшая роль выпадет на долю мелких чиновников. Они смогут сказать: "Я, по крайней мере, ничего не сделал!"

Тем не менее было условлено, что в летние месяцы я буду поступать в распоряжение Броницких в качестве "ответственного за подсчёты". На этом дядя и мистер Джонс, взяв графа под локотки с двух сторон, ибо колбаса сделала своё дело — о двух бутылках вина здесь приличествует скромно умолчать, — проводили его к автомобилю. Садясь за руль, невозмутимый мистер Джонс, которого я до сих пор принимал за воплощение всех британских добродетелей флегмы и корректности, повернулся к моему опекуну и с очень сильным английским акцентом, но на таком французском, который неоспоримо свидетельствовал о занятиях совсем иного свойства, чем работа личного шофёра, произнёс:

— Бедный фрайер. Никогда не видал такого обормота. Так и просится ощипать.

На этом, надев перчатки и вновь обретя свой невозмутимый вид, он тронул с места "паккард", ослепив нас неожиданным проявлением лингвистических способностей.

— Ну вот, — сказал дядя, — ты наконец вышел в люди. Ты нашёл могущественного покровителя. Прошу тебя только об одном…

Он серьёзно посмотрел на меня, и, хорошо его зная, я уже смеялся.

— Никогда не давай ему в долг.

Глава X

Три следующих года, с 1935 по 1938-й, в моей жизни было только два сезона: лето, когда Броницкие с наступлением июня возвращались из Польши, и зима, начинавшаяся с их отъезда в конце августа и

продолжавшаяся до их возвращения. Бесконечные месяцы, во время которых я не видел Лилу, были полностью посвящены воспоминаниям, и я думаю, что отсутствие моей подруги окончательно лишило меня способности забывать. Она редко мне писала, но её письма были длинными и напоминали страницы дневника. Тад, когда я получал от него весточку, говорил мне, что его сестра "продолжает мечтать о себе, в настоящий момент она собирается ухаживать за прокажёнными". Конечно, в её письмах были слова нежности и даже любви, но они производили на меня странно-безличное, чисто литературное впечатление, так что я совсем не удивился, когда в одном из них Лила сообщила, что предыдущие послания были отрывками из более полного произведения, над которым она работает. Тем не менее, когда Броницкие возвращались в Нормандию, она бросалась ко мне с распростёртыми объятиями и покрывала меня поцелуями, смеясь, а иногда даже немного плача. Мне хватало этих нескольких мгновений, чтобы почувствовать, что жизнь сдержала все свои обещания и что для сомнений нет места. Что касается моих обязанностей "секретаря-математика", как меня прозвал Подловский, человек на побегушках у моего нанимателя, гладко выбритый, причёсанный на прямой пробор, с лицом, состоящим из одного подбородка, с влажными руками, всегда готовый к поклонам, то работа, которую я выполнял, вовсе не была увлекательной. Когда Броницкий принимал какого-нибудь банкира, менялу или ловкого спекулянта и они предавались хитрым подсчётам процентов, вздорожания или активного сальдо, я присутствовал при беседе, жонглировал миллионами и миллионами, реализуя огромные состояния, подсчитывая ажио и заёмы, перемножая затем сегодняшний курс акций, которые могли бы быть куплены, учитывая теоретические преимущества сегодняшнего утра, вычисляя, что столько-то тонн сахара или кофе, если только акции будут подниматься согласно предчувствиям гениального "кавалериста финансов", умноженные на сегодняшний курс, в фунтах стерлингов, франках и долларах дадут такую-то сумму, и так быстро привык к миллионам, что с тех пор я никогда не чувствовал себя бедным. Занимаясь этими операциями высокого полёта, я ждал появления Лилы за слегка приоткрытой дверью: она всегда показывалась, чтобы заставить меня потерять

голову и сделать какую-нибудь грубую ошибку, разоряя одним махом её отца, заставляя курс хлопковых акции падать до предела, деля, вместо того чтобы умножить, что вызывало полную растерянность "кавалериста" и хохот его дочери. Когда я немного привык к этим выходкам, целью которых — насколько же излишней! — было проверить прочность её власти надо мною, и мне удавалось не сбиться и избежать ошибки, она делала разочарованную гримаску и уходила не без гнева. Тогда мне казалось, что меня постигла огромная потеря, более страшная, чем все биржевые неудачи.

Мы встречались каждый день около пяти часов на другом конце парка, за прудом, в шалаше, куда садовник бросал цветы, "пережившие себя", как выражалась Лила; потерявшие свои краски и свежесть, они изливали здесь своё последнее благоухание. Ноги вязли в лепестках, в красном, голубом, жёлтом, зелёном и лиловом, и в травах, которые при жизни называют сорняками, потому что они живут как им хочется. В эти часы Лила, научившись играть на гитаре, "мечтала о себе" с песней на устах. Сидя в цветах, подобрав на коленях юбку, она говорила мне о своих будущих триумфальных турне по Америке, об обожании толпы, и в своих фантазиях была так убедительна, или, скорее, я так ею восхищался, что все эти цветы у её ног казались мне данью её восторженных поклонников. Я видел её бёдра, я сгорал от желания, не смел ничего, не двигался; я просто тихо умирал. Она пела неверным голосом какую-нибудь песню, слова которой написала сама, а музыку — Бруно, а потом, испуганная своим старым врагом — действительностью, отказывавшей её голосовым связкам в божественных звуках, которых Лила от них требовала, бросала гитару и начинала плакать.

— У меня нет ни к чему никакого таланта, вот и всё.

Я утешал её. Ничто не доставляло мне большего удовольствия, чем эти минуты разочарования, ибо они позволяли мне обнимать её, касаться рукой груди, а губами — губ. И вот настал день, когда, потеряв голову, позволив своим губам действовать по их безумному вдохновению и не встретив сопротивления, я услышал голос Лилы, которого не знал,

голос, с которым не мог сравниться никакой музыкальный гений. Я стоял на коленях, а голос опьянял меня и уносил куда-то выше всего, что я знал до сих пор в жизни о счастье и самом себе. Крик прозвучал так громко, что я, никогда до этой минуты не бывший верующим, почувствовал себя так, как если бы наконец вернул Богу то, что ему принадлежало. Потом она неподвижно лежала на своём ложе из цветов, забыв руки на моей голове.

— Людо, о Людо, что мы сделали?

Всё, что я мог сказать и что было самой правдой, было:

— Не знаю.

— Как ты мог?

И я произнёс фразу в высшей степени комическую, если подумать обо всех возможных способах приобщения к вере:

— Это не я, это Бог.

Она приподнялась, села и вытерла слёзы.

— Лила, не плачь, я не хотел причинить тебе горе. Она вздохнула и отстранила меня рукой:

— Дурак. Я плачу, потому что это было слишком больно. Она строго посмотрела на меня:

— Где ты этому научился?

— Чему?

— Чёрт, — сказала она. — Никогда не видела такого идиота.

— Лила…

— Замолчи.

Она легла на спину. Я лёг рядом с ней. Я взял её руку. Она отняла её.

— Ну вот, — сказала она. — Я стала проституткой.

— Но Боже мой! Что ты говоришь?!

— Шлюха. Я стала шлюхой.

Я заметил, что она говорила это с большим удовлетворением в голосе.

— Что ж, наконец мне удалось стать кем-то!

— Лила, послушай…

— У меня нет никаких способностей к пению!

— Есть, только…

— Да, только. Молчи. Я проститутка. Ну что ж, можно стать самой известной, самой знаменитой проституткой в мире. Дамой с камелиями, но без туберкулёза. Мне больше нечего терять. Теперь всё в моей жизни решено. У меня больше нет выбора.

Хотя я привык к скачкам её воображения, мне стало страшно. Это был почти суеверный ужас. Мне казалось, что жизнь слушает нас и записывает. Я вскочил.

— Я тебе запрещаю говорить такие глупости, — закричал я. — У жизни есть уши. И потом, я ведь только…

Она сказала "Ах!" и положила руку на мои губы:

— Людо! Я тебе запрещаю говорить о таких вещах. Это чудовищно! Чу-до-вищ-но! Уходи! Я больше не хочу тебя видеть. Никогда. Нет, останься. Всё равно уже слишком поздно.

Однажды, возвращаясь с нашего ежедневного свидания в шалаше, я встретил Тада, который ждал меня в холле.

— Слушай, Людо… —Да?

— Ты давно спишь с моей сестрой?

Я молчал. На стене уланский полковник Ян Броницкий, герой Сан-Доминго и Сомосьерры, поднимал над моей головой саблю.

— Не делай такого лица, старик. Если ты воображаешь, что я собираюсь говорить тебе о чести Броницких, то ты просто недоделанный. Я только хочу избавить вас от бед. Бьюсь об заклад, что ни один из вас даже не знает о существовании цикла.

— Какого цикла?

— Ну вот, так я и думал. Есть период — примерно за неделю до месячных и с неделю после, когда женщина не может забеременеть. Тогда ничем не рискуешь. Так что, раз ты так силён в математике, помни это и не делайте глупостей, вы оба. Я не хочу, чтобы пришлось обращаться к какой-нибудь крестьянке с её вязальными спицами. Слишком много девчонок от этого умирает. Это всё, что я хотел тебе сказать, и больше я никогда не буду говорить с тобой об этом.

Он хлопнул меня по плечу и хотел уйти. Я не мог так отпустить его. Я хотел оправдаться.

— Мы любим друг друга, — сказал я ему.

Он внимательно посмотрел на меня, с чем-то вроде научного интереса:

— Чувствуешь себя виноватым, потому что спишь с моей сестрой? Этого чувства хватило бы на две тысячи лет тюрьмы. Ты счастлив — да или нет?

Сказать "да" казалось мне так недостаточно, что я молчал.

— Ну вот, нет другого оправдания жизни и смерти. Ты можешь провести всю жизнь в библиотеках и не найдёшь другого ответа.

Он ушёл своей беспечной походкой, насвистывая. Я ещё слышу эти несколько нот "Аппассионаты".

Бруно избегал меня. Напрасно я говорил себе, что мне не в чем себя упрекать и что если Лила выбрала меня, то это так же не зависело от моей воли, как если бы божья коровка села мне на руку: меня преследовало горе, которое я видел на его лице, когда наши взгляды сталкивались. Он проводил целые дни за роялем, и когда музыка прекращалась, тишина казалась мне самым трагическим из всех произведений Шопена, какие я знал.

Глава XI

Мои труды при Броницком не ограничивались его финансовыми операциями. Я помогал ему также в поисках способа, который бы дал ему возможность одержать решительную и окончательную победу над казино, — он мечтал предпринять решающую атаку против этой

крепости. Стас водружал рулетку на стол для бриджа и кидал шарик, вплоть до крика "Больше не ставят!" для вящего реализма, причём мне казалось, что этот его крик исходит из тёмной глубины души, которую называют подсознанием. Единственным вкладом, который я мог внести в отчаянный поиск "системы", было запоминание наизусть порядка выходящих номеров и последующее повторение их по десять — двадцать раз, с тем чтобы Стас мог обнаружить в них подмигиванье судьбы; при этом я наблюдал на его обрамлённом баками лице умирание мечты. Через несколько часов этой погони за несбыточным он вытирал лоб и бормотал:

— Мой маленький Людовик, я переоценил ваши силы. Мы продолжим завтра. Отдыхайте, чтобы быть в наилучшей форме.

Моё сочувствие и желание помочь так усилились, что я начал жульничать. Я знал, что граф ищет в повторяемых мною цифрах номера и комбинации номеров, которые повторялись бы в определённом порядке. Не отдавая себе отчёта в последствиях, какие может иметь моя добрая воля, нашедшая себе очень плохое применение, я стал перегруппировывать выходящие номера, подобно тому как участники спиритических сеансов не могут удержаться от подталкивания стола для сохранения иллюзии. Заставив меня повторить несколько раз подряд номера, сгруппированные мной по сериям, Стас вдруг принял вид, который я не могу назвать иначе как безумным, застыл на минуту в неподвижности с автоматическим карандашом в руке, весь внимание, как если бы слышал некую божественную музыку; затем, предложив мне хриплым от волнения голосом начать сначала, что я и сделал с теми же благими намерениями, со страшной силой ударил кулаком по столу и прогремел голосом своих предков, когда они бросались в атаку с саблями наголо:

— Kurwa mac! Они у меня в руках, эти негодяи! Я их заставлю заплатить!

Он вскочил, вышел из кабинета, и в своём неведении я почувствовал себя счастливым, сделав доброе дело.

В этот вечер Броницкий проиграл миллион в казино в Довиле.

На следующее утро я был с Лилой, когда граф вернулся домой. Подловский предупредил нас о бедствии часом раньше, добавив: "Он опять будет стреляться!" Лила, которая пила чай с медовыми тартинками, не казалась чересчур взволнованной.

— Отец не мог проиграть такую сумму. Если он её проиграл, значит, это были не его деньги. Так что он потерял только свои долги. Он должен чувствовать облегчение.

У этих поляков действительно была восхитительная стойкость, позволившая их стране пережить все катастрофы. В то время как я ожидал увидеть Геню Броницкую в сильнейшем истерическом припадке, со звонками врачам и обмороками, в её лучших театральных традициях, она сошла в столовую в розовом пеньюаре, с пуделем под мышкой, поцеловала дочь в лоб, дружески поздоровалась со мной, приказала подать себе чай и объявила:

— Я положила револьвер в мой кофр. Он не должен его найти — он неделю будет на нас дуться. Не знаю, занял ли он эти деньги у Потоцких, Сапег или Радзивиллов, но в конце концов долг в игре — долг чести, они должны это понимать; кто бы его ни платил, главное, чтобы польская аристократия оставалась верной своим традициям.

Тад, зевая, спустился по лестнице, в халате, с газетой в руке.

— Что происходит? У мамы такой спокойный вид, что я боюсь худшего.

— Отец опять разорился, — сказала Лила.

— Это означает, что он опять кого-то разорил.

— Сегодня ночью он проиграл миллион в Довиле.

— Ему пришлось забрать все остатки, — проворчал Тад.

Горничная только что принесла горячие рогалики, когда появился Стас Броницкий. У него был дикий вид. Безукоризненный мистер Джонс нёс за ним пальто, а у выбритого до синевы Подловского, человека на все руки, челюсти и подбородок казались вдвое больше обычного.

Броницкий молча осмотрел нас всех:

— Может кто-нибудь здесь одолжить мне сто тысяч франков?

Его взгляд остановился на мне. Тад и Лила разразились смехом. Даже славный Бруно с трудом скрыл свою весёлость.

— Сядьте, друг мой, и выпейте чашку чаю, — сказала Геня.

— Ну хорошо, десять тысяч?

— Стас, прошу вас, — сказала графиня.

— Пять тысяч! — завопил Броницкий.

— Мари, подогрейте нам ещё чая и рогаликов, — сказала Геня.

— Тысячу франков, чёрт подери! — проорал в отчаянии Броницкий.

Арчи Джонс засунул руку под френч и сделал шаг вперёд, осторожно держа клетчатое пальто графа.

— Если сударь мне позволит… Сто франков? Fifty-fifty, разумеется.

Броницкий секунду поколебался, потом выхватил билет из руки своего шофёра и выбежал из комнаты. Подловский воздел плечи и руки жестом бессилия и последовал за ним. Арчи Джонс вежливо нам поклонился и удалился в свою очередь.

— Ну вот, — сказала Геничка со вздохом, — англичане действительно единственные, на кого можно положиться.

Мне довелось часто слышать эту фразу при совсем иных обстоятельствах.

Глава XII

Не знаю, кто возместил моему нанимателю сумму, потерянную в результате "системы", в которой я был так без вины повинен: князья Сапеги, князья Радзивиллы или графы Потоцкие, — но в течение последующих дней усадьба полна была польскими джентльменами, при крайней изысканности сыпавшими последними площадными ругательствами. Такие выражения, как "этот недоделанный Броницкий", "это дерьмо", "этот сын шлюхи", лились со всех сторон и едва не падали с уст уланского полковника Яна Броницкого на уже упоминавшемся портрете. Самые страшные польские проклятия обрушились на несчастную жертву рулетки, встречавшую шквал с величайшим хладнокровием, как подобает гражданину страны, привыкшей возрождаться из пепла. Его доводы были несокрушимы: ему не хватило другого миллиона, которого требовала "система", чтобы сорвать банк. Так что, если кто-нибудь ссудит ему два миллиона, он вновь пойдёт в бой и на следующий день его хулители первыми будут кричать победное "ура!" в его честь. Но, видимо, на этот раз даже самые доблестные из польских патриотов спустили флаг и потеряли веру в победу. Броницкий проводил со своим "человеком на все руки" длительные совещания, на которые меня приглашали, хотя в подсчётах больше не было нужды, так

как единственной вытекающей из всего этого цифрой был большой дурацкий ноль. Решено было продать семейные драгоценности, которые Броницкий пришёл просить у жены. Он получил отказ. Лила, которая присутствовала при этой сцене, удобно устроившись в кресле и поедая засахаренные каштаны ("раз мы будем бедными, надо пользоваться жизнью"), рассказала мне, смеясь, что её мать выдвинула довод, что, поскольку вышеуказанные бриллианты и жемчуг были ей подарены герцогом д'Авилой в бытность его испанским послом в Варшаве, с её стороны было бы бесчестно расстаться с ними ради мужа.

— В нашей семье снова, как всегда, прежде всего думают о чести, — прокомментировал Та д.

Последнему из улан осталась только одна линия обороны: возвращение в свои польские поместья, которые были неприступны для противника, так как являлись исторической ценностью, ревностно хранимой режимом полковников, пришедшим на смену режиму маршала Пилсудского. Замок и земли расположены были в устье Вислы, в "польском коридоре", отделяющем Восточную Пруссию от остальной части Германии. Гитлер требовал её возвращения и уже установил в свободном городе Данциге нацистское правительство. Декретом 1935 года владение было объявлено неотчуждаемым, и Броницкие получали крупную субсидию за его содержание.

Я был в ужасе. Одна только мысль о потере Лилы по своей жестокости казалась мне несовместимой с какими бы то ни было представлениями о человечности. Месяцы или даже годы, которые мне придётся провести вдали от неё, открывали мне существование величины, не имевшей ничего общего с теми, какие я мог вычислить. Дядя, видевший, как я чахну по мере приближения рокового часа, попытался объяснить мне, что в литературе были примеры любви, пережившей годы разлуки, у лиц, наиболее поражённых этим недугом.

— Лучше, чтобы они совсем уехали. Тебе исполнилось семнадцать, ты должен найти себе занятие, и нельзя жить только женщиной. Уже

годы ты живёшь только ради неё и ею, и даже "эти сумасшедшие Флери", как нас называют, должны иметь немножко разума, или, как говорится по-французски, "вразумить себя", хотя я первый признаю, что от этого выражения разит отказом от своих убеждений, компромиссом и смирением и что если бы все французы "вразумляли себя", то уже давно Франции пришёл бы конец. Истина в том, что не нужно ни слишком много разума, ни слишком мало безумия, но я признаю, что "не слишком много и не слишком мало" — быть может, хороший рецепт для "Прелестного уголка" и приятеля Марселена, когда он стоит у плиты, и иногда надо уметь терять голову. Чёрт, я тебе говорю противное тому, что хотел сказать. Лучше перенести удар и покончить с этим, и даже если ты должен любить эту девушку всю жизнь, пусть уж она уедет навсегда, она от этого станет только прекраснее.

Я чинил его "Синюю птицу", которая накануне сломала себе шею.

— Что же вы всё-таки стараетесь мне сказать, дядя? Вы мне советуете "сохранить здравый смысл" или "сохранить смысл жизни"?

Он опустил голову:

— Хорошо, молчу. Я не могу давать тебе советы. Я любил только одну женщину в своей жизни, и так как ничего не получилось…

— Почему не получилось? Она вас не любила?

— Не получилось, потому что я её так и не встретил. Я хорошо представлял её, я представлял её каждый день в течение тридцати лет, но она не появилась. Воображение иногда может сыграть с нами свинскую шутку. Это касается женщин, идей и стран. Ты любишь идею, она кажется тебе самой прекрасной из всех, а потом, когда она материализуется, она совсем на себя не похожа или даже оказывается прямо дерьмовой. Или ты так любишь свою страну, что в конце концов

не можешь больше её выносить, потому что никогда она не может быть так хороша…

Он засмеялся.

— И тогда делаешь из своей жизни, своих идей и своей мечты… воздушных змеев.

Нам оставалось только несколько дней, и на прощание мы ходили смотреть на лес, пруды и старые тропинки, которые больше не увидим вместе. Конец лета был мягким, как будто из нежности по отношению к нам. Казалось, самому солнцу жаль покидать нас.

— Я бы так хотела что-то сделать из своей жизни, — говорила мне Лила, как если бы меня не было рядом.

— Это только потому, что ты недостаточно любишь меня.

— Конечно, я тебя люблю, Людо. Но именно это и ужасно. Ужасно, потому что мне этого мало, потому что я ещё продолжаю "мечтать о себе". Мне только восемнадцать лет, а я уже не умею любить. Иначе я бы не думала всё время о том, что сделаю со своей жизнью, я бы полностью забыла себя. Я бы даже не мечтала о счастье. Если бы я действительно умела любить, меня бы не было, был бы только ты. Настоящая любовь, это когда для тебя существует только любимый. И вот…

Её лицо приняло трагическое выражение.

— Мне только восемнадцать лет, а я уже не люблю, — воскликнула она и разразилась рыданиями.

Я не был слишком взволнован. Я знал, что за несколько дней она отказалась сначала от занятий медициной, а потом архитектурой, чтобы

поступить в Школу драматического искусства в Варшаве и сразу стать национальной гордостью польского театра. Я начинал понимать её и знал, что моя обязанность — оценивать в качестве знатока искренность её голоса, её горя и её растерянности. Она почти спрашивала меня, отстраняя прядь волос движением, которое мне до сих пор кажется самым красивым женским жестом, и следя за мной уголком голубого глаза: "Ты не находишь, что это у меня выходит талантливо?" И я был готов на все жертвы, чтобы спасти в её глазах высшую красоту романтизма. В конце концов, я имел дело с девушкой, чей кумир, Шопен, больной туберкулёзом, ради прихоти Жорж Санд отправился умирать во влажный климат зимней Майорки и которая часто напоминала мне с блестящими надеждой глазами, что два величайших русских поэта, Пушкин и Лермонтов, погибли на дуэли, первый в тридцать семь лет, а второй в двадцать семь и что фон Клейст покончил с собой вместе со своей возлюбленной. Всё это, говорил я себе, смешивая на этот раз славян и немцев, польские истории.

Я взял её руку и попытался успокоить её, чувствуя на своих губах нечто, начинавшее сильно напоминать лукавую улыбку дяди Амбруаза.

— Может быть, дело в том, что ты меня не любишь, — повторил я. — Тогда, разумеется, это не то, чего ты ждала. Но всё ещё будет. Может быть, это будет Бруно. Или Ханс, ты его скоро увидишь, ведь говорят, что немецкая армия действует на польской границе. Или ты встретишь кого-нибудь другого, кого полюбишь по-настоящему.

Она замотала головой, в слезах:

— Нет, я люблю именно тебя, Людо! Я действительно люблю тебя. Но не может быть, чтобы любить кого-нибудь означало только это чувство. Или же я ничтожество. У меня мелкая душа, я поверхностна, не способна к глубине, величию, потрясению!

Я вспомнил дядины советы и, в некотором роде взяв твёрдой рукой бечёвку моего прекрасного воздушного змея, чтобы помешать ему затеряться в этой славянской буре, притянул её к себе; мои губы прижались к её губам, и моей последней сознательной мыслью было: если то, что даёт мне Лила, не является "настоящей, большой любовью", как она крикнула мне, — ну что ж, тогда жизнь ещё более щедра на красоту, радость и счастье, чем мне представлялось.

В тот же вечер она уехала в Париж — непреднамеренно, но и не без улыбки я как бы смешиваю с грамматической точки зрения "она" и "жизнь", — где её ждали родители и где припёртые к стенке Радзивиллы, Сапеги, Потоцкие и Замойские патриотично отказались от преследований, чтобы не чернить одно из самых известных в Польше имён (в то время как менее заботящиеся о чести государственные деятели предавали себя позору и склонялись в Мюнхене перед нацистской сволочью). Один раз я ходил в "Гусиную усадьбу" — Тад и Бруно занимались упаковкой предметов искусства и "мелочами", в числе которых была выплата жалованья садовникам и слугам, представлявшая иногда сложную проблему. Портрет полковника Яна Броницкого в Сомосьерре, уже снятый со стены, ждал укладки в ящик и возвращения на родную землю. Подловский бродил из комнаты в комнату, отбирая мебель, которая будет продана для уплаты жалований и долга в "Прелестном уголке": Марселен Дюпра отказывался его забыть. Поставщики из Клери также не расположены были смягчиться и старались завладеть всем, что могло возместить им убытки. Всё уладилось через несколько недель, когда Геничка согласилась наконец расстаться с "одним подарком" из бриллиантов, и много мебели, в том числе рояль и глобус, осталось на месте, в надежде на возвращение в замок, но пока что Бруно был в отчаянии при мысли, что рискует потерять в этом деле свой "Стейнвей". Что касается Тада, более занятого политическими событиями, чем материальными заботами, он встретил меня с кипой газет на коленях.

— Наверно, мы сюда больше не вернёмся, — сказал он мне, — но это ничего, потому что я думаю, что скоро миллионы людей больше никуда не вернутся.

— Войны не будет, — уверенно сказал я, поскольку готов был на всё, чтобы увидеть Лилу. — Следующим летом я приеду к вам в Польшу.

— Если ещё будет Польша, — сказал Тад. — Теперь, когда Гитлер знает всю меру нашей трусости, он больше не остановится.

Бруно складывал свои партитуры в ящик.

— Пропал рояль, — сказал он мне.

— Святой эгоизм, — проворчал Тад. — Посмотри на этого типа! Мир может рухнуть — а для него единственное, что имеет значение, это ещё немножко музыки.

— Франция и Англия этого не допустят, — сказал я, и Тад, видимо, был прав, говоря о священном эгоизме, потому что я внезапно ясно понял: под тем, чего "Франция и Англия не допустят", я подразумевал окончательную разлуку с Лилой.

Тад с отвращением бросил кипу газет на землю. Он посмотрел на меня с едва ли меньшим неудовольствием.

— Да, "песни отчаяния — самые прекрасные песни". Можно было бы также добавить: "Счастливы те, кто погиб в справедливой войне, счастливы спелые колосья и убранные хлеба". Ещё бы, поэзия придёт на смену музыке, и неотразимая сила культуры сметёт Гитлера… Как бы не так! Всему крышка, дети мои.

Он ещё посмотрел на меня, и его губы сморщились.

— Добро пожаловать следующим летом в Гродек, — сказал он. — Может быть, я ошибаюсь. Вероятно, я недооцениваю всемогущество любви. Возможно, есть неизвестные мне боги, которые хотят, чтобы ничто не помешало встрече любовников. Ах, чёрт! Чёрт! Как вы могли так капитулировать?

Я сообщил ему, что дядя, несмотря на пацифизм и неприятие войны по соображениям гуманности, отказался из-за Мюнхенского соглашения от звания Почётного президента "Воздушных змеев Франции".

— Что в этом удивительного? — бросил он мне. — Именно это называется "отказ по гуманным соображениям". В общем, кто знает, это может тянуться ещё два-три года. Ну, до будущего года, Людо.

— До будущего года.

Мы обнялись, и они проводили меня до террасы. Я вновь вижу их обоих, с поднятыми руками, махающими мне вслед. Я был уверен, что Тад ошибается, и немного жалел его. Он страстно любил всё человечество, но, в сущности, у него никого не было. Он верил в несчастье, потому что был один. Надежда нуждается в двоих. Все законы больших чисел основаны на этой уверенности.

Глава XIII

Именно зимой 1938-1939 годов моя память проявила себя таким образом, что оправдались худшие предчувствия господина Эрбье, некогда предупреждавшего дядю, что "этот мальчик, кажется, абсолютно лишён способности забывать". Не знаю, было ли это то же самое, что у всех Флери, потому что на этот раз речь шла не о свободе, не о правах человека и не о Франции, которая была ещё на своём месте и по внешнему виду не требовала никакого особенного усилия памяти. Меня не покидала Лила. Я снова взялся за бухгалтерскую работу в "Прелестном уголке", прирабатывая на различных коммерческих

предприятиях округи, чтобы отложить деньги, необходимые для поездки в Польшу. Я работал и на ферме, но в течение всего этого времени присутствие рядом со мной Лилы имело такую физическую реальность, что дядя, без шуток, стал даже ставить на стол третий прибор для той, кто отсутствовала так весомо. Он советовался с доктором Гардье — тот упомянул о навязчивых идеях и посоветовал бегать и играть в спортивной команде. Я не был удивлён непониманием медика, но меня огорчило отношение опекуна, хотя я знал, что он опасается абсолютной верности, уже причинившей нашим родственникам столько несчастий. Мы несколько раз повздорили. Он утверждал, что путешествие в Польшу, которое я планировал летом, принесёт мне худшее из разочарований и что, кстати, даже само выражение "первая любовь", по определению, означает нечто, имеющее конец. Однако мне казалось, что порой дядя смотрит на меня не без гордости.

— В общем, если тебе не хватит денег на поездку, — сказал он наконец, — я тебе дам. И надо, чтобы ты купил себе что-то из одёжки, потому что не может быть и речи, чтобы приехать к этим людям одетым как бродяга.

В течение зимы Лила написала мне несколько писем: они становились всё короче и в конце концов превратились в открытки; это было понятно — скоро мы должны быть вместе, и сама краткость её записок: "Мы все тебя ждём", "Я так счастлива, что ты наконец увидишь Польшу", "Мы думаем о тебе", "Вот и июнь!", — казалось, сокращала время и подталкивала месяцы и недели. А потом, до самого отъезда, было долгое молчание, как будто чтобы ещё сократить последние недели ожидания.

Я сел на поезд в Клери 20 июня. Дядя провожал меня на вокзал. И пока мы катили бок о бок на велосипедах, он сказал только:

— Посмотришь белый свет.

Свет, страны, вся земля были последним, о чём я думал. Мир не участвовал в путешествии. Я думал только о том, чтобы вновь обрести целостность, вновь обрести руки, которых мне не хватало. Когда поезд тронулся и я высунулся из окна, Амбруаз Флери мне крикнул:

— Надеюсь, ты не упадёшь со слишком большой высоты и я не получу тебя обратно всего изломанного и помятого, как наш старый "Мореход". Помнишь?

— Вы же знаете, я никогда ничего не помню! — крикнул я ему, и так, смеясь, мы расстались.

Глава XIV

Я никогда ещё не вылезал из своей нормандской дыры. О мире я не знал ничего, кроме географии, а об истории то, что узнал из учебников, или глядя на имена моего отца и его брата Робера на надгробных памятниках в Клери, или же слушая опекуна, когда тот объяснял мне значение своих воздушных змеев. Мне не приходило на ум думать об истории в настоящем времени. Что касается политики и тех, кто её делает, я знал только лица Эдуара Эррио, Андре Тардье[13], Эдуара Даладье[14], Пьера Лаваля[15], Пьера-Этьена Фландена[16] или Альбера Сарро[17], которого мне случалось видеть, когда я выходил из маленькой конторы Марселена Дюпра в "Прелестном уголке". Разумеется, я знал, что Италия — фашистская страна, но когда порой замечал на стене надпись: "Долой фашизм!", то спрашивал себя, зачем она здесь, ведь мы во Франции. Гражданская война в Испании, о которой мне так часто рассказывал Тад, казалась мне делом далёким: другие люди, другие нравы, и кроме того, как всем известно, у испанцев в какой-то мере кровожадность в крови. Я был возмущён Мюнхенским соглашением в прошлом году, особенно потому, что Ханс был немец и, таким образом, я, как мне казалось, терял очко в соперничестве, делавшем нас противниками. Единственное, в чём я был уверен, так это в том, что Франция никогда не покинет Польшу, или, точнее, Лилу. Сегодня, может быть, трудно себе представить такое невежество у

молодого человека восемнадцати лет, но в то время Франция являлась ещё страной величия, спокойной силы, престижа и так была уверена в своей "миссии разума", что, по моему мнению, сама могла справиться со своими проблемами, и я полагал, что это избавляет французов от всех хлопот. Я не могу даже сказать, что такое отношение объяснялось отсутствием у меня сведений. Наоборот: обязательное народное образование слишком хорошо научило меня, что свободе, достоинству и правам человека не может угрожать опасность, пока наша страна остаётся верна себе, — это было для меня несомненным, принимая во внимание всё, что мне преподали. Отзвуки происходящего у наших соседей, так близко, конечно, но всё же за пределами наших границ, вызывали у меня только удивление, смешанное с пренебрежением, и утверждали в моих глазах наше превосходство; впрочем, как мой дядя, так и Марселен Дюпра и все мои школьные учителя согласно утверждали, что у диктаторского режима нет никаких шансов на длительное существование, так как он не пользуется поддержкой народа. Народ был для Амбруаза Флери понятие священное, потенциально несущее в себе крах Муссолини, Гитлера и Франко. Никто не рассматривал фашизм и нацизм как народные режимы — такая мысль была бы настоящим отрицанием всего, что составляет основу обязательного народного обучения. Решительный пацифизм моего дяди довершил остальное. Иногда я ясно чувствовал некоторое несоответствие и противоречивость его позиций: так, он восхищался Леоном Блюмом, когда тот отказался вмешаться в войну в Испании, но, однако, был взбешён во время Мюнхенского соглашения. Наконец я сказал себе, что, несмотря на все его старания, он в этом случае пал жертвой "исторической памяти" Флери и что даже тридцать пять лет, посвящённые мирному занятию сельского почтальона, не уберегли его от новых приступов болезни.

Таким образом, я был совсем не подготовлен к виду той Европы 1939 года, через которую ехал. На итальянской границе, кишевшей чёрными рубашками, кинжалами и фашистскими эмблемами, у меня конфисковали перочинный нож не более семи сантиметров длиной. Перроны вокзалов гудели от маршировки военных отрядов; кто-то из

соотечественников перевёл мне передовицу, в которой Малапарте[18] говорил о "дегенерации Франции" и сравнивал её с продажной девкой. Вскоре после австрийской границы грустного лысого человечка из моего купе попросили выйти из поезда, и он, плача, подчинился. Всюду была свастика: на знамёнах, нарукавных повязках, на стенах; и на всех плакатах я встречался со взглядом Гитлера. Когда у меня проверяли паспорт и визы и видели, что я еду в Польшу, на меня бросали жёсткий взгляд и возвращали бумаги сухо, с презрительным видом. Два раза окна замазывали специальным клеем, а фотоаппараты у всех забрали и держали у себя в течение всего пути: видимо, поезд шёл вдоль какой-то "военной зоны". Эсэсовцы, сидевшие напротив меня на пути от Вены до Братиславы, бросали на мой французский берет весёлые взгляды и, выходя, попрощались со мной победным "Зиг хайль!".

Как только поезд остановился на первой польской станции, атмосфера внезапно полностью изменилась. Казалось, даже мой берет имел другое значение, если не происхождение: пассажиры смотрели на него дружески. Те, кто не говорил по-французски, не упускали любой возможности выказать мне свою симпатию: меня хлопали по плечу, жали руку и угощали своим пивом и едой. По дороге в Варшаву и затем на другом поезде вдоль "коридора" я услышал больше возгласов "Да здравствует Франция!", чем за всю свою жизнь.

Броницкие телеграфировали, что приедут встречать меня на вокзал, и как только контролёр предупредил, что мы подъезжаем к Гродеку, я перешёл из своего вагона третьего класса в первый класс, откуда готовился выйти с подобающим достоинством. Марселен Дюпра одолжил мне чемодан из настоящей кожи и, напомнив, что, "в конце концов, ты будешь представлять там Францию", предложил пришить к лацкану пиджака или даже к берету трёхцветную эмблему "Прелестного уголка" с тремя звёздочками, на что я для виду согласился, но спрятал эмблему в карман, не имея в то время ещё ни малейшего предчувствия, чему в скором времени суждено будет воплощать последнюю всемирно признанную ценность моей страны. Тогда ещё никому не пришло бы на ум, несмотря на известность Марселена Дюпра, считать этого

последнего ясновидцем, и то, что мэтр называл "тремя звёздами Франции", далеко не сверкало ещё тем блеском, что сегодня.

Кроме нескольких крестьян с ящиками, в поезде больше почти никого не осталось, когда он остановился на маленькой станции из красного кирпича в Гродеке; однако, видимо, ожидали какое-то официальное лицо, так как, сойдя на перрон, я очутился перед военным оркестром из десяти человек. Я увидел также, что крыша вокзала украшена соединёнными вместе французскими и польскими флагами, и едва я со своим чемоданом сделал шаг, как оркестр заиграл "Марсельезу", а затем польский гимн, которые я слушал, вытянув руки по швам, быстро сняв берет и одновременно кося глазами, пытаясь увидеть французского деятеля, которого так встречают. Я увидел Стаса Броницкого с непокрытой головой и шляпой у сердца, слушающего национальный гимн, и Лилу, которая сделала мне знак рукой; Тад опустил глаза и явно с большим трудом удерживался от смеха. Позади них Бруно со своим всегдашним немного потерянным видом глядел на меня с улыбкой, одновременно дружеской и смущённой, —причину этого я понял только тогда, когда маленькая девочка в трёхцветных лентах вручила мне букет из синих, белых и красных цветов и старательно выговорила по-французски: "Да здравствует вечная Франция и бессмертная дружба французского и польского народов!" — в чём, как мне показалось, был избыток вечности и бессмертия зараз. Поняв наконец, что объектом этой почти официальной встречи являюсь я, после мгновения паники, ибо это был первый раз, когда я представлял Францию за рубежом, я храбро ответил по-польски:

— Niech zyje Polska! Да здравствует Польша!

Девочка разрыдалась, музыканты оркестра сломали свои ряды и подошли, чтобы пожать мне руку, Стас Броницкий заключил меня в объятия, Лила кинулась мне на шею, Бруно поцеловал меня и отступил — и, когда патриотический энтузиазм присутствующих утих, Тад взял меня за локоть и шепнул на ухо:

— Ну вот, можно подумать, что победа уже за нами!

В его шутке было такое отчаяние, что я в своём новом качестве представителя Франции возмутился, высвободил руку и ответил:

— Мой дорогой Тад, есть такая вещь, как цинизм, и есть история Франции и Польши. Они несовместимы друг с другом.

— Кроме того, войны не будет, — вмешался Броницкий. — Гитлеровский режим вот-вот рухнет.

— Кажется, я помню, что Черчилль сказал по этому поводу перед английским парламентом во время Мюнхена, — проворчал Тад. — Он сказал: "Вам надо было выбирать между позором и войной. Вы выбрали позор, и вы получите войну".

Я держал руку Лилы в своей.

— Ну что ж, мы её выиграем, — сказал я и в благодарность получил поцелуй в щеку.

Я почти чувствовал тяжесть своего венца Француза на голове. Когда я вспоминал, что Марселен Дюпра посмел мне предложить отправиться в Польшу с эмблемой "Прелестного уголка" на груди, я жалел, что не дал ему пару оплеух. Принимая у себя в ресторане всех видных лиц Третьей республики, этот повар утратил понятие о величии своей страны и о том, что она значит в глазах мира. По дороге со станции к замку, в старом "форде", которым управлял сам Броницкий, — голубым "паккардом" завладели кредиторы из Клери, —рука об руку с Лилой, я рассказывал последние французские новости. Никогда ещё нация не чувствовала такой уверенности в себе. Лай Гитлера вызывал смех. Вся страна, спокойно убеждённая в своей силе, как бы приобрела новое качество, которое некогда называлось "английской флегмой".

— Президент Лебрен сделал шутливый жест, который, говорят, вывел Гитлера из себя. Он осмотрел плантацию роз, которую наши солдаты вырастили на линии Мажино.

Лила сидела рядом со мной, и этот профиль, такой чистый на фоне массы светлых волос, этот взгляд, как бы рассеивающий все сомнения, вызывали во мне уверенность в победе не иллюзорной, ибо эту мою победу никто не мог и не сможет оспаривать. Таким образом, в жизни есть по крайней мере одно, в чём я не ошибся.

— Ханс сказал мне, что командующие немецкой армией ждут только случая, чтобы избавиться от Гитлера, — сказала она.

Так я узнал, что Ханс в замке. К чёртовой матери, подумал я внезапно и даже не устыдился этого падения с высоты возвышенных мыслей или, скорее, этой непреодолимой вспышки народного гнева.

— Не знаю, избавится ли немецкая армия от Гитлера, но я знаю, кто избавится от немецкой армии, — объявил я.

Кажется, в роли такого избавителя я представлял себя. Не знаю, было ли это похмелье от оказанного мне патриотического приёма, или рука Лилы в моей заставляла меня терять голову.

— Мы готовы, — добавил я, укрываясь из скромности за множественным числом.

Тад молчал, тонко улыбаясь, отчего его профиль казался ещё более орлиным. Я с трудом переносил его саркастическое молчание. Бруно попытался немного разрядить атмосферу.

— А как поживает Амбруаз Флери со своими воздушными змеями? — спросил он. — Я о нём часто думаю. Это настоящий пацифист.

— Дядя так и не оправился после войны четырнадцатого года, — объяснил я. — Это человек другого поколения, поколения, испытавшего слишком много ужасов. Он не доверяет высоким порывам и думает, что люди должны удерживать даже самые благородные свои идеи за прочную бечёвку. Без этого, по его мнению, миллионы человеческих жизней будут потрачены на то, что он называет "поисками невозможного". Он чувствует себя хорошо только в компании своих воздушных змеев. Но мы, молодые французы, мы не довольствуемся картонными мечтами, ни даже просто мечтами. Мы вооружены и готовы защищать не только наши мечты, но и нашу реальность, и эта реальность называется свободой, достоинством и правами человека…

Лила мягко вынула свою руку из моей. Не знаю, была ли она смущена моим патриотическим пылом и моими разглагольствованиями или немного недовольна, что я как бы забыл о ней. Но я не забыл — это о ней я говорил.

Глава XV

Замок Броницких походил на крепость; когда-то он и был крепостью. Он находился в нескольких сотнях метров от Балтийского моря и не более чем в десяти километрах от немецкой границы. Вокруг был парк, сосновый лес и песок. Ров ещё существовал, но вместо прежнего подъёмного моста построили широкую лестницу и просторную террасу. Стены и старые башни были изъедены историей и морским воздухом: как только я вошёл в первый зал, я оказался среди такого количества доспехов, орифламм, щитов, аркебуз, алебард и эмблем, что почувствовал себя голым.

Я сделал всего несколько шагов в этой обстановке аукциона, когда увидел Ханса, сидящего в ковровом кресле у мраморного стола. На нём был свитер, брюки для верховой езды, сапоги, и он читал английский иллюстрированный журнал. Мы поздоровались издали. Я не понимал его присутствия здесь, зная, что он учится в военной академии в Прёхене и что напряжение между Польшей и Германией возрастает с каждой

неделей. Лила мне объяснила, что "бедняжка" выздоравливает после пневмонии в имении своего дяди, Георга фон Тиле, по другую сторону границы, которую время от времени пересекает верхом по тропинкам, известным с детства, чтобы навестить своих польских кузенов, — для меня это означало просто, что он по-прежнему влюблён в свою кузину.

Я нашёл, что Лила изменилась. Ей исполнилось двадцать лет, но, как сказал мне Тад, она продолжала "мечтать о себе".

— Я хочу что-то сделать в жизни, — повторяла она мне. Один раз я не удержался от ответа:

— Подожди хотя бы, пока я уеду!

Не знаю, откуда я взял, что любовь может быть всей целью и смыслом существования. Наверное, я унаследовал от дяди это полное отсутствие честолюбия. Возможно также, что я полюбил слишком рано, слишком молодым, полюбил всем своим существом, и во мне не осталось места ни для чего другого. Бывали часы прояснения, когда я видел, как далека моя жалкая прозаическая банальность от того, чего могла ожидать эта мечтательная белокурая головка, лежащая на моей груди с закрытыми глазами и улыбкой на губах, грезящая о неизвестной славной дороге в будущее. Я чувствовал, что она находит в самой моей простоватости что-то успокоительное, но нелегко привыкнуть к мысли, что женщина привязана к вам, потому что вы удерживаете её на земле, не давая воспарить слишком высоко. После целого дня, проведённого в "мечтах о себе" в лесу, как она мне говорила, она приходила в мою комнату, как если бы я был для неё смиренным ответом на все задаваемые ею вопросы.

— Люби меня, Людо. Это всё, чего я заслуживаю. Видно, я буду одной из тех женщин, которые годятся только на то, чтобы быть любимыми. Когда я слышу, как мужской голос позади меня бормочет: "Как хороша!" — это как если бы мне говорили, что вся моя жизнь будет заключаться в

зеркале. И так как у меня ни к чему нет таланта… — Она прикоснулась к кончику моего носа. —… кроме тебя… Я никогда не буду мадам Кюри. В этом году я запишусь на медицинский факультет. Если повезёт, может быть, я когда-нибудь кого-нибудь вылечу.

В её грусти я понимал только одно: ей меня недостаточно. Сидя под большими соснами на берегу Балтийского моря, Лила "мечтала о себе", с травинкой в зубах, а мне казалось, что эта травинка — я и что меня в любой момент могут пустить по ветру. Она сердилась, когда я шептал: "Ты вся моя жизнь", и я не знал, возмущает ли её банальность выражения или ничтожность такой единицы измерения.

— Послушай, Людо. И до тебя были люди, которые любили.

— Да, я знаю, у меня есть предшественники.

Сейчас мне кажется, что у моей подруги было смутное желание, которое она не могла выразить словами: желание не быть сведённой только к своей женственности. Как я мог понять в моем возрасте и так мало зная о мире, в котором жил, что слово "женственность" может быть для женщин тюрьмой? Тад мне говорил:

— Политически моя сестра безграмотна, но её манера "мечтать о себе" — манера не осознающей себя революционерки.

В середине июля Тада арестовала полиция, увезла в Варшаву и допрашивала несколько дней. Его подозревали в том, что он писал "подрывные" статьи в одной из запрещённых газет, которые тогда распространялись в Польше. Его выпустили с извинениями по приказанию высших властей: виновен он или нет, немыслимо, чтобы историческое имя Броницких было замешано в подобном деле.

Слухи о войне с каждым днём звучали громче, как постоянное ворчание грома на горизонте; когда я гулял по улицам Гродека,

незнакомые люди дожимали мне руку, замечая на лацкане моего пиджака маленькую трёхцветную нашивку, из которой я выщипал нитку за ниткой слова "Прелестный уголок", но никто в Польше не верил, что через неполных двадцать лет Германия будет напрашиваться на новое поражение. Только Тад был уверен в неизбежности мирового конфликта, и я чувствовал, что он разрывается между своим отвращением к войне и надеждой, что из руин старого мира родится новый. Мне было неловко, когда и он, знавший мою наивность и невежество, с тревогой спрашивал:

— Ты действительно думаешь, что французская армия так сильна, как у нас говорят? Он тут же спохватывался, улыбаясь:

— Конечно, ты ничего об этом не знаешь. Никто ничего не знает. Это и называется "тонкостями" истории.

Из нашего убежища на берегу Балтийского моря, где мы встречались, когда этому благоприятствовало солнце, ничто не казалось дальше, чем тот конец света, от которого нас отделяло всего несколько недель. И тем не менее я ощущал у своей подруги нервозность, даже ужас, о причине которых напрасно её расспрашивал: она качала головой, прижималась ко мне, с расширенными глазами и бьющимся сердцем:

— Я боюсь, Людо. Я боюсь.

— Чего? — И я добавлял, как подобало: — Я здесь.

Особая чувствительность всегда провидит будущее, и один раз Лила прошептала мне странно спокойным голосом:

— Будет землетрясение.

— Почему ты так говоришь?

— Будет землетрясение, Людо. Я в этом уверена.

— В этом районе никогда не было землетрясений. Это научный факт.

Ничто не придавало мне больше спокойной силы и веры в себя, чем эти минуты, когда Лила обращала ко мне почти умоляющий взгляд.

— Не знаю, что со мной… — Она прикладывала руку к груди. — У меня здесь больше не сердце, а трясущийся заяц.

Я винил во всём море, слишком холодное купание, морские туманы. И потом, я был здесь.

Всё казалось таким спокойным. Старые северные сосны брались за руки над нашими головами. Карканье ворон не означало ничего, кроме близости гнезда и наступления вечера.

Профиль Лилы на фоне белокурых волос очерчивал перед моими глазами линию судьбы более убедительную, чем все крики ненависти и угрозы войны. Она подняла ко мне серьёзный взгляд:

— Кажется, я тебе наконец скажу, Людо.

— Что?

— Я люблю тебя.

Я не сразу пришёл в себя.

— Что с тобой?

— Ничего. Но ты была права. Случилось землетрясение.

Тад, который почти не расставался с радиоприёмником, грустно наблюдал за нами.

— Торопитесь. Вы переживаете, может быть, последнюю любовную историю в мире.

Но очень быстро наша молодость заявляла свои права. В замке был настоящий музей исторических костюмов, занимавший три комнаты так называемого памятного крыла замка; его шкафы и витрины были полны нарядов высокочтимого прошлого; я натягивал уланскую форму; Тад давал себя уговорить и надевал костюм одного из kosyniery, крестьян, которые шли за Костюшко, вооружённые только косами, против царской армии; Лила появлялась в сверкающем золотой вышивкой платье, принадлежавшем какой-то царственной прабабке; Бруно, переодетый Шопеном, садился за рояль, и моя подруга, хохоча от этого маскарада, увлекала нас по очереди в полонез, который доброжелательно отражали высокие зеркала, знавшие другие времена, другие нравы. Ничто не казалось вернее, чем мир на земле, когда он воплощался в лице моей подруги. Пока я тяжело скакал по паркету с Лилой в объятиях, всё было здесь, настоящее и будущее, — вот так храбрый нормандский улан летел очень высоко над землёй вместе с королевой, чьё имя ещё не было известно истории Польши, очень мало заботившейся о сердечных делах в эти последние дни июля 1939 года.

Затем мы уходили из "памятного крыла" погулять по аллеям парка; Тад и Бруно скромно удалялись, и мы оставались одни. В конце аллеи начинался лес, шептавший то голосом своих сосен, то голосом моря; среди его гигантских папоротников были уголки земли и скал, куда, казалось, никогда не заглядывало время. Я любил эти заповедные места, погруженные в некие тайные мечтания о геологических эпохах. Песок ещё хранил с прошедших дней следы наших тел. Лила переводила дыхание; я закрывал глаза на её плече. Но вскоре красно-синий уланский мундир смешивался в папоротниках с королевским платьем, и не было больше ни моря, ни леса, ни земли; каждое объятие охраняло жизнь от всех опасностей и всех ошибок, как бы очищая её от

обмана и притворства. Когда сознание возвращалось, я чувствовал, как моё сердце медленно входит в гавань со всем спокойствием больших парусников после долгих лет отсутствия. И когда в конце ласки моя рука, отнятая от груди Лилы, касалась камня или коры дерева, они не казались мне жёсткими. Иногда я пытался любить с открытыми глазами, но всегда закрывал их, потому что зрение слишком отвлекало меня и заслоняло мои чувства. Лила немного отстранялась от меня и смотрела на меня взглядом, не лишённым суровости.

— Ханс красивее тебя, а Бруно гораздо талантливее. Я себя спрашиваю, почему я предпочитаю всем тебя.

— Я тоже, — говорил я. Она смеялась.

— Я никогда ничего не буду понимать в женщинах, — говорила она.

Глава XVI

Мне казалось, что Бруно меня избегает. Меня мучило выражение горя на его лице. Обычно он проводил за роялем пять-шесть часов в день, и иногда я подолгу стоял под его окном и слушал. Но с некоторых пор наступила тишина. Я поднялся в музыкальную комнату: рояль исчез. Тогда мне пришла явно безумная, но соответствовавшая моему представлению о любовном огорчении мысль, что Бруно бросил свой рояль в море.

В тот же вечер, идя по тропинке в поисках Лилы, я услышал аккорды Шопена, смешивающиеся с шёпотом волн. Я сделал несколько шагов по песчаной дорожке, усыпанной зелёными иголками, и вышел на пляж. Слева от себя я увидел рояль под большой сосной, сгорбившейся, как свойственно очень старым деревьям, чьи вершины как бы грезят о прошлом. Бруно сидел за клавишами в двадцати шагах от меня; я видел сбоку его профиль, и в морском воздухе лицо его казалось мне почти

призрачно-бледным — предвечерний свет скорее приглушал, чем выделял краски; чайки пронзительно кричали.

Я остановился за деревом — не для того, чтобы спрятаться, а потому, что всё было так совершенно в этой бледной северной морской симфонии, что я боялся нарушить одно из мгновений, которые могут длиться всю жизнь, если иметь хоть немного памяти. Чайка вырывалась из дымки, прочерчивала воздух над водой и улетала, как нота. Только шипела пена, и Балтийское море — всего лишь водное пространство, всего лишь смесь воды и соли — стихало на песке перед роялем, как собака, которая ложится у ног хозяина.

Потом руки Бруно замерли. Я подождал несколько минут и подошёл ближе. Под густой спутанной шевелюрой его лицо было по-прежнему как птенец, выпавший из гнезда. Я искал что сказать, потому что всегда приходится прибегать к словам, чтобы помешать молчанию говорить слишком громко, когда почувствовал позади себя чьё-то присутствие. Лила была здесь, босая на песке, в изумительном прозрачно-кружевном платье, которое, видимо, взяла у матери. Она плакала.

— Бруно, мой маленький Бруно, я люблю тебя тоже. Что касается Людо, это может кончиться завтра или продолжаться всю жизнь, это не зависит от меня, это зависит от жизни!

Она подошла к Бруно и поцеловала его в губы. Я не ревновал. Это был не такой поцелуй.

Я опасался совсем другого соперника, я видел, как на тропинке под соснами он держит за повод двух коней, Хансу опять удалось перейти границу, чтобы побыть с Лилой. Напрасно моя подруга объясняла мне, что по воле веков и истории одна из ветвей генеалогического древа Броницких простиралась до Пруссии, — присутствие этого "кузена", кадета военной академии вермахта, казалось мне невыносимым. В том, что он в своём костюме джентльмена-охотника хладнокровно стоит

рядом с нами, я усматривал навязчивость и наглость, которые меня выводили из себя. Я сжимал кулаки, и Лила встревожилась:

— Что с тобой? Почему у тебя такой вид?

Я ушёл от них и углубился в лес. Я не понимал, как могут Броницкие, каковы бы ни были их родственные связи, терпеть присутствие того, кто, может быть, готовится в рядах немецкой армии захватить священный "коридор". Я только раз слышал, как сам Ханс коснулся этой темы после одной особенно ядовитой речи Гитлера. Мы все сидели в гостиной у камина, где огонь плясал и ревел голосом старого льва, мечтающего о смерти укротителя. Тад только что выключил радио. Ханс смотрел на нас.

— Я знаю, о чём вы думаете, но вы ошибаетесь. Гитлер нам не хозяин, он наш слуга. Армии не составит никакого труда смести его, когда он перестанет быть нам полезен. Мы положим конец всей этой низости. Германию снова возьмут в свои руки те, кто всегда заботился о её чести.

Тад сидел в кресле, протёртом до дыр историческими ягодицами Броницких.

— Мой дорогой Ханс, элита обкакалась. Всё кончено. Единственное, что она ещё может дать миру, так это факт своего исчезновения.

Лила полулежала в одном из жёстких царственных кресел с высокой спинкой, которые, видимо, были местным вариантом стиля Людовика Одиннадцатого.

— Отче наш на небесах, — прошептала она.

Мы посмотрели на неё с удивлением. Она испытывала по отношению к церкви, религии и священникам чувство, не лишённое христианского

сострадания, но потому что, говорила она, "надо им прощать, ибо они не ведают, что творят".

— Отче наш на небесах, сделай мир женским! Сделай идеи женскими, страны женскими и глав государств женщинами! Знаете ли вы, дети мои, кто был первый мужчина, заговоривший женским голосом? Иисус.

Тад пожал плечами:

— Мысль. Что Иисус был гомосексуалистом — вымысел нацистов, который не имеет никакой исторической основы.

— Вот настоящее мужское рассуждение, мой маленький Тад! Я не такая идиотка, чтобы утверждать такое. Я говорю только, что первый человек, заговоривший в истории цивилизации голосом женщины, — Иисус. Я это говорю и доказываю это. Потому что кто тот человек, который первым призвал к жалости, любви, нежности, кротости, прощению, уважению к слабости? Кто первый послал к чёрту — ну, это я в переносном смысле — жёсткость, жестокость, кулаки, пролитую кровь? Иисус первый потребовал феминизации мира, и я тоже её требую. Я вторая после Христа её требую, вот!

— Второе пришествие! — проворчал Тад. — Этого ещё нам недоставало!

Были дни, когда я почти не видел Лилу. Она исчезала в лесу с толстой тетрадью и карандашами. Я знал, что она пишет дневник, который должен был затмить знаменитый в то время дневник Марии Башкирцевой. Тад подарил ей "Историю феминистского движения" Мэри Стенфилд, но слово "феминизм" ей не нравилось.

— Надо придумать что-то не на "изм", — говорила она.

Я ревновал её к уединению, к тропинкам, по которым она ходила без меня, к книгам, которые брала с собой и читала, как будто меня не было. Теперь я уже умел смеяться над своим избытком требовательности и тираническим страхом: я начинал понимать, что даже смыслу нашей жизни надо давать право время от времени покидать нас или даже немного изменять нам с одиночеством, горизонтом и этими высокими цветами, названия которых я не знаю и которые теряют свои белые головки при малейшем дуновении ветра. Когда она вот так покидала меня, чтобы "искать себя" (ей случалось за один день переходить от Школы искусства в Париже к занятиям биологией в Англии), я чувствовал себя изгнанным из её жизни за незначительность. Тем не менее я начинал приходить к мысли, что недостаточно просто любить, надо уметь любить, и вспоминал совет дяди Амбруаза крепко держаться за конец бечёвки, чтобы помешать воздушному змею затеряться "в поисках неба". Я мечтал о слишком высоком и слишком далёком. Мне надо было смириться с мыслью, что я — только моя собственная жизнь, а не жизнь Лилы. Никогда ещё понятие свободы не казалось мне таким суровым, требовательным и трудным. Я слишком хорошо знал историю Флери, "жертв обязательного народного образования", как говорил дядя, чтобы не признать тот факт, что свобода во все времена требовала жертв, но мне никогда не приходило на ум, что любовь к женщине может быть также постижением свободы. Я взялся за это постижение храбро и прилежно: я больше не ходил в лес в поисках Лилы и, когда её отсутствие затягивалось, боролся против охватывавшего меня чувства незначительности и небытия, почти забавляясь, когда казался себе "всё меньше и меньше", затем, чтобы посмеяться, шёл посмотреть на себя в зеркало, чтобы удостовериться, что не стал карликом.

Надо сказать, что моя проклятая память не облегчала мне дела. Когда Лила от меня уходила, я видел её перед собой так ясно, что мне случалось упрекать себя в шпионстве. Может быть, нужно любить нескольких женщин, чтобы научиться любить одну? Ничто не может подготовить нас к первой любви. И когда порой Тад говорил мне:

"Ничего, в твоей жизни ты ещё будешь любить других женщин", мне казалось, что нехорошо так говорить о жизни.

В замке было три библиотеки со стенами, уставленными томами, украшенными золотом и пурпуром. Я часто ходил туда, чтобы поискать в книгах какой-то смысл жизни помимо Лилы. Но его не было. Я начинал бояться. Я даже не был уверен, что Лила действительно меня любит, что я не просто "её маленький французский каприз", как мне сказала однажды госпожа Броницкая. Лила звала нас — Тада, Бруно, Ханса и меня — своими "четырьмя всадниками анти-Апокалипсиса", которые все станут благодетелями человечества, — а я не умел даже ездить верхом. Когда она предоставляла меня самому себе, я находил убежище в чтении. Стас Броницкий — я редко видел его в Гродеке, так как его задерживало в Варшаве дело чести (Геня стала, по слухам, любовницей влиятельного государственного деятеля, и супруг не мог оставить её одну в столице, а то имя Броницких могло пострадать от чрезмерной очевидности этого факта), — найдя меня однажды погруженным в чтение подлинного издания Монтеня, провозгласил, указывая широким жестом на свои библиофильские сокровища:

— Я провёл здесь самые увлекательные и вдохновенные часы моей юности, и сюда на склоне лет я вернусь для встречи с тем, что было подлинным смыслом моей жизни: культурой…

— Отец в жизни не прочёл ни одной книги, — шепнул мне на ухо Тад. — Но это не мешает чувствовать.

Состояние транса, в которое я погружался, когда отсутствие Лилы затягивалось или когда — верх несчастья! — появлялся Ханс и они уезжали вдвоём на лошадях по лесным дорогам, не оставалось незамеченным для моих друзей. Бруно убеждал меня, что я не должен ревновать: Ханс, надо признать, прекрасно ездил верхом. Тад старался не быть саркастичным, что было для него совершенно противоестественно. Один раз он даже рассердился, когда польское

радио сообщило о новой концентрации немецких войск вдоль "коридора":

— Слушай, что это за дурацкие любовные переживания, в то время когда Европе и свободе грозит гибель!

На одной из узких улочек Гродека старый господин с прекрасными седыми усами поздоровался со мной и пригласил меня "в своё скромное жилище". На стене гостиной висел портрет маршала Фоша[19] во весь рост.

— Да здравствует бессмертная Франция! — сказал хозяин.

— Да здравствует вечная Польша! — ответил я.

Было что-то смертное в этих заверениях в бессмертии. Возможно, это был единственный момент в Гродеке, когда сомнение задело меня своим тревожным крылом. В доверии, проявляемом поляками к "непобедимой Франции", что-то внезапно показалось мне более близким к смерти, чем к непобедимости. Но это продолжалось только минуту, и я тут же обрёл в "исторической памяти" Флери уверенность, позволявшую мне возвращаться к Лиле и обнимать её со спокойной верой человека, спасающего таким образом мир на земле. Сегодня, после того как погибло сорок миллионов, я не буду искать себе никакого оправдания, разве только оправдания наивности, на которой подчас основывается как высшее самопожертвование, так и пагубное ослепление; но ничто, на мой взгляд, не отрицало войну более ощутимо, чем тепло её губ на моей шее и на моём лице, — эти поцелуи я чувствовал потом всю жизнь. Когда человеку слишком хорошо, он рискует иногда стать от счастья чудовищем. Я сухо отвечал полякам, которые заговаривали со мной на улице при виде моей трёхцветной французской эмблемы, и таким образом отгораживался от всего, что могло бы бросить тень на НАШЕ будущее. Я неохотно отправился с Тадом на подпольное собрание студентов в Хелм, где столкнулись две позиции: одни требовали

немедленной мобилизации, а другие утверждали, если я правильно понял, что нужно уметь проиграть чисто военную битву, чтобы выиграть другую, которая положит конец обществу эксплуатации. Очень примитивное знание польского языка не позволяло мне разобраться в этой диалектике, и я слушал вежливо, но немного иронично, скрестив на груди руки, уверенный, что моё спокойное французское присутствие служит ответом на все вопросы.

Глава XVII

Именно по моём возвращении с этого собрания граф Броницкий имел со мной торжественную беседу в большом овальном зале, так называемой "княжеской гостиной", где был подписан какой-то победоносный договор. Он пригласил меня к четырём часам дня, и я ожидал его под картинами, на которых наполеоновских маршалов отделяло всего несколько метров от гетмана Мазепы, позорно спасающегося бегством после своего поражения, и от Ярослава Броницкого, героя, чья знаменитая атака обеспечила победу Собеского[20] над турками в Венском сражении. У Стаса Броницкого в разных концах страны было с полдюжины художников, кистью и маслом увековечивавших старинные благородные события польской истории. В то время граф проводил крупную коммерческую операцию: он собирался продать за океаном восемь миллионов заказанных у русских шкур (две трети всего производимого каракуля, голубой норки и длинношёрстного меха — рыси, лисицы, медведя), получив 400 процентов прибыли. Не знаю, как в его гениальном мозгу зародилась идея этого дела; сегодня я думаю, что его посетило что-то вроде предчувствия, но оно ошиблось шкурой.

Я проводил несколько часов в день за вычислением возможных прибылей в зависимости от курса акций на различных рынках мира. Для этого предприятия требовалось почти всё производство шкур в Советском Союзе, намеченное на 1940, 1941, 1942 годы, и дело поддерживалось польским правительством; по-видимому, речь шла о высокой дипломатии: установить посредством коммерции хорошие

отношения с СССР, после того как полковник Бек, министр иностранных дел, потерпел поражение в своих попытках прийти к соглашению с гитлеровской Германией. Видимо, никогда ещё во всей истории человечества не допускалась более крупная ошибка касательно природы и цены шкур. Ещё и теперь можно найти подробности этого дела в польских национальных архивах. Одну из самых страшных фраз, которые мне доводилось услышать, произнёс некий знаменитый член Wild Life Society[21] после войны: "Можно по крайней мере радоваться, что десятки миллионов животных избежали истребления".

Я ждал Броницкого добрых полчаса. Я не знал, чего он от меня хочет. Этим утром у нас была длительная деловая встреча, где речь шла только о том, чтобы найти место складирования шкур: следовало обеспечить их охрану, чтобы не наводнить ими рынок и не вызвать падения цен. Был также другой предмет для беспокойства: Германия как будто не оставалась в стороне и, по слухам, готова была в течение последующих пяти лет приобрести все советские шкуры. Во время этого делового совещания Броницкий не сказал мне ни слова по поводу своего несколько торжественного приглашения. "Ждите меня в четыре часа в княжеской гостиной" — вот всё, что довольно сухо сказал он мне под конец.

Когда дверь открылась и появился Броницкий, я сразу заметил, что он уже слегка "под парами", как тактично говорят в Польше — pod wplywem. Ему случалось выпивать после еды полбутылки коньяка.

— Думаю, настал момент поговорить с вами откровенно и без обиняков, господин Флери. Впервые он сказал мне "господин" и назвал по фамилии, сделав на "Флери" ударение, которое показалось мне странным.

— Мне всё известно о ваших отношениях с моей дочерью. Вы её любовник.

Он поднял руку:

— Нет, нет, не отрицайте, это бесполезно. Я уверен, что вы молодой человек, имеющий чувство чести и налагаемых им обязательств. Таким образом, я думаю, что у вас честные намерения. Я хочу только в этом убедиться.

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. Я смог пролепетать только:

— Я действительно хочу жениться на Лиле, сударь.

Остальное, где путалось "самый счастливый из людей" и "смысл моей жизни", выразилось бормотанием.

Броницкий смерил меня взглядом, выпятив подбородок.

— Однако я считал вас человеком чести, господин Флери, — бросил он мне. Я не понимал.

— Я полагал, как я вам говорил, что у вас честные намерения. Вижу с сожалением, что они не таковы.

—Но…

— То, что вы спите с моей дочерью, является… как бы сказать?… Является неким развлечением без последствий. В нашей семье мы не требуем от наших женщин святости, нам достаточно гордости. Но не может быть и речи о браке моей дочери с вами, господин Флери. Я уверен, что вас ждёт блестящее будущее, но, принимая во внимание имя, которое она носит, у моей дочери есть все мыслимые возможности выйти за человека королевской крови, и она регулярно получает, как вам известно, приглашения ко двору Англии и ко двору Дании, Люксембурга и Норвегии…

Это была правда. Я сам видел, как эти гравированные карточки раскладываются на мраморном столе в холле. Но речь почти всегда шла о приёмах, где приглашённые насчитываются сотнями. Лила объясняла мне: "Это всё из-за этого проклятого "коридора". Так как наш замок находится, так сказать, в центре проблемы, все эти приглашения скорее политические, чем личные". А Тад ворчал по поводу подобных праздничных отзвуков: "Затонувший лес…" Это было название поэмы Вальдена[22], который рассказывает историю затопленного леса, где каждую ночь продолжают звучать песни исчезнувших птиц.

Я старался подавить гнев и проявить ту английскую выдержку, которой так восхищался в романах Киплинга и Конан Доила. Меня ещё и сейчас удивляет, сколько мелочности и пустоты было в мечтах о величии у Стаса Броницкого. Он стоял передо мной со стаканом виски в руке, высоко подняв брови над голубыми и слегка остекленевшими глазами "человека под парами". Может быть, в основе всего этого была какая-то смертельная тоска, которую ничто не могло побороть.

— Как угодно, сударь, — сказал я ему.

Я поклонился и вышел из зала. Спускаясь по большой торжественной лестнице — было впечатление, что двигаешься вниз не по мраморным ступеням, а по векам, — я начал страстно желать войны, которая действительно будет концом света и стряхнёт всех этих высших обезьян с высоких ветвей их генеалогических древ. Я ничего не сказал Лиле об этом разговоре: я хотел избавить её от стыда и слёз; я обсудил его с Тадом, улыбнувшимся той тонкой улыбкой, какая была для него чем-то вроде оружия для безоружного. Три года спустя мы нашли в кармане убитого эсэсовца ставшую знаменитой фотографию участника Сопротивления — со связанными руками, спиной к стене, лицом к команде, производящей расстрел, — и на лице погибающего француза моя память тут же узнала улыбку Тада. Он воздержался от всяких комментариев, настолько, видимо, позиция отца казалась ему естественной и неизбежной для общества, цепляющегося, как за спасательный круг, за любой груз прошлого, тянувший его ко дну; но он

рассказал сестре. Я узнал, что Лила побежала в кабинет отца и назвала его сутенером; я был тронут, но, на мой взгляд, в рассказе Тада об этой сцене показательно было напоминание Лилы Стасу Броницкому, что, по местным слухам, сам он был внебрачным ребёнком, сыном конюха. Мне не могла не казаться забавной мысль, что моя подруга даже в своём эгалитарном возмущении увидела в "сыне конюха" худшее из оскорблений. Короче, я учился иронии и не знаю, было ли это влияние Тада или с наступлением зрелости я начинал вооружаться для жизни.

В результате этого разговора Лила начала "мечтать о себе" совсем по-иному, чем привела Тада в восторг: она приходила в мою комнату с охапкой "подрывной литературы", которую до сих пор брат напрасно пытался заставить её читать. Моя кровать была завалена памфлетами, подпольно отпечатанными "учебной группой" Тада; свернувшись под балдахином, где некогда покоились князья, подняв колени к подбородку, она читала Бакунина, Кропоткина и некоего Грамши, которым безоговорочно восхищался её брат. Она расспрашивала меня о Народном фронте, известном мне только по воздушному змею Леона Блюма — дядя хранил его в углу мастерской. Неожиданно она захотела знать всё о гражданской войне в Испании и о Пасионарии, чьё имя произносила с живым интересом, потому что при её новой манере "искать себя", говорила она мне, здесь могла быть возможность. Она курила сигарету за сигаретой и тушила их с яростной решимостью в серебряных пепельницах, которые я ей протягивал. Я был чувствителен к этому способу успокоить меня, показать мне свою нежность и, быть может, любить меня: я подозревал, что в её неожиданной революционной вспышке больше игры чувств, чем какой бы то ни было убеждённости. Мы кончали тем, что скидывали книги и памфлеты на ковёр и искали прибежища в страсти, гораздо менее теоретической. Я знал также, что моё упрощённое представление о вещах (я представлял себя сельским почтальоном, возвращающимся каждый вечер к Лиле и нашим многочисленным детям) происходит от той самой комической наивности, которая некогда заставляла наших светских посетителей так смеяться над "тронутым почтальоном" и его инфантильными воздушными змеями. Я узнавал в этом присутствие какой-то

изначальной и неискоренимой жилки предков, совсем не соответствовавшей тому, чего могла ожидать Лила от человека, с которым свяжет свою судьбу. Однажды ночью я робко спросил у неё:

— А если бы я закончил Политехническую школу первым, тогда…

— Что?

Я замолчал. Речь шла не о том, что я собираюсь сделать со своей жизнью, а что женщина сделает с моей. И я не понимал, что у моей подруги было предчувствие совсем другого "меня" и совсем других "нас" в том мире, чьё наступление она неясно ощущала, когда, прячась в моих объятиях, шептала, что "будет землетрясение".

Эскадроны кавалеристов с саблями и знамёнами с песней проехали через Гродек, отправляясь занимать позиции на немецкой границе.

Говорили, что видный офицер французского генерального штаба приехал для инспекции укреплений Хелма и провозгласил их "достойными, в некоторых отношениях, нашей линии Мажино".

Почти каждую неделю Ханс фон Шведе тайно пересекал запретную границу на своём красивом сером коне, чтобы провести несколько дней с кузенами. Я знал, что он рискует карьерой и даже жизнью, чтобы увидеть Лилу. Он рассказал нам, что караульные стреляли в него, один раз с польской стороны, другой — с немецкой. Я с трудом переносил его присутствие и ещё хуже дружеское отношение к нему Лилы. Они совершали в лесу длительные прогулки верхом. Я не понимал этого аристократического братания во время драки: мне казалось, что это отсутствие принципов. Я шёл в музыкальный салон, где Бруно целыми днями упражнялся за роялем. Он готовился к поездке в Англию, так как был приглашён на Шопеновский конкурс в Эдинбурге. Англия тоже старалась в эти гибельные дни оказать Польше поддержку своей спокойной мощью.

— Я не понимаю, как Броницкие принимают у себя человека, который вот-вот будет офицером во вражеской армии, — говорил я ему, бросаясь в кресло.

— Стать врагами всегда успеешь, старина.

— Ты, Бруно, когда-нибудь помрёшь от мягкости, терпимости и кротости.

— Ну что ж, в общем, это неплохая смерть.

Мне не суждено было забыть эту минуту. Не суждено забыть эти длинные пальцы на клавишах, это нежное лицо под спутанными волосами. Когда судьба сдала свои карты, ничто не предвещало того, что случится: видно, карта Бруно выпала из другой колоды. Судьба иногда играет с закрытыми глазами.

Глава XVIII

Лето начинало выдыхаться. Было всё время облачно и туманно; солнце едва появлялось на горизонте; сосны больше молчали, их ветви пропитались морской сыростью. Наступило время безветрия в предвидении бурь равноденствия. Появились бабочки, которых мы раньше не видели, бархатисто-коричневые и тёмные, крупнее и тяжелее летних бабочек. Лила лежала в моих объятиях, и никогда ещё я не ощущал с такой силой своего присутствия в её молчании.

— Будет о чём вспомнить, — говорила она.

Из всего времени суток худшим врагом для меня были пять часов вечера, потому что воздух становился слишком холодным и песок слишком влажным. Надо было вставать, расставаться, разделяться надвое. Была ещё последняя хорошая минута, когда Лила натягивала на нас одеяло и немного сильнее прижималась ко мне, чтобы было теплее.

К половине шестого море сразу старело, его голос казался более ворчливым, более недовольным. Тени накрывали нас взмахами своих туманных крыльев. Последнее объятие, пока голос Лилы не замрёт на её губах, полуоткрытых и неподвижных; её расширившиеся глаза застывали; её сердце медленно успокаивалось у меня на груди. Я был ещё настолько глуп, чтобы чувствовать себя при этом творцом, гордым своей силой. Это чванство исчезло, когда я понял, что моя любовь к Лиле не может ни примириться с какими бы то ни было рамками, ни ограничиться сексом и что ощущение нераздельности всё время растёт, в то время как всё остальное съёживается.

— Что с тобой будет, когда мы расстанемся, Людо?

— Я сдохну.

— Не говори глупостей.

— Я буду подыхать пятьдесят, восемьдесят лет, не знаю. Флери живут долго, так что можешь быть спокойна: я буду думать о тебе, далее если ты покинешь меня.

Я был уверен, что сохраню её, и не знал ещё, насколько смехотворным было то, на что опиралась моя уверенность. В этой уверенности в своей мужественности отражалась вся наивная гордыня моих восемнадцати лет. Каждый раз, как я прислушивался к её стону, я говорил себе, что это моя заслуга и что никто не может сделать лучше. Конечно, это были последние проявления моей подростковой наивности.

— Не знаю, надо ли мне и дальше быть с тобой, Людо. Я хочу остаться собой.

Я молчал. Пусть она продолжает "искать себя" — она найдёт только меня. Вокруг нас сгущалась тьма; крики чаек доносились издалека и походили уже на воспоминания.

— Ты не права, дорогая. Моё будущее обеспечено. Благодаря престижу дяди я почти уверен, что получу хорошее место в почтовом ведомстве в Клери и ты сможешь наконец узнать настоящую жизнь.

Она засмеялась:

— Так, теперь в ход пошла классовая борьба. Дело совсем не в этом, Людо.

— А в чём дело? В Хансе?

— Не будь вульгарным.

— Ты меня любишь, да или нет?

— Я тебя люблю, но это ещё не всё. Я не хочу стать твоей половиной. Знаешь это ужасное выражение? "Где моя половина?" "Вы не видели мою половину?" Я хочу, встретив тебя через пять, через десять лет, почувствовать удар в сердце. Но если ты будешь возвращаться домой каждый вечер целые годы, удара в сердце не будет, будут только звонки в дверь...

Она откинула одеяло и встала. Иногда мне ещё случается спрашивать себя, что сталось с этим старым одеялом из Закопане. Я оставил его там, потому что мы должны были вернуться, но мы не вернулись.

Глава XIX

Двадцать седьмого июля, за десять дней до моего отъезда, специальный поезд привёз из Варшавы Геничку Броницкую в сопровождении командующего Польскими вооружёнными силами — самого маршала Рыдз-Смиглы, человека с выбритым черепом и свирепыми густыми бровями; он проводил всё своё время за мольбертом,

рисуя тонкие нежные акварели. То был знаменитый "уикенд доверия", событие, которое восхваляли все газеты: следовало продемонстрировать миру спокойствие, с каким главнокомандующий смотрел в будущее, в то время как из Берлина доносились истерические вопли Гитлера. Фотография маршала, мирно сидящего посреди "коридора" и рисующего свои акварели, была перепечатана с восхищёнными комментариями английской и французской прессой. Среди остальных гостей, привезённых Геничкой из Варшавы, были: знаменитая ясновидящая, актёр, которого нам представили как "величайшего Гамлета всех времён", и молодой писатель, первый роман которого вот-вот должны были перевести на все языки. Ясновидящую попросили прочесть в хрустальном шаре наше будущее, что она и сделала, но отказалась сообщить нам результаты, ибо, принимая во внимание нашу молодость, было бы пагубным побудить нас к пассивности, открыв нам уже полностью вычерченную для нас дорогу в жизни. Зато она без колебаний предсказала маршалу Рыдз-Смиглы победу польской армии над гитлеровской гидрой, сопроводив это предсказание несколько туманным замечанием: "Но в конце концов всё кончится хорошо". Ханс, приехавший накануне в замок, скромно оставался в своей комнате на протяжении всего "уикенда доверия", как его называла пресса. Маршал уехал поездом в тот же вечер в компании "величайшего Гамлета всех времён", после того как по окончании обеда этот последний прочёл нам с неподдельной искренностью "Быть или не быть" из знаменитого монолога, что, будучи очень уместным, довольно плохо согласовалось с духом оптимизма, который должен был проявлять каждый. Что касается молодого автора, то он сидел среди нас с отрешённым видом, рассматривая свои ногти и порой улыбаясь немного снисходительно, когда Геничка пыталась поговорить о литературе: это была священная область, которую он не собирался опошлять банальностью светских высказываний. Через день он исчез: его выпроводили рано утром после "инцидента", имевшего место в парной бане для слуг. Конкретное содержание "инцидента" обходили молчанием, но в результате его писателю подбили глаз, а между садовником Валенты и госпожой Броницкой состоялся неприятный разговор, во время которого Геничка пробовала объяснить садовнику,

что "таланту следует прощать некоторые заблуждения и не сердиться". Это был несчастный во всех отношениях уикенд, так как обнаружилась пропажа шести золотых тарелок, а также миниатюры Беллини[23] и картины Лонги[24] из маленького голубого салона госпожи Броницкой. Сперва подозрение пало на уехавшую накануне ясновидящую, ибо Геничка не могла решиться обвинить литературу. Можно представить себе моё потрясение, когда в понедельник вечером, открыв шкаф, чтобы взять рубашку, я обнаружил в нём картину Лонги, миниатюру Беллини и шесть золотых тарелок в шляпной картонке. С минуту я стоял не понимая, но украденные вещи действительно были здесь, в моём шкафу, и причина, по которой их сюда положили, внезапно открылась мне молниеносным откровением ужаса: кто-то хотел меня обесчестить. Мне не понадобилось много времени, чтобы найти имя единственного врага, способного строить такие козни, — немец! Гнусный, но ловкий способ избавиться от нормандского мужлана, виновного в непростительном преступлении быть любимым Лилой.

Было семь часов. Я выбежал в коридор. Комната Ханса находилась в западном крыле замка и выходила окнами на море. Помню, что, оказавшись перед его дверью, я странным образом вспомнил о "хороших манерах", которые усвоил, потёршись в свете: должен ли я постучать в дверь или нет? Я подумал, что, учитывая обстоятельства, я могу считать себя на вражеской территории и пренебречь условностями. Я нажал тяжёлую бронзовую ручку и вошёл. Комната была пуста. Как и моя, она была вся благородство и величие — со своими стенами, украшенными царственными орлами, с мебелью, где каждое пустое сиденье хранило память о чьём-нибудь помещичьем заде, и с копьями польских улан, скрещёнными над огнём, пылающим в камине. Я услышал шум душа. Я не решился войти в ванную: это не то место, где можно решить дело чести. Я вернулся к двери, открыл её и снова шумно захлопнул. Ещё несколько секунд, и вошёл Ханс. На нём был чёрный купальный халат с какой-то эмблемой его военной академии на груди. По его белокурым волосам и по лицу струилась вода.

— Негодяй! — бросил я ему. — Это ты.

Он держал руки в карманах своего халата. Эта невозмутимость, это полное отсутствие волнения выдавали человека, для которого предательство было не только привычным делом, но второй натурой.

— Ты украл вещи и положил их в мой шкаф, чтобы обесчестить меня.

Впервые его лицо приобрело намёк на какое-то выражение. Что-то вроде иронического изумления, как если бы он удивился при мысли, что для меня мог стоять вопрос чести. В нём отразилось всё пренебрежительное превосходство, наследственное, как сифилис, людей, с рождения имеющих право презирать,

— Я мог бы уложить тебя на месте голыми руками, — сказал я ему. — Но этого недостаточно. Жду тебя завтра в одиннадцать вечера в фехтовальном зале.

Я вышел и вернулся к себе, где увидел Марека, камердинера, который пришёл забрать мои ботинки: он чистил их утром и вечером. Плотный парень с напомаженными волосами и чубом, закручивавшимся посреди лба, он был всегда весел, ухаживал за девушками. Убирая мою постель, он, как обычно, разговаривал со мной, прибегая к нескольким несложным словам, которые я, по его мнению, знал. Будучи в Гродеке, я относился по-дружески к слугам в замке — как и они ко мне, я был всего лишь переодетый крестьянин. Труднее всего победить предрассудки, и благонамеренные предрассудки не менее стойки, чем другие.

Марек взбил подушки, чтобы вернуть им добродушный тучный вид, развернул одеяло и направился к шкафу. Он открыл его и, как бы не обратив никакого внимания на шляпную картонку и её содержимое — виднелась сверкающая золотая посуда, — взял мою сменную пару обуви. Затем он закрыл шкаф и вышел с моими башмаками в руках.

Теперь мне ничего бы не дало признание госпоже Броницкой о присутствии в моей комнате украденных ценностей, которое я вначале

собирался сделать. Марек их видел, и похоже было, что в плане невезения я побил все рекорды.

В восемь часов, когда раздался звонок к ужину, я спустился. Меня обычно сажали справа от графини, из уважения к Франции. Ханс сидел в конце стола. Мне всегда казалось, что в его лице есть что-то женственное, хотя слово "женоподобный" не подходило. Иногда он смотрел на меня с тенью улыбки. Я был в таком нервном напряжении, что не мог ни пить, ни есть. На столе стояло два больших дубовых канделябра, и игра света и тени то освещала, то затемняла наши лица по воле сквозняка. Тад, которому недавно исполнилось девятнадцать, испытывавший неудобства от того, что находился на том возрастном распутье, когда мужественность стремится к осуществлению, а отрочество ещё это воспрещает, говорил о проигранной войне испанских республиканцев против Франко со страстью в голосе, достойной соратников Байрона или Гарибальди. Госпожа Броницкая слушала в замешательстве, играя крошками хлеба на столе. То, что её сын проявлял такую горячность по отношению к Каталонии, где анархисты плясали на улицах с мумиями вырытых из могилы монашенок, только подтверждало в её глазах пагубное влияние, которое оказывал на молодёжь Пикассо, ибо она не сомневалась, что все ужасы, имевшие место в Испании, были более или менее делом его рук. Это началось с сюрреалистов, сказала она нам с видом, который Тад называл "бесповоротным".

Как только ужин кончился, я поцеловал руку Генички и поднялся к себе. Лила несколько раз взглянула на меня с удивлением, поскольку я ещё не научился светскому искусству гримасничать, чтобы скрывать свои чувства, и мне трудно было скрыть свою ярость. Когда я вышел из столовой, она пошла за мной и остановилась у лестницы:

— Что с тобой, Людо?

— Ничего.

— Что я тебе сделала?

— Оставь меня в покое. Есть другие дела, кроме тебя.

Я ещё никогда с ней так не говорил. Если бы я был на десять лет старше, я бы плакал от бешенства и унижения. Но я был ещё слишком молод: у меня было то понятие о мужественности, которое всегда оставляет слёзы женскому полу и таким образом лишает мужчину их братской поддержки.

Её губы слегка вздрогнули. Я сделал ей больно. Мне стало легче. Не так одиноко.

— Извини меня, Лила, у меня тяжело на сердце. Не знаю, есть ли у вас это выражение по-польски.

— Ciezkie serce, — сказала она.

Я поднялся по лестнице. Мне казалось, что я наконец говорил с Лилой на равных. Я обернулся. Мне почудилось, что у неё немного тревожное выражение лица. Может быть, она боялась меня потерять — у неё действительно было необузданное воображение.

Речь шла не только обо мне: я чувствовал, что оскорблён за весь свой род. Не осталось ни одного Флери, не запачканного оскорблением. То, что я являлся для Ханса готовой жертвой, поскольку моё скромное положение могло заставить подозревать меня как естественного виновника, повергало меня в то состояние ущемлённости и ярости, из-за которого история так часто заставляла под метроном ненависти меняться ролями жертву и палача. Я был во власти лихорадочного возбуждения, и каждая минута казалась мне новым врагом. Время как будто нарочно тянулось медленно, проявляя недоброжелательность ко мне, — старый пыльный аристократ Время, достойный сообщник всех "бывших".

Думаю, что я обязан Хансу первым настоящим пробуждением у меня общественного сознания.

Глава XX

Без пяти одиннадцать я спустился вниз.

Фехтовальный зал с низким потолком имел пятьдесят метров в длину и десять в ширину. Сквозь штукатурку виднелись кирпичи. Свод был украшен неуместной здесь венецианской люстрой; с одной стороны она была изуродована: там не хватало нескольких ответвлений. Пол покрыт большим потёртым карпатским ковром. Доспехи стояли вдоль стен, увешанных пиками и саблями.

Ханс ждал меня на другом конце зала. На нём были белая рубашка и брюки от смокинга. У него в пальцах тлела сигарета — он всегда ходил, держа в руке одну из этих круглых металлических коробок английских сигарет с картинкой бородатого моряка. Он был очень спокоен. Конечно, сказал я себе, он знает, что я никогда не держал в руке шпагу. Сам он, как настоящий пруссак, занимался фехтованием с детства.

Я снял куртку и бросил её на землю. Посмотрел на стены. Я не знал, какое оружие выбрать: мне бы нужна была старая добрая нормандская дубина. Наконец я взял то, что было под рукой: старую польскую szabelca, саблю, изогнутую по-турецки. Ханс положил коробку "Плейере" на ковёр и пошёл в угол потушить сигарету. Я стал под люстрой и ждал, пока он отцеплял со стены другую саблю.

Как часто бывает, когда оказываешься лицом к лицу с человеком, которого давно ненавидишь и которого тысячу раз уничтожал в своём воображении, мой гнев несколько остыл. Действительная сущность противника всегда несколько разочаровывает по сравнению с твоим представлением о нём. И я вдруг понял, что если простою здесь, ничего

не предпринимая, ещё несколько секунд, то потеряю врага. Мне надо было быстро себя подогреть.

— Только фашист мог придумать такую низость, — сказал я ему. — Ты не можешь смириться с мыслью, что она меня любит. Ты не можешь смириться с тем, что она и я — это на всю жизнь. Как всем фашистам, тебе понадобился свой еврей. Ты взял эти вещи и положил их в мой шкаф. Но твой жалкий расчёт глуп. Даже если бы я был негодяем, Лила всё равно любила бы меня. Ты не знаешь, что это такое — любить кого-нибудь по-настоящему. При этом ничего не прощаешь, и всё же прощаешь всё.

Мне и в голову не могло прийти, что через два года я смогу сказать это о любви к Франции.

Я поднял своё оружие. Я смутно помнил, что надо выдвинуть одну ногу вперёд, а другую отставить назад, как в "Скарамуше", которого я видел в кинотеатре Гродека. Ханс смотрел на меня с интересом. Он смотрел на мою правую ногу, которую я выдвинул вперёд" и на левую ногу позади, на саблю, которую я поднял над головой, как топор дровосека. Он держал свою саблю опущенной. Я согнул оба колена и сделал несколько скачков на месте. Я почувствовал, что похож на лягушку. Ханс кусал себе губы, и я понял, что он это делает, чтобы не смеяться. Тогда я издал нечленораздельный крик и кинулся на него. Я был ошеломлён, когда увидел, как из его левой щеки брызнула кровь. Он не двинулся с места и по-прежнему не поднимал свою саблю. Я медленно выпрямлялся, опуская руку. Кровь всё сильнее текла по лицу Ханса и заливала его рубашку. Моей первой ясной мыслью было, что я, очевидно, поступил против всех правил дуэли. Мой стыд невежды, которым я вновь стал в своих собственных глазах, был так силён, что перешёл в бешенство, и я снова поднял свою саблю, отчаянно крича:

— Вы мне все осточертели!

Ханс поднял свою саблю одновременно со мной, и в следующую секунду моя szabelca была выбита у меня из руки и взлетела в воздух. Ханс опустил своё оружие и посмотрел на меня, сдвинув брови и сжимая челюсти, не обращая никакого внимания на струящуюся по лицу кровь.

— Идиот! — сказал он. — Проклятый идиот!

Он отбросил свою саблю к стене и повернулся ко мне спиной.

На ковре была кровь.

Ханс поднял коробку "Плейерс" и взял сигарету.

— Напрасно ты поторопился, — сказал он мне, — в любом случае мы скоро встретимся.

Я остался один. Я тупо смотрел на следы крови у своих ног. Мне удалось излить свой гнев и возмущение, но вместо них я чувствовал теперь неловкость, от которой мне не удавалось избавиться. В поведении Ханса было достоинство, которое меня беспокоило.

Я понял по-настоящему, что меня смущало, только на следующее утро. Марека задержали с похищенными вещами. Он признался. Он воспользовался присутствием в замке таких малопочтенных в его глазах гостей, как ясновидящая и писатель, чтобы обокрасть буфетную и маленькую гостиную госпожи Броницкой; ему помешал вошедший в спальню дворецкий, и он положил коробку в мой шкаф, чтобы забрать её позже. Но потом ему помешало моё присутствие, и он смог забрать добычу только во время ужина.

Было девять утра, когда Бруно рассказал мне эти новости в столовой, где мы с ним завтракали. Я почувствовал, что меня охватывает холод, и забыл, что держу в руке чайник, так что мой чай перелился на скатерть. Никогда ещё я не испытывал такой ненависти, и человеком,

которого я так страстно ненавидел, был я сам. Я понимал, что, воображая себя жертвой такого низкого коварства со стороны соперника, я сам проявил низость. И всё же не могло быть и речи, чтобы я пошёл к Хансу и принёс ему свои извинения. Я предпочитал скорее признать собственную мелкоту души, чем унизить себя перед ними.

Я не спустился к обеду и около четырёх часов дня начал собирать чемодан. Я дошёл до того, что почти жалел, что не украл вещи и что меня публично не обвинили в воровстве, это был бы некий агрессивный и почти триумфальный способ порвать со средой, которая не была моей.

Я вышел из своей комнаты только под вечер с намерением уехать как можно скорее. Я не хотел ни видеть, ни благодарить никого, не хотел даже прощаться. Но в коридоре я наткнулся на Тада; он спросил, что я здесь делаю с чемоданом в руке. Он рассказал мне, что с Хансом произошёл несчастный случай во время ночной прогулки: в безлунной тьме ветка глубоко порезала ему щеку, — но всё-таки какого чёрта я здесь делаю с чемоданом? Я объяснил ему, что хочу, чтобы меня отвезли на вокзал: в двадцать один десять есть поезд на Варшаву — я собираюсь вернуться во Францию; если вспыхнет война, я не хочу подвергаться риску быть отрезанным от своей страны. В этот момент в другом конце коридора я увидел Ханса, медленно идущего к нам со своей вечной круглой коробкой английских сигарет в руке; его левая щека была прикрыта повязкой. Он остановился рядом с нами, очень бледный, но странно спокойный, бросил взгляд на чемодан, который я держал.

— Я уезжаю сегодня ночью, — сказал он, повернулся на каблуках и удалился.

Глава XXI

Я пробыл в Гродеке ещё несколько дней. Сетка дождя затуманила окружающий пейзаж, и небо каркало над нашими головами голосами

невидимых ворон. В один из таких ненастных дней, когда мы шли по пляжу, а ветер бросал нам в лицо морские брызги, будущее подало нам знак. Это был еврей, одетый в длинный кафтан, называвшийся по-польски kapota, с высоким чёрным картузом на голове, который миллионы евреев носили тогда в своих гетто. У него было очень белое лицо и седая борода, и он сидел на километровом столбике на краю Гдыньского шоссе. Возможно, из-за того, что я не ожидал увидеть его здесь, на краю этой пустой дороги, или потому, что в размытом туманном колорите воздуха в нём было что-то призрачное, а может быть, такой вид придавал ему узелок на конце переброшенной через плечо палки, вызывавший у меня в памяти легенду о тысячелетнем странствии, но я вдруг ощутил испуг и беспокойство, чей вещий характер стал мне ясен только гораздо позже; а пока перед нами была одна из самых банальных и, в общем, самых нормальных комбинаций истории: еврей, дорога и столб. Лила застенчиво сказала ему:

— Dzien dobry, panu, — добрый день, пан. Но он не ответил и отвернулся.

— Тад убеждён, что мы накануне вторжения, — пробормотала Лила.

— Я в этом ничего не понимаю, но я не могу поверить, что может быть война, — сказал я ей.

— Всегда были войны.

— Это было до…

Я хотел сказать: "Это было до того, как я тебя встретил", но было бы самонадеянно с моей стороны дать такое объяснение природы войн, ненависти и резни. У меня ещё не было необходимой силы, чтобы навязывать народам своё понимание событий.

— Современное оружие стало слишком мощным и разрушительным, — сказал я. — Никто не осмелится пустить его в ход, потому что не будет ни победителей, ни побеждённых, одни руины…

Я прочитал это в передовице "Тан", который получали Броницкие.

Я написал Лиле письмо на тридцати страницах, несколько раз переделав его; в конце концов я бросил его в печку, так как это было только любовное письмо, мне не удалось придумать ничего большего.

В день моего отъезда, когда туман клубился за окном, как стада овец, от моего имени с Лилой говорил Бруно.

Мы вошли в гостиную. Я бросил последний взгляд на коллекции бабочек в стеклянных ящиках, занимавшие всю стену. Они напоминали мне воздушных змеев дяди Амбруаза: маленькие обрывки мечты.

Бруно сидел в кресле, листая ноты. Он поднял взгляд и с минуту смотрел на нас улыбаясь, В его улыбке всегда была одна доброта. Потом он встал и сел за рояль. Уже положив пальцы на клавиши, он повернулся к нам и долго внимательно смотрел на нас, как художник, изучающий свою модель, перед тем как сделать последний штрих карандашом. Он начал играть.

Он импровизировал. Он нас импровизировал. Потому что о Лиле и обо мне, о нашем расставании и о нашей вере говорил он своей мелодией. Горе накрывало нас своей чёрной тенью, а потом всё становилось радостным. И мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что Бруно по-братски дарит мне всё, что чувствует сам.

Лила убежала плача. Бруно встал и подошёл ко мне, на фоне больших бледных окон, и обнял меня:

— Я счастлив, что смог поговорить с тобой в последний раз. Что касается меня, то мне действительно ничего больше не остаётся, кроме музыки… — Он засмеялся. — Разумеется, довольно страшно любить и чувствовать, что всё, что ты можешь сделать из своей любви, —ещё один концерт. Но всё же это даёт мне источник вдохновения, который не иссякнет. Мне этого хватит по крайней мере на пятьдесят лет, если пальцы выдержат. Я хорошо представляю себе, как Лила сидит в гостиной в глубокой старости, и вижу, как ей снова делается двадцать лет, когда она слушает, как я говорю о ней.

Он закрыл глаза и на секунду прикрыл их рукой:

— Ладно. Говорят, что есть любовь, которая кончается. Я где-то читал об этом. Последние часы я провёл с Лилой. Счастье присутствовало почти слышимо, как если бы слух, расставшись со звуковыми плоскостями, проник наконец в глубины молчания, скрываемые до сих пор одиночеством. Наши мгновения дремоты имели ту теплоту, когда мечты смешиваются с реальностью, падение — с воспарением. Я ещё чувствую на своей груди её профиль, отпечаток которого, конечно, не виден, но мои пальцы легко находят его в тяжёлые часы физического недоразумения, называемого одиночеством.

Моя память цеплялась к каждому мгновению, копила их; у нас это называется класть в кубышку, — здесь было на что прожить целую жизнь.

Глава XXII

Когда я высунулся из окна, подъезжая к Клери, я понял, кто встречает меня на вокзале, как только увидал польского орла, летящего очень высоко над вокзалом, но, присмотревшись внимательнее, я заметил, что старому пацифисту удалось придать этой птице, слишком воинственной, на его вкус, сходство с красивым двухголовым голубем.

Прошло пять недель с тех пор, как мы расстались, но я нашёл Амбруаза Флери озабоченным и постаревшим.

— Ну вот ты и стал светским человеком! Что это такое?

Он дотронулся пальцем до значка яхт-клуба в Гдыне. Мне торжественно вручили его в Гродеке накануне моего отъезда как символ свободного выхода Польши к морю. Никогда ещё сомнения и тревога не сопровождались по всей Европе столькими жестами и хвастливыми проявлениями доверия, как в этом августе 1939 года.

— Кажется, вот-вот начнётся, — сказал я ему.

— Ничего подобного. Никогда народы не согласятся, чтобы их опять повели на бойню. Амбруаз Флери — как всегда, где бы он ни появлялся, его сразу же окружали дети — вернул голубя на землю и взял воздушного змея под мышку. Мы прошли несколько шагов, и дядя открыл дверцу маленького автомобиля.

— Да, — сказал он, видя моё удивление. — Это подарок лорда Хау — помнишь, того, который приезжал к нам когда-то.

Теперь, в шестьдесят три года, он был человеком, уважаемым во всей стране, и его репутация завоевала ему "академические лавры", от которых он, впрочем, отказался.

Как только мы очутились в Ла-Мотт, я побежал в мастерскую. Во время моего отсутствия, потому, конечно, что угроза войны беспокоила его больше, чем он хотел признать, Амбруаз Флери продолжил свой "гуманистический период" и обогатил его всем, что Франция могла предложить людям, верящим в её разум. В особенности хорошо, несмотря на их неподвижность, как всегда в закрытом помещении, выглядела серия "энциклопедистов", привязанных к балкам.

— Как видишь, я много работал, — сказал мой опекун, не без гордости разглаживая усы. —Время, которое мы сейчас переживаем, заставляет нас немного терять голову, и надо помнить, кто мы такие.

Но мы не были ни Руссо, ни Дидро, ни Вольтером — мы были Муссолини, Гитлером и Сталиным. Никогда ещё воздушные змеи эпохи Просвещения бывшего почтальона Клери не казались мне более смехотворными. Однако я продолжал черпать в своей любви всё то ослепление, какое требуется для веры в мудрость людей, а дядя ни минуты не сомневался в мире, как будто его сердце могло самостоятельно восторжествовать над историей.

Однажды ночью, когда я был с Лилой на берегу Балтийского моря, я почувствовал, что меня тянут за руку. Амбруаз Флери, одетый в длинную рубаху, придававшую его телу полноту, сидел у меня на кровати со свечой в руке. В его глазах было больше скорби, чем может вместить человеческий взгляд.

— Они объявили всеобщую мобилизацию. Но конечно, мобилизация не война.

— Конечно нет, — сказал я ему и, ещё не совсем проснувшись, добавил: — Броницкие должны вернуться во Францию на Рождество.

Дядя поднял свечу, чтобы лучше видеть моё лицо.

— Говорят, что любовь слепа, но что касается тебя — кто знает, слепота может быть зрячей…

В часы, которые предшествовали вторжению в Польшу, я с беспечной глупостью играл свою роль в массовом балете индюков, разыгрывавшемся по всей стране. Шло соревнование, кто выше поднимет ногу в воображаемом пинке под зад немцам, некий френч-канкан на балу у Сатаны, отплясывавшийся от Пиренеев до линии

Мажино. "ПОЛЬША ВЫСТОИТ!" —вопили газеты и радио, и я знал со счастливой уверенностью, что вокруг Лилы стали стеной самые отважные воины в мире, я вспоминал о кавалерийских батальонах, проходивших через Гродек с песнями, саблями и знамёнами. "Историческая память" поляков, говорил я дяде, —это неисчерпаемый источник мужества, чести и верности; и, поворачивая рычажок нашего старого радиоприёмника, я с нетерпением ждал начала военных действий и первых вестей о победе, раздражаясь, когда комментаторы говорили о "последних попытках сохранить мир". Я провожал на вокзале моих мобилизованных старших товарищей, я пел вместе с ними: "Мы добьёмся славы, как наши отцы"; я смотрел со слезами на глазах, как иностранцы пожимают друг другу руки на улице, крича: "Да здравствует Польша, месье!"; я слушал, как наш старый кюре, отец Ташен, возглашает с кафедры, что "языческая Германия рухнет, как высохшее гнилое дерево"; я ходил любоваться моим школьным учителем, господином Ледюком, который надел свою небесно-голубую форму и прицепил награды, чтобы напомнить молодёжи образ непобедимого воина 14-18 годов, залога нашей новой победы. Я почти не видел дядю, запиравшегося у себя в комнате, а когда стучался в его дверь, то слышал: "Оставь меня в покое и иди валять дурака с другими, сопляк!"

Третьего сентября я сидел у пустого камина, почерневшего от былого огня. Я услышал странный треск, доносившийся из мастерской: он совсем не был похож на шум, который я слышал, когда дядя работал. Я встал, чувствуя смутное беспокойство, и перешёл двор.

Всюду валялись обломки и лоскуты сломанных воздушных змеев. Амбруаз Флери держал в руках своего дорогого "Монтеня"; точным ударом он сломал его о колено. Я увидел среди груды сломанных змеев несколько самых удачных из наших произведений, например дядиных любимцев "Жан-Жака Руссо" и "Свободу, освещающую мир". Он не пощадил даже свои работы "наивного периода", всех этих "стрекоз" и "детские сны", которые так часто дарили небу свою невинность. Амбруаз Флери уже разломал на кусочки добрую треть коллекции. Я ещё никогда не видел на его лице такого отчаяния.

— Война объявлена, — сказал он мне сдавленным голосом.

Он сорвал со стены своего "Жореса" и раздавил его каблуком. Я бросился, схватил дядю в охапку и вытолкал его за дверь. Я ничего не чувствовал, ни о чём не думал. Я знал только одно: надо спасти оставшихся воздушных змеев.

Глава XXIII

Первые известия о разгроме Польши повергли меня в состояние шока, о котором я сохранил лишь одно воспоминание. Дядя сидит у меня на кровати, положив руку мне на колено. Радио только что сообщило, что весь район Гродека на берегу Балтийского моря разрушен бомбами. Броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" без всякого объявления войны неожиданно открыл по нему огонь из всех пушек. Приводилась одна историческая подробность этого славного деяния немецкого флота: вышеозначенный военный корабль, замаскированный под учебное судно, несколько дней назад просил у польских властей разрешения бросить якорь для "визита вежливости".

— Не плачь, Людо. Горе скоро будет у миллионов людей. Понятно, что в твоём сердце оно говорит с тобой только одним голосом. Но раз ты так силён в математике, ты должен был бы подумать немного об этом законе больших чисел. Я понимаю, что сейчас ты не способен считать дальше двух. И потом, кто знает…

Он сказал, со взглядом, погруженным в какую-то неведомую глубину надежды, так как был одним из этих сумасшедших Флери, для которых права человека заключаются в том, чтобы отказать слишком ужасной реальности в праве на существование:

— Ещё возможно, что эта война закончится через несколько дней. Народы Европы слишком стары и слишком много страдали, чтобы дать себя принудить продолжать эту подлость. Немецкие народные массы

сметут Гитлера. Надо так же доверять немецкому народу, как другим народам.

Я приподнялся на локте.

— Воздушные змеи всех стран, соединяйтесь, — сказал я.

Амбруаза Флери не обидело моё озлобление. И я знал лучше, чем кто бы то ни было, что есть вещи, которые нельзя сломать в человеческом сердце, потому что они вне досягаемости.

Я побежал на призывной пункт. Мой пульс бился со скоростью ста двадцати ударов, и меня признали непригодным к службе. Я попытался объяснить, что дело не в каком-то органическом недостатке, а в любви и горе, но это только сделало взгляд военного врача более строгим. Я бродил по деревне, возмущаясь безмятежностью полей и лесов, и никогда ещё природа не казалась мне такой далёкой от человеческой природы. Единственные вести о Лиле, доходившие до меня, были вести о подавлении целого народа. От тела мучимой Польши исходила какая-то волнующая женственность.

В Клери на меня бросали странные взгляды. Согласно молве, меня признали непригодным к воинской службе, потому что у меня, как у всех Флери, с головой не всё в порядке. "У них это наследственное". Я начинал понимать, что то, что я чувствую, не является, так сказать, расхожей монетой и что для нормальных людей любовь — не цель жизни, а только её небольшой барыш.

Наконец наступил момент, когда Амбруаз Флери, человек, посвятивший жизнь воздушным змеям, серьёзно встревожился. Во время ужина под висящей над нашими головами масляной лампой он сказал мне:

— Людо, так продолжаться не может. Видят, как ты идёшь по улице и говоришь с женщиной, которой нет. В конце концов тебя запрут.

— Хорошо, пусть нас запирают. Она будет со мной и на воле, и взаперти.

— Чёрт возьми, — сказал дядя, он в первый раз говорил со мной на языке здравого смысла.

Я думаю, именно для того, чтобы вернуть меня на землю, он попросил Марселена Дюпра заняться мной. Я никогда не узнал, что сказали друг другу эти двое, но хозяин "Прелестного уголка" предложил мне сопровождать его каждое утро во время обходов рынков и ферм и иногда бросал на меня острый взгляд, как бы желая удостовериться, что добрая реальность надёжных продуктов нормандской земли оказывает на моё состояние желаемый лечебный эффект, поскольку по своей природе является мощным противоядием против заблуждений ума.

В эти зимние месяцы 1940 года, когда война ограничивалась действиями нерегулярных частей и патрулей и "время работало на нас", надо было занимать столик в ресторане за несколько недель — "выставить свою кандидатуру", по выражению князя гастрономов Курнонского. Каждый вечер после закрытия Марселен Дюпра с удовлетворением перелистывал толстый том в красной коже, который держал в своей конторке, задерживался на странице, только что пополнившейся новой записью какого-нибудь министра или ещё не побеждённого военачальника, и говорил мне:

— Вот увидишь, малыш, когда-нибудь золотую книгу "Прелестного уголка" будут изучать, чтобы написать историю Третьей республики.

У него не хватало служащих: большую часть его помощников и работников призвали в армию, и их заменили старики, которые согласились из солидарности, можно даже сказать — почти из

патриотизма, в эти трудные для страны часы выйти из своих углов выполнять в "Прелестном уголке" работу, оставленную много лет назад. Дюпра удалось даже вновь заполучить господина Жана, виночерпия, которому скоро должно было стукнуть восемьдесят шесть.

— Я давно уже больше не держу виночерпиев, — объяснил он мне. — Виночерпии всегда навязчивы, если ты понимаешь, что я хочу сказать, и когда они бросаются к клиенту со своей картой вин в руке, это раздражает. Но Жан знает своё дело, и он ещё способен обслужить зал.

Я приезжал на велосипеде каждое утро в шесть часов, и при виде моего осунувшегося и растерянного лица Марселен ворчал:

— Ну, пошли со мной, это вернёт тебя на землю.

Я занимал место в грузовичке и разъезжал по окрестностям и рынкам, где Дюпра производил осмотр овощей: он подносил к уху гороховые стручки, чтобы услышать, "стрекочут ли они, как кузнечики", то есть потрескивают ли, смотрел, бархатиста ли фасоль, выбирал по её "цвету лица" "чёрную" фасоль, "итальянскую" или "китайскую" и решал, достойна ли цветная капуста "фигурировать". Дюпра подавал овощи целиком, "гордыми", как он говорил, литая ненависть к пюре, входившим в моду, как если бы у Франции было предчувствие того, что её ожидает.

— Сейчас из всего делают пюре, — брюзжал он. — Пюре из сельдерея, пюре из брокколи, из кресс-салата, лука, гороха, укропа… Франция теряет уважение к овощам. Знаешь, что она предвещает, эта мания пюре, мой маленький Людо? Месиво, вот что она предвещает. Мы все там будем, вот увидишь.

Но более всего королевская требовательность Марселена Дюпра проявлялась у мясников, особенно когда речь шла о его любимых нормандских рубцах. Я видел, как он побледнел от гнева, заподозрив

господина Дюлена, которого потом расстреляли в 1943 году, в том, что он продал ему потроха от двух разных быков.

— Дюлен, — ревел он, — если ты ещё раз проделаешь со мной такую штуку, ты меня больше не увидишь! Вчера ты мне всучил потроха от двух быков, как же их можно приготовить одинаково! И мне нужна нога от того же быка, заруби себе на носу!

Он потешался, когда видел, как мясник предлагает хозяйке телячью лопатку в форме дыни, всё круглое и увязанное, приятное глазу:

— Можешь быть уверен, они подсунули внутрь жиру для весу, и, если бы они могли, они затолкали бы туда рога и копыта!

Это "возвращение на землю" под эгидой Марселена Дюпра мне помогло. Я продолжал видеть Лилу, но не столь явно. Я даже научился смеяться и шутить с другими, чтобы скрыть её присутствие. Доктор Гардье был доволен, хотя дядя подозревал, что я просто научился лучше хитрить.

— Я знаю, что ты не излечился и что у таких, как мы, это неизлечимо, — говорил он мне. — Впрочем, это к лучшему. Есть выздоровления, которые разрушают больше, чем болезнь.

Я старался как мог. Я должен был держаться, сама Лила требовала этого от меня. Если бы я распустился, то обязательно впал бы в отчаяние, что было самым верным способом потерять её.

"Прелестный уголок" находился немного в стороне от перекрёстка дорог в Нуази и Кан, напротив первых домов посёлка Увьер, в глубине садика, где весной и летом вас встречали магнолии, сирень и розы. Всюду были белые голуби, которые "успокаивают клиентов", как говорил Дюпра. "Мои цены не пугают, но всё же вид белого голубя умиротворяет. Одно время я держал сизых голубей, но вид сизого голубя у входа в

ресторан смущает клиента". Касса, где мне часто приходилось бывать, скрывалась от постороннего взора несколько в глубине, из тех же соображений.

— Нехорошо, чтобы с первого шага человек начинал думать о счёте. Нужен такт. Иногда он облокачивался о кассу во всей своей незапятнанной белизне ("давно пора менять блузу") и делился со мной своими размышлениями.

— Я держусь, но всё вырождается, всё вырождается, — жаловался он. — Теперь огонь им мешает, они жалуются на жару. Кухня без огня всё равно что женщина без зада. Огонь —отец всех нас, поваров Франции. Но некоторые теперь переходят на электричество, да ещё с автоматическим хронометрированием. Это всё равно что заниматься любовью, глядя на часы, чтобы знать, когда надо наслаждаться.

Я заметил, что вышитая нашивка на его куртке изменилась. Там, где раньше трёхцветными буквами было написано: "Марселен Дюпра, "Прелестный уголок", Франция", теперь стояло: "Марселен Дюпра, Франция". Сказать "Прелестный уголок" и "Франция" казалось ему, видимо, плеоназмом.

В кухне на каждой кастрюле были инициалы "П. У." и год римскими цифрами. Недруги Дюпра говорили, что он мнит себя потомком Цезаря. Он не выносил, когда говорили "кухонные помещения".

— От этого множественного числа воняет постоялым двором. Для меня место, где я работаю, называется кухней. Сегодня все хотят умножить.

У входа висела большая карта Франции с изображением продуктов, прославивших каждую провинцию; для Нормандии он выбрал рубец.

— В конце концов, это то, что создало французов и историю Франции. Цены кусались. Однажды министр Анатоль де Монзи сказал ему:

— Мой дорогой Марселен, когда дегустируешь ваши блюда — это эротика, но когда смотришь на ваши цены — это порнография!

С первых месяцев "странной войны" послышались критические высказывания в адрес Дюпра. Говорили, что в этом постоянном празднике гастрономии в "Прелестном уголке", в то время как враг у ворот, есть что-то непристойное. Дюпра презрительно пожимал плечами.

— Пуэн держится во Вьене, Дюмен в Сольё, Пик в Валансе, мамаша Бразье в Лионе, а я в Клери, — говорил он. — Сейчас, как никогда, каждый должен отдать лучшую часть самого себя тому, что он умеет делать лучше всего.

Казалось, это мнение разделял и Амбруаз Флери, вновь принявшийся за своих воздушных змеев с жаром, который походил на истинное исповедание веры. Он продолжил свою серию "гуманистов", и "Рабле", "Эразмы", "Монтени" и "Руссо" снова взлетали над нормандскими рощами. Я смотрел на сильные дядины руки, прилаживавшие рейки и крылья, бечёвки и бумагу для каркаса, в котором уже просматривались черты какой-нибудь бессмертной личности века Просвещения. "Жан-Жак Руссо" был, видимо, его любимцем: подсчитано, что за свою жизнь Амбруаз Флери сконструировал их более восьмидесяти.

Я чувствовал, что он прав, и Дюпра тоже. Более чем всегда каждый должен был отдать лучшее, что в нём есть. Я улыбался, вспоминая о часах нашего детства, когда Лила на чердаке "Гусиной усадьбы" предвещала нам наши пути в жизни согласно дарованиям каждого:

— Тад будет великим исследователем, найдёт гробницы скифских воинов и храмы ацтеков, Бруно будет так же знаменит, как Менухин и Рубинштейн, Ханс захватит власть в Германии и убьёт Гитлера, а ты…

Она серьёзно смотрела на меня.

— Ты будешь любить меня, — проговорила она, и я ещё ощущал на своей щеке поцелуй, которым она сопроводила это открытие смысла моего существования.

Я объявил дяде, что больше не вернусь к Дюпра.

— Я поеду в Париж. Там легче получить известия, чем здесь. Может быть, я попытаюсь попасть в Польшу.

— Польши больше нет, — сказал Амбруаз Флери.

— Во всяком случае, во Франции формируется новая польская армия. Я уверен, что мне удастся что-то узнать. Я надеюсь.

Дядя опустил глаза:

— Что я могу тебе сказать? Поезжай. Нас всегда ведёт надежда. Надежда — живучая тварь. Когда я вернулся, чтобы попрощаться с ним, мы долго молчали; сидя на своей скамейке в старом кожаном фартуке, с инструментами в руках, он походил на всех старых добрых ремесленников французской истории.

— Можно взять один на память? — спросил я.

— Выбирай.

Я огляделся. Мастерская имела двадцать пять метров в длину и десять в ширину, и при виде сотен воздушных змеев на ум приходило одно слово: изобилие. Они были слишком велики, и их легче было хранить в памяти, чем в чемодане. Я взял одного совсем маленького, "стрекозу" с перламутровыми крыльями.

Глава XXIV

Я приехал в Париж с пятьюстами франками в кармане и долго бродил по чужому мне городу в поисках жилья. Я нашёл комнату за пятьдесят франков в месяц над дансингом, на улице Кардинала Лемуана.

— Я уступаю вам в цене из-за шума, — сказал хозяин.

Польские солдаты и офицеры, которым удалось попасть во Францию через Румынию и которых встречали немного свысока, устало отвечали на мои вопросы: среди них нет Броницких, мне остаётся только обратиться в Генеральный штаб польской армии, она формируемся в Коеткидане. Я ходил туда каждый день — штаб был на улице Сольферино, — меня вежливо выпроваживали. Я предпринял новые шаги через посольства Швеции, Швейцарии и через Красный Крест. Мне пришлось уйти с квартиры, дав хозяину пощёчину, — он заявил, что с Гитлером надо договориться: "Надо признать, что это вождь, нам нужен был такой человек".

Его жена вызвала полицию, но я успел убежать раньше и укрылся в меблированной комнате на улице Лепик. Гостиницу посещали проститутки. Хозяйка была высокая худая женщина, с волосами, выкрашенными в чёрный цвет, с жёстким и прямым взглядом, который, казалось, прощупывал меня, изучал, даже обыскивал.

Её звали Жюли Эспиноза.

Я проводил время, лёжа в своей комнате, освобождая Польшу и сжимая Лилу в объятиях на берегу Балтийского моря.

Пришёл день, когда у меня не стало больше денег, чтобы платить за комнату. Вместо того чтобы вышвырнуть меня вон, хозяйка каждый день приглашала меня поесть с ней в кухне. Она говорила о том о сём, не задавала ни одного вопроса и внимательно наблюдала за мной, гладя своего пекинеса Чонга, маленькую собачку с чёрной мордочкой и бело-коричневой шерстью, всегда лежащую у неё на коленях. Я чувствовал себя неловко под этим непреклонным взглядом; её глаза, казалось, были всегда настороже; ресницы напоминали длинные костлявые пальцы, тянущиеся из глубины веков. Я узнал, что у госпожи Эспинозы есть дочь, которая учится за границей.

— В Хайдельберге, в Германии, — сообщила она мне почти торжествующим голосом. —Видишь, мой маленький Людо, я поняла, к чему идёт дело. Я поняла после Мюнхенского соглашения. У малышки есть диплом, который будет очень полезен, когда немцы будут здесь.

—Но…

Я хотел сказать: "Ваша дочь еврейка, как и вы, мадам Жюли", она не дала мне договорить.

— Да, я знаю, но у неё самые что ни на есть арийские документы, — заявила она, положив руку на Чонга, свернувшегося клубком у неё на коленях. — Я всё устроила, и у неё хорошая фамилия. На этот раз они нас так просто не получат, можешь мне поверить. Во всяком случае, только не меня. У нас за плечами тысячи лет выучки и опыта. Есть такие, которые забыли или думают, что с этим покончено и что теперь цивилизация — в газетах это называется права человека, — но я их знаю, ваши права человека. Это как с розами. Хорошо пахнет, и больше ничего.

Жюли Эспиноза несколько лет была помощницей хозяйки в "заведениях" Будапешта и Берлина и говорила по-венгерски и по-немецки. Я заметил, что она всегда носит одну и ту же брошь, приколотую к платью, маленькую золотую ящерицу, которой, видимо, очень дорожит. Когда она была озабочена, её пальцы всегда играли брошью.

— Ваша ящерица очень красива, — сказал я однажды.

— Красива или некрасива, ящерица — это животное, которое живёт с незапамятных времён и умеет, как никто, скользить между камней.

У неё был мужской голос, и когда она сердилась, то принималась ругаться как извозчик, — говорят: "как извозчик", но я ещё никогда не слышал у себя в деревне, чтобы кто-нибудь употреблял такие слова, — и грубость её высказываний была такова, что в конце концов это смутило саму мадам Жюли. Однажды вечером она замолчала, произнеся скромное "дерьмовая шлюха" в сопровождении других слов, которые я предпочитаю не приводить из уважения к той, кому я стольким обязан, прервала свою негодующую речь, касающуюся каких-то неприятностей с полицией в меблированных комнатах, и начала размышлять:

— Всё-таки это странно. Это со мной бывает только по-французски. Со мной никогда этого не бывало на венгерском или немецком. Может быть, мне не хватало слов. И потом, в Буде и в Берлине клиенты были другие. Самые приличные люди. Они часто приходили в смокинге, даже во фраке, после оперы или театра, и целовали руку. А здесь одно дерьмо.

Она задумалась.

— Нет, так не пойдёт, — решительно объявила она. — Я не смогу себе позволить быть вульгарной.

И она закончила загадочной фразой, которая, по-видимому, нечаянно у неё вырвалась, так как она ещё не полностью доверяла мне:

— Это вопрос жизни и смерти.

Она взяла со стола свою пачку "Голуаз" и вышла, оставив меня в большом удивлении, потому что я не видел, каким образом грубость её речи может представлять для неё такую опасность.

Моё удивление сменилось изумлением, когда эта уже немолодая женщина начала брать уроки хороших манер. Старая барышня, бывшая раньше директрисой девичьего пансиона, стала приходить два раза в неделю, чтобы помочь ей приобрести то, что она называла "благовоспитанностью" — слово, вызвавшее в моей памяти худшие воспоминания о моих унижениях в Гродеке: дело с украденными ценностями, отношения с Хансом и торжественную стойку Стаса Броницкого, когда этот сукин сын, выражаясь языком мадам Жюли, полностью соглашаясь, чтобы я был любовником его дочери, предложил мне отказаться от сумасшедшей надежды жениться на Лиле ввиду моего низкого происхождения и выдающегося величия фамилии Броницких. Моё раздражение усилилось, когда я услышал, как наставница объясняет мадам Жюли, что она понимает под "благовоспитанностью":

— Видите ли, дело не в том, чтобы приобрести манеры, отличающиеся от манер низших слоёв общества. Наоборот, прежде всего это не должно казаться приобретённым. Надо, чтобы это имело естественный вид, в некотором роде врождённый…

Меня возмущала любезная улыбка, с которой мадам Жюли принимала эти наставления, она, так часто осыпавшая бранью клиента за то, что он "позволял себе". Она не проявляла ни малейшего нетерпения и подчинялась. Я заставал её держащей карандаш то зубами, то губами и декламирующей басню Лафонтена, делая перерывы,

чтобы проводить пару, что случалось часто, так как каждая из девиц с лёгкостью принимала по пятнадцать — двадцать клиентов в день.

— Выходит, что у меня простонародный выговор, — объяснила она мне. — Ну да, площадь Пигаль. Эта старая саранча называет это "народный говор" и прописала мне упражнения, чтобы я от него избавилась. Я знаю, что у меня дурацкий вид, но что ты хочешь: раз надо, значит надо.

— Почему вы так стараетесь, мадам Жюли? Это меня не касается, но…

— У меня свои причины.

Походка также причиняла ей много забот.

— Хожу как мужик, — признавала она.

Она тяжело переваливалась с одной ноги на другую, и это сопровождалось покачиванием плеч и приподнятых рук с оттопыренными локтями, походка, в которой действительно не было ничего женского и которая напоминала движения профессиональных борцов на ринге. Мадемуазель де Фюльбийак очень об этом сожалела:

— Вы не можете так ходить в обществе!

В результате я мог видеть хозяйку осторожно перемещающейся из одного конца гостиной в другой с тремя-четырьмя книгами на голове.

— Держитесь прямо, мадам, — приказывала мадемуазель де Фюльбийак, отец которой был морским офицером. — И прошу вас, не держите всё время во рту окурок, это выглядит очень некрасиво.

— Вот дерьмо, — говорила мадам Жюли, когда пирамида книг шумно рушилась. И тут же добавляла:

— Мне надо отучиться от этой привычки ругаться. Это может вдруг вылезти в неподходящий момент. Я столько раз в своей жизни говорила "дерьмо", что это стало второй натурой.

У неё была "не наша" внешность, на что несколько раз указывала мадемуазель де Фюльбийак; она казалась мне немного похожей на цыганку. Много лет спустя, когда я приобрёл некоторые познания в области искусства, я понял, что черты Жюли Эспинозы напоминали женские лица на византийских мозаиках и изображения на саркофагах в пустыне Сахаре. Во всяком случае, это лицо напоминало об очень древних временах.

Однажды, войдя в контору, где клиенты оплачивали комнату, перед тем как подняться наверх с девицей, я обнаружил Жюли Эспинозу сидящей за стойкой с раскрытым учебником истории в руке. Закрыв глаза и держа палец на книжной странице, она читала наизусть, как бы стараясь выучить урок:

— … Таким образом, можно сказать, что адмирал Хорти стал регентом Венгрии вопреки своей воле… Его популярность, значительная уже в…

Она заглянула в учебник.

— … значительная уже в семнадцатом году, после битвы при Отранте, так возросла после того, как он разгромил в девятнадцатом большевистскую революцию Белы Куна, что ему оставалось лишь склониться перед волей народа…

Она заметила моё удивление.

— Ну и что?

— Ничего, мадам Жюли.

— Не обращай внимания.

Она поиграла кончиками пальцев своей маленькой золотой ящерицей, потом смягчилась и спокойно добавила:

— Я тренируюсь для того дня, когда немцы будут здесь.

Уверенный тон, с каким она говорила о немыслимом, то есть о том, что Франция может проиграть войну, вывел меня из себя, и я вышел, хлопнув дверью.

Какое-то время я думал, что мадам Жюли старается ради того, чтобы открыть "первоклассное" заведение, но потом вспомнил, что она еврейка, и не мог понять, как она собирается осуществить этот блистательный замысел, если нацисты выиграют войну, в чём она так уверена.

— Вы собираетесь укрыться в Португалии?

Лёгкий тёмный пушок над её губой презрительно дрогнул.

— Я не из тех, кто скрывается.

Она раздавила свою сигарету, глядя мне прямо в глаза:

— Но они мою шкуру не получат, это я тебе говорю.

Меня сбивала с толку эта смесь мужества и пораженчества. Кроме того, я был слишком молод, чтобы понять такую жажду выжить. В моём

состоянии тревоги и эмоционального голода жизнь не казалась заслуживающей подобной привязанности.

Жюли Эспиноза продолжала наблюдать за мной. Можно было подумать, что она судит меня и готовится вынести приговор.

Однажды мне приснилось, что я стою на крыше, а мадам Жюли — внизу, на тротуаре, подняв глаза и ожидая моего прыжка, чтобы подхватить меня. Наконец настал момент, когда, сидя на кухне напротив неё, я закрыл лицо руками и разразился рыданиями. Потом она слушала меня до двух часов ночи под шум биде, который практически не прекращался в этой "гостинице транзита".

— Нельзя же быть таким идиотом, — пробормотала она, когда я поделился с ней своим намерением во что бы то ни стало попасть в Польшу. — Просто не могу понять, как это тебя не взяли в армию, раз ты такой идиот.

— Меня признали негодным. У меня сердце бьётся слишком сильно.

— Послушай меня, малыш. Мне шестьдесят лет, но иногда я чувствую себя так, как будто я жила — или пережила, если предпочитаешь, — пять тысяч лет, и даже как будто я была здесь ещё раньше, когда мир рождался. И потом, не забывай, как меня зовут. Эспиноза.-Она рассмеялась. — Почти как Спиноза, философ, может быть, ты слышал о нём. Я могла бы даже отбросить "Э" и называться "Спиноза", так много я знаю.

— Почему вы мне это говорите?

— Потому что скоро дело будет так плохо, наступит такая катастрофа, что твоя болячка в ней растворится. Война будет проиграна, и во Франции будут немцы.

Я поставил свой стакан:

— Франция не может проиграть войну. Это невозможно. Она полузакрыла глаза над своей сигаретой.

— Для французов нет невозможного, — сказала она.

Мадам Жюли встала с пекинесом под мышкой, взяла сумку с бутылочно-зелёного плюшевого кресла. Она вынула оттуда пачку купюр и снова села:

— Для начала возьми это. Потом будут ещё. Я смотрел на деньги на столе.

— Ну, чего ты ждёшь?

— Послушайте, мадам Жюли, на это можно жить год, а мне не так уж хочется жить. Она усмехнулась.

— Дитя хочет умереть от любви, — сказала она. — Тогда ты должен поторопиться. Потому что скоро начнут умирать со всех сторон, и не от любви, поверь мне.

Я испытывал горячую симпатию к этой женщине. Может быть, я начинал догадываться, что, говоря о "проститутке" или "сводне" с презрением, люди таким образом низводят человеческое достоинство на уровень зада, чтобы легче было забыть о низостях ума.

— Всё-таки не понимаю, почему вы мне даёте эти деньги.

Она сидела передо мной в сиреневой шерстяной шали на плоской груди, со своим шлемом чёрных волос, глазами цыганки и длинными

пальцами, которые играли маленькой золотой ящерицей, приколотой к корсажу.

— Конечно, ты не понимаешь. Поэтому я тебе объясню. Мне нужен такой парень, как ты. Я составляю себе небольшую группу.

Так в феврале 1940 года, когда англичане пели: "Мы будем сушить своё бельё на линии Зигфрида", афиши кричали: "Мы победим, потому что мы сильнее", а "Прелестный уголок" звенел тостами за победу, старая сводня готовилась к немецкой оккупации. Не думаю, чтобы в то время кому-нибудь ещё пришла мысль организовать то, что позже назвали "сетью Сопротивления". Мне было поручено установить контакты с некоторыми людьми, в том числе с одним специалистом по подделыванию документов, после двадцати лет тюрьмы всё ещё скучавшим по своему ремеслу, и мадам Жюли так убеждала меня хранить тайну, что даже сегодня я едва отваживаюсь написать их имена. Среди них был господин Дампьер, который жил один с канарейкой, — к чести гестапо, надо заметить, что канарейку они помиловали и приютили, после того как в 1942 году господин Дампьер умер от сердечного приступа во время допроса. Там был господин Пажо, позднее известный под именем Валерьена, — через два года его расстреляли вместе с двадцатью другими на холме, носящем то же имя[25]. Там был комиссар полиции Ротар, ставший руководителем сети "Союз", который пишет о госпоже Жюли Эспинозе в своей книге "Годы подполья": "Этой женщине было присуще полное отсутствие иллюзий, порождённое, без сомнения, долгой практикой её ремесла. Мне случалось воображать, как бесчестье входит к той, кто так хорошо его знает, и делает ей признания. Оно должно было шептать ей на ухо: "Скоро наступит мой час, моя добрая Жюли. Готовься". Во всяком случае, она умела убеждать, и я помог ей формировать группу, регулярно собиравшуюся для обсуждения шагов, которые следовало предпринять: от изготовления фальшивых документов до выбора надёжных мест, где мы могли бы встречаться или скрываться при немецкой оккупации, в которой она не сомневалась ни на секунду".

Однажды после визита к аптекарю на улице Гобен, передавшему мне "лекарства", назначение и потребителя которых я узнал только гораздо позже, я спросил у мадам Эспинозы:

— Вы им платите?

— Нет, мой маленький Людо. Есть вещи, которые не покупаются. Она кинула на меня странный взгляд, печальный и жёсткий:

— Это будущие смертники.

Однажды я пожелал узнать также, почему, будучи так уверена, что война проиграна, и считая приход немцев неизбежным, она не ищет убежища в Швейцарии или Португалии.

— Мы об этом уже говорили, и я тебе ответила. Бегство не в моём духе. Она усмехнулась:

— Может, Фульбийак это и имела в виду, когда повторяла, что у меня "дурной тон". Как-то утром я заметил в углу кухни фотографии португальского диктатора Салазара, адмирала Хорти, правителя Венгрии, и даже Гитлера.

— Я жду одного человека, чтобы он мне их надписал, — объяснила она.

Мадам Жюли не простирала своё доверие до того, чтобы сказать мне, какое имя она собирается принять, и когда "специалист" пришёл надписывать фотографии, меня попросили выйти.

Она уговорила меня сдать экзамен на водительские права:

— Это может пригодиться.

Хозяйка не могла предугадать только одного: точной даты германского нападения и нашего поражения. Она полагала, что это будет "в первые же тёплые дни", и заботилась об участи девиц. Она советовала им брать уроки немецкого, но во Франции не было ни одной проститутки, которая бы верила, что войну проиграют.

Меня удивляло, что она мне так доверяет. Почему она без колебаний полагалась на двадцатилетнего мальчика без жизненного опыта, что вряд ли было хорошей рекомендацией?

— Может, я и делаю глупость, — признала она. — Ну что я могу тебе сказать? У тебя в глазах что-то от смертника.

— Вот чёрт! — сказал я. Она рассмеялась:

— Я тебя напугала, верно? Но это не обязательно означает двенадцать пуль. С этим можно даже очень долго прожить. У тебя такой взгляд из-за твоей польки. Не горюй. Ты её ещё увидишь.

— Как вы можете знать, мадам Жюли? Она ответила не сразу, как бы боясь причинить мне боль:

— Если бы ты её больше не увидел, это было бы слишком красиво. Всё осталось бы как было. В жизни мало что остаётся неизменным.

Я продолжал ходить два-три раза в неделю в Штаб польской армии во Франции, и наконец сержант, уставший от моих расспросов, бросил:

— Ничего в точности не известно, но вероятнее всего, что вся семья Броницких погибла под бомбами.

Тем не менее я был уверен, что Лила жива. Я даже более ясно ощущал её присутствие рядом со мной, это было как бы предчувствие.

В начале апреля мадам Жюли на несколько дней исчезла. Она вернулась с повязкой на носу. Когда повязку сняли, оказалось, что нос Жюли Эспинозы утратил горбинку и стал прямым, даже укоротился. Я не задавал ей вопросов, но при виде моего удивления она сказала:

— Нос — первое, на что будут смотреть эти сволочи.

В конце концов я так уверовал в её правоту, что, когда немцы прорвали фронт в Седане, я не был удивлён. Я не удивился также, когда через несколько дней она послала меня пригнать из гаража её "ситроен". Вернувшись, я зашёл к ней в комнату и застал её сидящей среди чемоданов с рюмкой коньяку в руке; она слушала радио, которое возвещало, что "ничего не потеряно".

— Хорошенькое "ничего", — сказала она. Она поставила рюмку, взяла собачку и встала:

— Ладно, поехали.

— Куда?

— Мы немного проедем вместе, потому что ты вернёшься в Нормандию и нам немного по пути.

Было второе июня, и на дорогах не наблюдалось никаких признаков нашего поражения. Всё выглядело мирно в посёлках, через которые мы проезжали. Сначала вёл я, потом госпожа Эспиноза сама села за руль. На ней было серое пальто, шляпа и косынка сиреневые.

— Где вы будете скрываться, мадам Жюли?

— Я совсем не буду скрываться, дружок. Находят именно тех, кто скрывается. У меня два раза был сифилис, так что нацисты меня не напугают.

— Но что же вы собираетесь делать?

Она слегка улыбнулась и не ответила. В нескольких километрах от Верво она остановила машину.

— Ну вот. Здесь мы прощаемся. Это не очень далеко от тебя, так что не заблудишься. Она обняла меня:

— Я дам тебе знать. Скоро понадобятся такие мальчики, как ты. Она прикоснулась к моей щеке:

— Ну, отправляйся.

— Неужели вы опять скажете, что у меня взгляд смертника?

— Скажем так: у тебя есть то, что надо. Когда умеешь, как ты, любить женщину, которой нет рядом, возможно, сумеешь любить и нечто другое… чего тоже не будет, когда нацисты за это возьмутся.

Я вышел из машины и взял свой чемодан. Мне было грустно.

— Скажите хотя бы, куда вы едете!

Машина тронулась. Я стоял посреди дороги, спрашивая себя, что с нею будет. И я был немного разочарован тем, что она не доверилась мне напоследок. Видимо, то, что она читала в моих глазах, не было достаточной гарантией. Что ж, тем лучше. Может, у меня всё-таки не глаза смертника. Может, у меня ещё есть шанс.

Глава XXV

Меня подобрал на шоссе военный грузовик, и к трём часам дня я был в Клери. Из раскрытых окон неслись звуки радио. Неприятеля

собирались остановить на Луаре. Думаю, что даже "хозяйка" не смогла бы остановить неприятеля на Луаре.

Я нашёл дядю за работой. Едва я вошёл, меня поразила смена декораций в мастерской: Амбруаз Флери был по колено во французской истории в самых воинственных её проявлениях. Вокруг него кучей лежали все эти "Карлы Мартеллы"[26], "Людовики", "Готфриды Бульонские"[27]и "Роланды Ронсевальские"[28], все, кто во Франции когда-либо показывал зубы врагу, от Карла Великого до маршалов Империи, даже сам "Наполеон", о котором опекун раньше говорил: "Надень на него шляпу с полями, и выйдет настоящий Аль Капоне". С иголкой и ниткой в руке, он как раз латал "Жанну д'Арк", имевшую несчастный вид, так как голуби, которые должны были поднимать её в небо, болтались где-то сбоку, а шпага сломалась в результате неудачного приземления. Для старого пацифиста, не одобряющего военную службу по моральным соображениям, это была перемена фронта, и я онемел от удивления. Я сомневался, что подобная перемена настроения связана с какими-то новыми заказами, ибо за всю свою историю страна никогда не интересовалась воздушными змеями меньше, чем теперь. Сам Амбруаз Флери тоже изменился. Он сидел со своей искалеченной "Жанной д'Арк" на коленях, и его старая нормандская физиономия имела в высшей степени свирепый вид. Он не встал со скамьи и едва кивнул мне.

— Ну, что нового? — спросил он, и я остолбенел от этого вопроса, ведь Париж только что объявили открытым городом. Мне казалось, что напрашиваются совсем другие вопросы. Но то был ещё июнь сорокового, и не началось ещё то время, когда французы шли на пытки и на смерть ради того, что существовало только в их представлении.

— Я не смог получить никаких сведений. Я всё испробовал. Но я уверен, что она жива и вернётся.

Амбруаз Флери одобрительно кивнул:

— Молодец, Людо. Германия выиграла войну, здравый смысл, осторожность и разум воцарятся во всей стране. Чтобы продолжать верить и надеяться, надо быть безумцем. Отсюда я делаю вывод, что… — Он поглядел на меня: —… безумцем быть надо.

Возможно, я должен напомнить, что в эти часы капитуляции безумие ещё не поразило французов. Был только один безумец, и он был в Лондоне.

Через несколько дней после возвращения я увидел первых немцев. У нас не было денег, и я решил вернуться к Марселену Дюпра, если он меня возьмёт. Когда дядя зашёл к нему, уже стало ясно, что ничто не сможет остановить сокрушительное наступление сил вермахта; он наш ел Дюпра с красными глазами около висевшей у входа карты Франции, где каждая провинция была обозначена самой её отборной провизией. Дюпра указывал пальцем на ветчину в Арденнах и говорил:

— Не знаю, докуда дойдут немцы, но во что бы то ни стало надо будет сохранить связь с Перигором. Без трюфелей и гусиной печёнки "Прелестный уголок" пропал. Хорошо ещё, что Испания сохраняет нейтралитет: только из Испании я получаю шафран, достойный своего имени.

— Думаю, он тоже обезумел, — сказал дядя с уважением.

На дороге перед садом стояло три танка, а у входа, под цветущими магнолиями, самоходная установка. Я ждал, что меня окликнут, но немецкие солдаты даже не посмотрели на меня. Я пересёк вестибюль; ставни в "ротонде" и на "галереях" были закрыты; два немецких офицера сидели за столиком, склонившись над картой. Марселен Дюпра сидел в тени с господином Жаном, старым восьмидесятилетним виночерпием, который пришёл, видимо, для того, чтобы оказать моральную поддержку хозяину всеми покинутого "Прелестного уголка". Дюпра, скрестив руки на груди и высоко подняв голову, но со слегка

блуждающим взглядом, говорил громко, как бы желая, чтобы слышали немецкие офицеры:

— Я считаю, что год обещает быть хорошим; может быть, это будет один из лучших; только бы внезапный дождь не побил виноградники.

— Во всяком случае, начало хорошее, — отвечал господин Жан, улыбаясь всеми своими морщинами. — Франция запомнит урожай сорокового года, чувствую, что это будет один из лучших. Я отовсюду получаю хорошие вести. Из Божоле, со всей Бургундии, из Борделе… Никогда ещё не было таких хороших вестей. В этом году вино будет крепче, чем за всю историю наших виноградников. Оно всё выдержит.

— На памяти французов не было такого июня, — признавал Дюпра. — Ни облачка. Лилии зацвели, и через девяносто дней всё будет как надо. Есть такие, которые не верят и говорят, что такая хорошая погода не может стоять долго. Но я верю в виноградники. Во Франции всегда так было. В одном проигрывали, в другом выигрывали.

— Конечно, с эльзасскими винами покончено, — сказал господин Жан.

— А карта вин без эльзасского — это национальное бедствие, — согласился Дюпра, слегка повысив голос. — Заметь, у меня в погребе достаточно, чтобы продержаться четыре года, даже пять лет, а потом можно надеяться, что получу новые… Я видел одного человека, он приехал от Пуэна из Вьена; вроде бы там дела обстоят как нельзя лучше, виноградники побили все рекорды. Говорят, они держатся даже на Луаре. Франция — необыкновенная страна, старина Жан. Когда кажется, что всё потеряно, вдруг видишь, что главное остаётся.

Господин Жан поднял руку, чтобы вытереть слезу среди морщин:

— О да. Это я вам говорю, месье Дюпра: когда через несколько лет будут вспоминать сороковой год, то скажут: такого года больше не увидишь. Я знаю людей, которые смотрят на свои виноградники и плачут, так они хороши!

Оба немецких офицера по-прежнему изучали карту. Я думал, что это их военная карта Франции. Я ошибся. Это была действительно карта Франции, но в виде меню "Прелестного уголка": "Мясо на пару с трюфелями "Марселен Дюпра", филе с эстрагоном, кролик в малиновом уксусе по-нормандски, ракушки по-дьепски". Я знал меню наизусть, вплоть до белых грибов с сидром. Я смотрел на двух немецких офицеров, и мне вдруг показалось, что война ещё не проиграна. Один из офицеров встал и подошёл к Дюпра.

— В следующую пятницу генерал, командующий немецкими войсками в Нормандии, а также его превосходительство посол Отто Абец и ещё четырнадцать персон желают здесь завтракать, — сказал он. — Его превосходительство Абец часто бывал у вас до войны и шлёт свои наилучшие пожелания. Он надеется, что "Прелестный уголок" не посрамит свою репутацию. Господин посол окажет вам в этом отношении любую необходимую помощь. Он поручил нам пожелать вам успешно продолжать свою работу.

Дюпра посмотрел на него в упор:

— Передайте вашему генералу и вашему послу, что у меня нет служащих, нет свежих продуктов и я не уверен, что смогу продержаться.

— Это приказ высокого командования, месье, — сказал офицер. — В Берлине желают, чтобы всё шло как прежде, и мы намереваемся сохранить то, что составляет славу и величие Франции, — в первую очередь, разумеется, её кулинарный гений. Это слова самого фюрера.

Оба офицера щёлкнули каблуками перед хозяином "Прелестного уголка" и удалились. Дюпра молчал. Вдруг я увидел, что на его лице появилось странное выражение, смесь ярости, отчаяния и решимости. Я не говорил ни слова. Господин Жан забеспокоился:

— В чём дело, Марселен?

Тогда я услыхал от Марселена Дюпра слова, которые никогда ещё не срывались с его уст.

— Дерьмо собачье, — глухо произнёс он. — Что они думают, эти сучьи потроха? Что я наделаю в штаны? У трёх поколений Дюпра был девиз: "Я выстою".

Он объявил, что на следующей неделе "Прелестный уголок" снова откроется. Но вокруг нас поражение следовало за поражением: с минуты на минуту ожидалась капитуляция Англии, и были часы, особенно ночью, когда мне казалось, что всё пропало. Тогда я вставал и шёл к "Гусиной усадьбе". Я перелезал через стену и ждал Лилу на каштановой аллее, и каменная скамья, давно уже пустая и холодная в лунном свете, по-дружески нас принимала. Я забирался внутрь через одно из больших окон террасы, которое разбил, поднимался на чердак и прикасался к глобусу, проводя пальцем по линиям, намеченным Тадом для будущих исследований. Бруно садился за рояль, и я слушал полонез Шопена — я слышал его так отчётливо, как если бы безразличное молчание наконец сжалилось. Я ещё не знал, что и другие французы начинают, как и я, жить памятью и что ушедшее, казалось, навсегда может ожить и проявиться с такой силой.

Глава XXVI

В мастерскую начали поступать заказы. На историю Франции был большой спрос. Власти это одобряли — к прошлому относились дружелюбно. Немцы запретили запускать воздушных змеев на высоту

более тридцати метров, опасаясь тайных сигналов авиации союзников или первым "бандитам". Нас посетил новый мэр Клери, господин Плантье, который явился, чтобы передать дяде полученный "совет". В высоких кругах заметили, что среди заслуживших одобрение "исторических" работ, выходивших из мастерской "лучшего мастера Франции" —Амбруаз Флери получил это звание в 1937 году, — недостаёт изображения маршала Пете-на. Дяде предложили, чтобы во время будущей встречи членов общества "Воздушные змеи Франции" в Клери он сам торжественно запустил змея, изображающего маршала. Дядя дал своё согласие с едва заметным лукавым огоньком в тёмных глазах. Я так любил эти вспышки весёлости в его глазах и насмешку, скрытую седыми усами, — как будто луч старого доброго веселья шёл из нашего далёкого прошлого и на пути к будущему освещал дядино лицо. Он собрал трёхметрового змея с изображением маршала, и всё прошло бы очень хорошо, если бы муниципалитет презрел дядино предложение пригласить на праздник нескольких немецких солдат и офицеров. В состязании принимало участие более ста человек, и первый приз —"Маршал Петен" был, естественно, вне конкурса — присудили сложному воздушному змею доминиканского священника, изображавшему распятие с Иисусом, который отделялся от креста и воспарял в небо.

Я так и не узнал, подстроил ли Амбруаз Флери всё заранее, или это было досадное совпадение. Казалось, у него затруднения с запуском змея, чья величина более соответствовала историческому моменту, чем возможностям воздушных потоков, и один немецкий капрал любезно поспешил к нему на помощь (а возможно, дядя сам попросил его помочь). Наконец "Маршалу Петену" удалось подняться в воздух, но когда он на высоте тридцати метров раскрыл свои руки-крылья, то оказалось, что бечёвку держит немецкий капрал, и сфотографировали именно его. Во время праздника никто не обратил на это внимания, и только когда фотографию должны были опубликовать, цензура обнаружила её злонамеренность. Её не опубликовали, но нашлось другое фото, неизвестно кем снятое, и его копировали на подпольных листовках до самого конца оккупации: великолепный "Маршал Петен"

летает в небесах, а жизнерадостный немецкий капрал твёрдой рукой держит бечёвку.

Это дело принесло нам некоторые неприятности, и дядя сам думал, что, возможно, слишком явно раскрылся. В Нормандии начиналась организация первых звеньев сети Сопротивления "Надежда" под руководством Жана Сентени, который специально зашёл к дяде; несмотря на разницу в возрасте, они отлично поняли друг друга. В Клери история с "Маршалом Петеном" вызвала разные реакции.

В "Улитке" и в "Виноградаре" приветствовали "эту старую лису Амбруаза", подмигивая и хлопая его по плечу. Но некоторые, вспоминая его период "Народного фронта", когда он запускал над нормандскими рощами "Леона Блюма", говорили, что когда человек, у которого два брата убиты в 1914 — 1918 годах, так насмехается над героем Вердена, он заслуживает хорошего пинка под зад. Помнили и то, что он не одобрял службу в армии по нравственным соображениям. В одно прекрасное утро, — я всегда говорю "в одно прекрасное утро", потому что у слов свой привычный порядок и не немецким танкам его менять, — итак, в одно прекрасное утро к нам ввалился мой бывший товарищ Грийо, которому через два года участники Сопротивления перерезали горло, — да помилует Бог его душу! Он был с двумя другими молодцами, разделявшими его взгляды, и они всё утро перетряхивали наших воздушных змеев, чтобы убедиться, что "этот старый идиот Флери" не подготовил ещё каких-нибудь мерзких штучек. Дядя спрятал весь свой период "Народного фронта" и своего "Жореса" у отца Ташена, кюре в Клери, который сначала орал на нас, а потом спрятал змеев в подвал, кроме "Леона Блюма" — его он собственноручно сжёг, потому что "какого чёрта, это уж слишком". Власти опекуна не беспокоили, но он понял, куда ветер дует, и после долгого раздумья решил, что "надо было действовать иначе". Встреча в Монтуаре дала ему новый стимул, и воздушный змей, изображавший историческое рукопожатие маршала Петена и Гитлера, был запущен через пять дней после события. "Надо работать по свежим следам", — сказал мне дядя. Группа добровольцев воспроизвела змея более чем в ста экземплярах, и его часто можно

было видеть в небе Франции. Никто не усмотрел в нём ничего дурного, кроме Марселена Дюпра, который заглянул к нам выпить рюмочку и сказал своему старому другу: — Ну, старина, когда ты насмехаешься над людьми, это серьёзно!

Глава XXVII

В ноябре 1941-го, когда молчание Польши с каждым днём всё больше напоминало молчание на бойне, я снова пришёл в усадьбу для упражнения памяти. В то утро нас навестили в Ла-Мотт люди Грюбера, начальника гестапо в Клери, так как длинные языки распустили слух, что Амбруаз Флери сделал воздушного змея в виде Лотарингского креста[29], которого собирается запустить так высоко, чтобы его было видно от Клери до Кло и от Жонкьера до Про. Это были выдумки: дядя был слишком уверен в себе, чтобы потерять осторожность; немцы не нашли ничего, что бы не фигурировало во всех разрешённых учебниках по истории Франции. Они несколько заколебались перед "Жанной д'Арк", несомой двадцатью голубями, но Амбруаз Флери, смеясь, сказал им, что нельзя же помешать Жанне воспарить в небеса. Он предложил посетителям выпить кальвадоса и показал диплом лучшего мастера Франции, полученный при Третьей республике, и так как без Третьей республики нацисты не выиграли бы войну, оберштурмбанфюрер сказал "гут, гут" и удалился.

Было пять часов вечера; я стоял посреди старого пыльного чердака; голые ветки, топорщась, заслоняли слуховые окна; рояль Бруно молчал; напрасно закрывал я глаза — я ничего не видел. В тот вечер доброму старому здравому смыслу приходилось особенно трудно. Немцы приближались к Москве, и по радио объявляли, что от Лондона осталась одна пыль.

Не знаю, каким отчаянным усилием удалось мне преодолеть свою слабость. Лила ещё дулась на меня, ей всегда нравилось испытывать мою веру, но я увидел Тада, он искал на карте места наших будущих славных исследований, — и наконец явилась Лила и бросилась в мои

объятия. Вальс, только вальс, но стоит голове закружиться, и всё возвращается. Я обнимал Лилу, и она смеялась, откинув голову; Бруно играл; Тад небрежно опирался на один из глобусов — они так мало говорят о Земле, ведь они не ведают о её трагедиях; я снова верил в нашу жизнь и наше будущее, потому что мог любить.

Так я вальсировал с закрытыми глазами, раскрыв объятия, полностью отдаваясь безумию, когда услышал скрип двери. Здесь повсюду гулял ветер, и в пылу своего праздника я бы не обратил на это внимания, если бы не открыл глаза, что является грубой ошибкой для всех, живущих верой и воображением.

Сначала я увидел только силуэт немецкого офицера на фоне чёрного прямоугольника двери.

Я узнал Ханса. У меня ещё немного кружилась голова, и я подумал, что это просто результат избытка памяти. Понадобилось несколько секунд, чтобы убедиться. Это действительно был Ханс. Он стоял тут, передо мной, в своей форме завоевателя. Он не двигался, как бы понимая, что я ещё сомневаюсь, и чтобы дать мне время убедиться в его присутствии. Казалось, он не удивился, застав меня на чердаке танцующим вальс с той, кого здесь не было. Он не был взволнован: завоеватели привыкают к виду горя. Может быть, ему уже сказали, что я немного не в себе, добавив: "Бедный молодой Флери; ясно, в кого он пошёл". Сопротивление только начиналось, и слово "безумие" ещё не получило права на эпитет "священное".

В помещении было достаточно темно, чтобы пощадить нас, помешав видеть друг друга слишком ясно. Но всё же я различал белый шрам на щеке своего врага: след польской szabelca, которой я орудовал так неловко. У Ханса был печальный, даже почтительный вид: рыцарственность идёт к форме. У него на шее висел Железный крест — вероятно, он получил его за бои в Польше. Не знаю, что мы сказали друг другу в эти минуты, когда не было произнесено ни одного слова. Он сделал деликатный жест, свидетельство благовоспитанности, которая

передаётся у прусских юнкеров от отца к сыну: стоя в дверях, он отступил в сторону, чтобы освободить мне проход. Видимо, после стольких побед он привык, что люди бегут. Я не двинулся с места. Он постоял в нерешительности, потом начал снимать правую перчатку, и по выражению его лица мне вдруг показалось, что он собирается протянуть мне руку. Но нет, он и теперь избавил меня от неловкости: подошёл к слуховому окну и, снимая перчатки, глядел на голые ветви. Потом повернулся к роялю Бруно. Улыбнулся, подошёл к роялю, открыл его и коснулся клавиш. Только несколько нот. С минуту он стоял неподвижно, положив руку на клавиши и опустив голову. Потом отвернулся, медленно, как бы в нерешительности, сделал несколько шагов, надевая перчатки. Перед тем как выйти, он остановился, слегка обернулся ко мне, будто собираясь заговорить, затем ушёл с чердака.

Я всю ночь бродил в окрестностях, не узнавая даже тех дорог, которые знал с детства, Я не понимал, действительно я видел Ханса или так далеко зашёл в своих упражнениях памяти, что вызвал лишний призрак. Братья Жарро нашли меня на следующее утро в хлеву без сознания, отвезли домой и посоветовали дяде отправить меня в больницу в Кан.

— Мы все здесь знаем, что малыш немного "того", но на этот раз…

Они ошибались. "На заре тётя Мирта выйдет прогуляться". "Корова будет петь соловьиным голосом". "Пуговицы к штанам пришьют вовремя". "Мой отец — мэр Мамера, а мой брат — массажист". Каждый день до нас доходили из Лондона зашифрованные сообщения для участников Сопротивления — эти передачи шли на 1500 метрах длинноволнового диапазона, 273 метрах средневолнового и на коротких волнах на 30,85 метра. Амбруаз Флери поблагодарил Жарро за совет, вежливо выпроводил их и, подойдя к моей кровати, сжал мне

— Экономь своё безумие, Людо. Не слишком его расходуй. Стране оно будет нужно всё больше.

Я пытался взять себя в руки, но встреча с Хансом потрясла меня. Я по-прежнему бродил вокруг "Гусиной усадьбы". Немцы ещё её не заняли; её даже ещё не начали приводить в порядок.

В начале декабря, забравшись на стену, я услышал, как открываются ворота. Припав к стене, я увидел, что по главной аллее въезжает "мерседес" с вымпелом командующего немецкими войсками в Нормандии. За рулём был Ханс, один в машине. Я не знал, для чего он вернулся сюда: чтобы подготовить усадьбу для немцев или чтобы помечтать о Лиле, как я. Вечером я украл пять бидонов бензина в "Прелестном уголке" — его щедро поставляли туда немцы — и перетащил их по одному в усадьбу. В ту же ночь я поджёг её. Огонь плохо разгорался, мне пришлось немало потрудиться; я бегал из комнаты в комнату, спасая свои воспоминания, ожидая, чтобы пепел укрыл их навсегда. Когда наконец пламя поднялось до крыши, я с трудом заставил себя уйти — столько сочувствия виделось мне в этом огне.

Наутро меня арестовали, отправили в Клери и учинили допрос с пристрастием. Французская полиция тем более нервничала, что речь шла о её престиже в глазах немцев. Для властей я был идеальным виновником: речь шла о выходке неуравновешенного человека без всяких "террористических" намерений.

Я ничего не отрицал — я только отказывался отвечать. Я думал о моих товарищах Легри и Косте из организации "Надежда", которые не заговорили под пыткой: если бы несколько пощёчин и ударов кулаком могли склонить меня к признаниям, значит, память подвела бы меня первый раз в жизни. Так что после серии оплеух я глупо улыбнулся, а потом сделал вид, что впадаю в мрачное отупение, что несколько обескуражило полицейских.

Дядя поклялся, что я неделю не вставал с постели; доктор Гардье проехал в своей двуколке тридцать километров, к великому неудовольствию коня Клементина, чтобы подтвердить его слова; но

власти держались за "поступок неуравновешенного субъекта", и на следующий день допрос возобновился в присутствии двух немцев в штатском.

Я сидел на стуле спиной к двери. Вдруг я увидел, как оба немца вытянулись с поднятыми руками, и, не взглянув на меня, мимо прошёл Ханс. У него было напряжённое лицо, челюсти сжаты. Чувствовалось, что он с усилием сдерживает свою досаду и презрение. Он не ответил на гитлеровское приветствие людей Грюбера и обратился к комиссару по-французски:

— Я не понимаю этого ареста. Я не понимаю, как Людовик Флери, которого я хорошо знаю, мог оказаться в "Гусиной усадьбе" в ночь поджога, так как я видел его в это время в доме его дяди в Кло, откуда я ушёл очень поздно после долгой дискуссии по поводу воздушных змеев с мэтром Амбруазом Флери. Таким образом, полностью исключается, что он мог быть поджигателем, так как, по свидетельству очевидцев, огонь был виден за несколько километров со всех сторон с одиннадцати вечера.

Моим первым побуждением было отвергнуть эту помощь и защиту сильнейшего, и я чуть не встал и не крикнул: "Это я поджёг усадьбу". Прежде всего в моих взволнованных мыслях вспыхнуло прежнее раздражение против жеста, в котором я сперва увидел больше аристократической надменности и чувства превосходства, чем душевного величия. Но мою старую вражду вовремя погасила догадка: Ханс оставался верен тому, что нас одновременно объединяло и разделяло, — Лиле. Он по-настоящему любил её и хотел спасти то, что во мне составляло смысл его собственной жизни. В этом высокомерном виде, в презрении, с которым он обращался к моим обвинителям, я распознал знак верности воспоминанию: он пришёл защищать не меня, а нашу общую память.

Он даже не стал ждать, пока ему зададут вопросы, и вышел: свидетельство немецкого офицера нельзя было подвергать сомнению.

Меня немедленно освободили. Дядя, доктор Гардье и конь Клементин доставили меня домой. Не было ещё людей, которые так молчали бы обо всём, что имели сказать друг другу. Только когда мы прибыли и доктор Гардье и конь Клементин направились в Клери, дядя спросил меня:

— Ты зачем поджёг эту лачугу?

— Чтобы всё осталось как было, — ответил я, и он вздохнул, потому что знал, что уже тысячи французов мечтают об огне, "чтобы всё осталось как было".

Никто в наших краях не сомневался в моей виновности. Те, кто начал прислушиваться к первым призывам к "безумию", передававшимся не только по лондонскому радио, но и по всем другим волнам, выказывали мне нечто вроде робкого сочувствия. Другие меня избегали — те, кто хотел выйти сухим из воды и затаиться и выжидать, подчёркивая таким образом благородство безумия. Не многие верили в победу союзников — самое большее, говорили о возможности заключения сепаратного мира за счёт русских.

Меня поместили на обследование в психиатрическую больницу в Кане. Я провёл там две недели, громко разговаривая с отсутствующими, что позволило мне получить составленную по всей форме справку о ненормальности, и ничто не могло быть полезнее для моей подпольной деятельности. Никто не удивлялся, видя, как я брожу, жестикулируя, от фермы к ферме, и мой командир группы, Субабер, поручил мне все связи. Рассудок волшебным образом возвращался ко мне для бухгалтерской работы в "Прелестном уголке"; Дюпра говорил по этому поводу, что "некоторые болезни совсем незаметны". Он, конечно, догадывался о моей подпольной работе, ведь от него мало что ускользало. Он остерегался всяких намёков — "чтобы не быть причастным", по словам дяди, — и ограничивался тем, что ворчал: "Вас ничто не может изменить!"

И я не знал, говорит он только о Флери или о всех наших братьях в поставленной на колени Европе — их становится всё больше, — объединённых общим безумием, которое так часто в истории народов доказывало возможность невозможного.

Она стоит в тёмном углу на другом конце комнаты; там на стене висит неумело сделанный воздушный змей бледного желтовато-розового цвета с серебристо-белыми пятнами, семилетний мальчишка сам собрал и раскрасил его в мастерской. Не знаю, птица это, бабочка или ящерица, — детское воображение одарило его богатыми возможностями.

"Я не всегда была добра к тебе, Людо, и теперь ты мне мстишь. Вчера ты целые часы не вспоминал обо мне. Ты знаешь, что я в твоей власти, и хочешь дать мне ото почувствовать. Типично мужское отношение. Ты как будто всё время ждёшь, что я скажу: что со мной будет без тебя? Тебе приятно пугать меня".

Сознаюсь, мне приятны её опасения и её беспокойство: сейчас эта девушка родом из самой старинной аристократии зависит от нормандского мужлана, от его верности и памяти. Но я никогда не злоупотребляю своей властью. Я позволяю себе только бесконечно продлевать какой-нибудь её жест, как когда она проводит рукой по волосам, — я нуждаюсь в этом каждое утро. Или я задерживаю её руку и мешаю ей надеть лифчик.

"Ну, Людо! Ты перестанешь?"

Мне нравится зажигать этот гневный блеск в её глазах. Ничто не успокаивает меня больше, чем видеть её такой не изменившейся, похожей на себя прежнюю.

"Думаешь, тебе всё позволено, потому что я от тебя завишу? Вчера ты заставил меня сделать двадцать километров по полям. И мне совсем не нравится зелёный свитер, который ты на меня напялил".

"Он у меня один, а было холодно".

Потом она тихо уходит, растворяется в темноте, и я не открываю глаз, чтобы лучше сберечь её.

Глава XXVIII

Я свободно передвигался по нашим краям: немцы меня не опасались, зная, что я сошёл с ума, — на самом деле ввиду этого в меня как раз следовало бы стрелять. Я держал в голове сотни имён и адресов "почтовых ящиков", которые без конца менялись, и никогда не носил при себе ни клочка бумаги.

Однажды утром, проведя ночь в пути, я остановился передохнуть в "Телеме". За соседним столиком человек читал газету. Я не видел его лица, только заголовок на первой странице: "Красная Армия отступает в беспорядке". Хозяин, господин Рубо, поставил перед "этим беднягой Людо" два бокала белого вина — бокал, который я заказал, и второй, чтобы доставить мне удовольствие. Местные жители давно привыкли к моим причудам и не упускали случая сообщить приезжим, что я ещё больше "того", чем мой дядя со своими воздушными змеями, знаменитый почтальон, носящий ту же фамилию. Мой сосед положил газету, и я узнал своего старого учителя французского, господина Пендера. Я его не видел с окончания школы. Его черты, ставшие резче под бременем лет, не утратили выражения назидательной строгости, с которым он некогда искоренял орфографические ошибки в наших тетрадях. У него было то же самое пенсне и такая же бородка, что и раньше. Господин Пендер ещё сохранял присущий ему несколько царственный вид, хотя славу его в основном составляла рубрика кроссвордов; он вёл её в "Ла газетт" вот уже сорок лет. Я встал.

— Здравствуйте, Флери, здравствуйте. Разрешите мне передать наилучшие пожелания… Он слегка приподнялся и поклонился пустому стулу. Брико, официант, протиравший рюмки за прилавком, оцепенел, потом снова принялся протирать. Бедняга в жизни своей не пользовался воображением, так что он пропал совсем ни за что, его потом убили эсэсовцы, когда отступали после высадки союзников.

— Я приветствую священное безумие, — сказал господин Пендер. — Ваше, вашего дяди Амбруаза и всех наших молодых французов, которых память заставила совсем потерять голову. Я с радостью вижу, что многие из вас запомнили то, что достойно запоминания в нашем старом обязательном народном образовании.

Он рассмеялся.

— Выражение "сохранять смысл" можно толковать двояко. Кажется, я задавал вам когда-то сочинение на эту тему. Именно сочинение по французскому языку.

— Очень хорошо помню, господин Пендер. "Сохранять здравый смысл — то есть действовать по велению рассудка, разумно". Или же наоборот: "Сохранять смысл жизни".

Мой старый учитель казался очень довольным. Он давно уже был на пенсии, сморщился, царственность его немного увяла; однако существует другая молодость, молодость, из-за которой даже семидесятилетнего школьного учителя могут отправить в концлагерь.

— Вот, вот, — сказал он, не уточняя, к чему относится его одобрение.

Собачка хозяина, Лорнетка, фокстерьер с кольцами чёрной шерсти вокруг глаз, дала лапку господину Пендеру. Господин Пендер погладил её.

— Надо иметь воображение, — сказал он. — Много воображения. Посмотрите на русских: согласно этой газете, они уже проиграли войну, но, кажется, у них тоже достаточно воображения, чтобы не замечать этого.

Он встал:

— Очень хорошо, ученик Флери. "Сохранять смысл жизни" — иногда совершенно противоположно "сохранению здравого смысла". Ставлю вам отличную оценку. Зайдите ко мне как-нибудь на днях, да поскорее. Официант!

Он положил на стол двадцать су, снял пенсне и аккуратно спрятал его в жилетный карман — пенсне прикреплялось к нему чёрной бархатной ленточкой. Ещё раз поклонился пустому стулу, надел шляпу и удалился несколько скованной походкой (колени портили ему жизнь). С мая 1941-го по июль 1942-го он написал значительную часть подпольной "литературы", распространяемой в Нормандии. Его арестовали в 1944 году, накануне высадки союзников: он слишком верил в свои кроссворды — они появлялись дважды в неделю на четвёртой странице "Ла газетт" и содержали инструкции для участников Сопротивления западного района, но один товарищ выдал ключ гестапо, после того как ему вырвали несколько ногтей.

Между тем, когда однажды утром на стенах в Клери обнаружили плакаты, где говорилось о "вечной Франции" с той новой и неожиданной силой, когда избитые фразы вдруг оживают и, преображаясь, сбрасывают свои старые заплесневелые оболочки, подозрение пало на Амбруаза Флери. Я удивлялся неожиданному чутью профессионалов с весом, которые, зная, что любой подброшенный в воздух предмет, даже воздушный змей, в конце концов падает на землю, как бы ни была сильна надежда, всё же отдавали должное старому чудаку, выходящему на луг в компании детей, подняв глаза к одному из своих "ньямов", — теперь их запрещалось запускать на высоту более пятнадцати метров.

О том, что дядю подозревают, нам сообщил сын наших соседей Кайе: утром он прибежал галопом к нам в мастерскую. Жанно Кайе был такой белокурый, как если бы его с головы до ног осыпали пшеницей; он совсем запыхался, больше от волнения, чем от того, что бежал.

— Они идут!

После чего, отдав сначала должное дружбе, он отдал должное и нормандской осторожности, выбежав прочь и исчезнув со скоростью вспугнутого кролика.

Оказалось, что "они" — это мэр Клери господин Плантье и секретарь мэрии Жабо, которого господин Плантье попросил остаться снаружи, видимо не желая, чтобы его доверенное лицо было свидетелем, поскольку доверенные лица тогда ели из всех кормушек. Он вошёл, вытер лоб большим платком в красную клетку — официальные лица начали сильно потеть после первых диверсий — и сел на скамейку, в своей вельветовой куртке цвета мочи и крагах, не поздоровавшись, поскольку был в дурном настроении.

— Это ты, Флери, или не ты?

— Это я, — ответил дядя, так как он гордился нашей фамилией. — Флери существуют уже десять поколений, и я из их числа.

— Не прикидывайся идиотом. Они начинают расстреливать, может быть, ты не знаешь этого.

— Но что я сделал?

— Они нашли листовки. Настоящие призывы к безумию, другого слова нет. Надо быть сумасшедшим, чтобы противостоять немецкому могуществу. Повсюду шепчут: только эти ненормальные Флери способны на такое. Молодой поджёг дом, где немцы собирались разместить свой

штаб, — не отрицай, скотина! — а старый в свободное время запускает в небо прокламации!

— Какие прокламации, к такой-то матери? — удивился дядя, проявив неожиданную для пацифиста нежность к лексикону, расцветшему во времена Марны и Вердена.

— Твои паршивые воздушные змеи и листовки — это одно и то же! — проорал господин мэр, осенённый пониманием, идущим больше от чувства, чем от ума. — Мои дети на днях видели твоего "Клемансо"! А это что ещё?

Он направил обличающий перст на "Золя".

— Это подходящее время, чтобы запускать "Золя"? Тогда уж почему бы не "Дрейфуса"? Старина, из-за некоторых глупостей можно оказаться у стенки перед взводом солдат!

— Мы не имеем никакого отношения к тем диверсиям, о которых говорят, а мои воздушные змеи и того меньше. Глоточек сидра? Вам это мерещится.

— Мне? — заревел Плантье. — Мне мерещится? Дядя налил ему сидра.

— Никто не застрахован от игры воображения, господин мэр. Ещё немного, и вам покажется, что в небе летает "де Голль"… Никто не застрахован от безумия, даже вы.

— Что это значит — даже я? Ты думаешь, мне не хотелось бы, чтобы немцы убрались отсюда?

— Но я всё же надеюсь, что вы не из тех, кто каждый вечер слушает лондонское радио! Плантье мрачно смотрел на него:

— Слушай, тебе необязательно знать, что я слушаю и чего не слушаю! Он встал. Он был толстый. От жира ещё больше потел.

— Пойми, что всех устроит, если можно будет доказать, что листовки печатают ненормальные. Если они возьмутся за нормальных людей, ни у кого не будет ни минуты покоя. Мне бы следовало тебя выдать, ради общих интересов. Не знаю, что меня удержало.

— Может быть, то, что вы приходили сюда играть с моими воздушными змеями, когда были маленьким. Помните?

Плантье вздохнул:

— Должно быть, так.

Он подозрительно осмотрелся. Воздушные змеи из "исторической серии" королей Франции были подвешены к балкам, а когда они висят вот так, головой книзу, вид у них печальный. Плантье показал на одного пальцем:

— Это кто?

— Добрый "король Дагобер". Он не запрещённый.

— Да уж. Сегодня никто не знает, что запрещено и что нет. Он сделал шаг к двери:

— Хорошо делай уборку, Флери. Они придут, и если найдут хоть одну листовку… "Они" не нашли листовок. Им не пришло в голову поискать их внутри "королей Франции".

Печатный станок тоже не нашли. Он был в яме под кучей навоза. Они немного потыкали вилами в навоз, который отозвался, как следует, и прекратили поиски.

Немецкие солдаты часто заходили, чтобы заказать нам "ньямов" — они посылали их в подарок детям. Во внутренностях некоторых воздушных змеев таились не только призывы к сопротивлению, вышедшие из-под пламенного пера господина Пендера, но и сведения о главных группировках немецких войск и расположении береговых батарей. Приходилось быть очень внимательными, чтобы не спутать "товар на продажу" с непродажными змеями.

Наши соседи Кайе всё знали о нашей деятельности, и Жанно Кайе часто служил нам гонцом. Что касается Маньяров, я порой спрашивал себя, замечают ли они, что Франция оккупирована. К немцам у них было то же отношение, что и ко всему миру: они их игнорировали. Никто никогда не видел, чтобы они проявляли хоть малейший интерес к тому, что происходит вокруг них.

— Но они по-прежнему делают лучшее масло в округе, — одобрительно говорил Марселен Дюпра.

Хозяин "Прелестного уголка" рекомендовал нас своей новой клиентуре, и даже сам знаменитый немецкий пилот Мильх нанёс нам визит.

Нашим самым постоянным гостем в Ла-Мотт был мэр Клери. Он садился на скамью в мастерской и сидел, мрачный и недоверчивый, глядя, как дядя приделывает тело и крылья к наивным картинкам, которые ему присылают дети; потом уходил. Он казался обеспокоенным, но хранил свои опасения про себя. Но однажды он отвёл дядю в сторону:

— Амбруаз, в конце концов ты сделаешь глупость. Я чувствую. Что ты скрываешь?

— То есть?

— Ладно, ладно, не прикидывайся. Я уверен, ты его где-то прячешь, а потом запустишь, и тебя посадят, это я тебе говорю.

— Я не знаю, о чём вы говорите.

— Ты сделал змея в виде де Голля, я знаю, так я и думал. Знаешь, что тебя ждёт в тот день, когда ты его запустишь?

Дядя сначала ничего не сказал, но я видел, что он тронут. Когда что-то его трогало, его взгляд смягчался. Он сел рядом с мэром.

— Ну, ну, не думай об этом всё время, Альбер, иначе ты и не заметишь, как закричишь с балкона мэрии: "Да здравствует де Голль!" И не делай такого лица… — Он засмеялся в густые усы. — Я тебя не выдам!

— Выдать меня — за что? — завопил Плантье.

— Я не скажу немцам, что ты прячешь у себя "де Голля".

Господин Плантье молчал, глядя себе под ноги. Потом он ушёл и не вернулся. Он сдерживал себя ещё несколько месяцев, а потом, в апреле 1942-го, ему удалось добраться до Англии в рыбацкой лодке.

Страна начала меняться. Присутствие невидимого становилось всё ощутимее. Люди, которых считали "рассудительными" и "нормальными", рисковали жизнью, спасая сбитых английских лётчиков и разведчиков "Свободной Франции": они прыгали с парашютом. "Разумные" люди, буржуа, рабочие и крестьяне, которых вряд ли можно было обвинить в мечтах о несбыточном, печатали и распространяли газеты, где постоянно повторялось слово "бессмертие", — и те, кого оно ожидало, погибали первыми.

Глава XXIX

Как только война кончится, мы начнём строить наш дом, не знаю только, где и как раздобыть денег. Об этом я не хочу думать. Надо остерегаться переизбытка ясности и здравого смысла: это превращает жизнь в ощипанную птицу, лишая её самых прекрасных перьев. Так что я сам проделал всю работу, и материалы обошлись мне не дороже воздушного змея. У нас есть собака, но мы ещё не выбрали ей имя. Всегда надо что-то оставлять на будущее. Я решил не готовиться в институт, я выбрал профессию учителя начальной школы, из верности доброму старому "обязательному народному образованию", — читая на стенах списки расстрелянных заложников, я спрашиваю себя, заслуживает ли оно стольких жертв. Иногда мне страшно; тогда дом становится моим убежищем; он скрыт от посторонних взглядов; только я знаю к нему дорогу; я построил его на месте нашей первой встречи; для земляники сейчас не сезон, но нельзя ведь жить только воспоминаниями детства. Часто я возвращаюсь сюда, разбитый от усталости после целых дней ходьбы по всей округе и нервного напряжения, и тогда мне стоит большого труда найти дом. Сколько ни говори о могуществе закрытых глаз —всё мало. Но мне тем более трудно преодолевать минуты слабости, что в России немцы одерживают победу за победой, и сейчас не лучший момент, чтобы проводить ночи за упорным строительством дома для будущего, с каждым днём ускользающего всё дальше. Наверное, Лила упрекает меня за эти минуты здравомыслия: она полностью зависит от того, что в "Прелестном уголке" называют "моей манией". Моя подпольная работа тревожит даже дядю. Я беспокоюсь, не очень ли он постарел, ведь говорят, что благоразумие наваливается на нас с годами. Но нет: он только советует мне быть осторожнее. Это верно, что я слишком рискую, но оружие всё чаще сбрасывают с парашютом, и необходимо его принимать, прятать в надёжном месте и учиться им пользоваться.

Я часто нахожу дом пустым. Понятно, что Лила не ждёт меня дома, ведь мы мало что знаем о польском маки и группах партизан, которые

прячутся в лесу; думаю, что существование там ещё более сложно, ужасно и невыносимо, чем у нас. Говорят, там погибли уже миллионы.

В худшие моменты отчаяния и усталости Лила почти всегда приходит мне на помощь. Тогда мне достаточно взглянуть на её измождённое лицо и бледные губы, чтобы сказать себе, что вся Европа ведёт ту же борьбу, делает то же безумное усилие.

"Я ждал тебя столько ночей. Ты не приходила".

"Мы понесли тяжёлые потери, пришлось уйти ещё дальше в лес. Надо ухаживать за ранеными, а лекарств почти нет. У меня не было времени думать о тебе".

"Я это почувствовал".

На ней тяжёлая военная шинель, на рукаве повязка с красным крестом медсестры; я оставляю ей длинные волосы и берет, как в наши счастливые Дни.

"А как у вас?"

""Выжидать и выйти сухими из воды". Но дело пойдёт".

"Людо, будь осторожен. Если тебя поймают..."

"С тобой ничего не случится".

"А если тебя убьют?"

"Тогда тебя будет любить кто-нибудь другой, вот и всё".

"Кто? Ханс?"

Я молчу. Ей по-прежнему нравится дразнить меня.

"Долго ещё, Людо?"

"Не знаю. Есть старая поговорка: "Человек живёт надеждой", но я начинаю думать, что это надежда живёт нами".

Лучшие наши минуты — когда я просыпаюсь: тёплая постель всегда напоминает женщину. Я растягиваю эти мгновения как могу. Но наступает день со своей весомой реальностью: надо передать сообщения, надо установить новые связи. Я слышу скрип паркета, я вижу, прикрыв глаза, как Лила одевается, ходит по дому, спускается в кухню, зажигает огонь и ставит греть воду, и я смеюсь при мысли, что эта девушка, которая никогда не делала ничего подобного, так быстро научилась хозяйничать.

Дядя ворчал:

— Ещё двое безумцев живут только памятью, как ты: де Голль в Лондоне и Дюпра в "Прелестном уголке".

Он смеялся:

— Интересно, кто из них двоих победит.

Глава XXX

"Прелестный уголок" процветал по-прежнему, но местные жители начинали косо посматривать на Марселена Дюпра: его упрекали в том, что он слишком хорошо обслуживает оккупантов, — что касается моих товарищей, они питали к нему неприкрытую ненависть. Я знал его лучше и защищал его, когда друзья называли его подхалимом и коллаборационистом. В действительности в начале оккупации, когда высшее немецкое офицерство и вся парижская элита уже толпились на

"галереях" и в "ротонде", Дюпра сделал свой выбор. Его ресторан должен оставаться тем, чем он был всегда, — одной из подлинных ценностей Франции; и он, Марселен Дюпра, каждый день будет доказывать врагу, что его нельзя победить. Но поскольку немцы чувствовали себя при этом очень хорошо и оказывали ему покровительство, его позицию понимали неверно и строго осуждали. Я сам присутствовал при перепалке в "Улитке": Дюпра зашёл туда купить зажигалку, и господин Мазье, нотариус, набросился на него, заявив прямо:

— Ты бы постыдился, Дюпра. Вся Франция лопает брюкву, а ты кормишь немцев трюфелями и паштетом из гусиной печёнки. Знаешь, как у нас называют меню "Прелестного уголка"? "Меню позора".

Дюпра весь напрягся. В его внешности всегда было что-то воинственное — в лице, которое мгновенно становилось жёстким, в сжатых губах под короткими седыми усами и голубовато-стальных глазах.

— Я на тебя плевать хотел, Мазье. Если вы слишком глупы, чтобы понять, что я стараюсь сделать, тогда Франция действительно пропала.

— И что же ты такое делаешь, сволочь ты этакая? Никто ещё не слышал от нотариуса таких слов.

— Стою на посту, — проворчал Дюпра.

— На каком посту? На посту у пирога "Сен-Жак" с кервелем? На посту у супа с омарами и овощами? У тюрбо и фондю с луком? У жареной рыбы с тимьяновым соусом? Французская молодёжь гниёт в концлагерях, если только её не расстреливают, а ты… Рыбное суфле в масле с душистыми травами! Салат из раковых шеек! В прошлый четверг ты подавал оккупантам тюрбо из омара и телячье жаркое, рулет

из даров моря с трюфелями и фисташками, суфле из печени с брусникой…

Он вынул платок и вытер губы. Видно, слюнки потекли.

Дюпра молчал добрую минуту. У прилавка были люди: Жант из дорожного ведомства, хозяин по имени Дюма и один из братьев Лубро, которого через несколько недель арестовали.

— Слушай меня внимательно, идиот, — сказал наконец Дюпра глухим голосом. — Наши политики нас предали, наши генералы оказались рохлями, но те, кто несёт ответственность за великую французскую кухню, будут защищать её до конца. А что касается будущего… —Он испепелил их взглядом. — Войну выиграет не Германия, не Америка и не Англия! Не Черчилль, не Рузвельт и не тот, как его, который говорит с нами из Лондона! Войну выиграет Дюпра и его "Прелестный уголок", Пик в Валансе, Пуэн во Вьене, Дюмен в Сольё! Вот что я должен вам сказать, идиоты!

Никогда ещё я не видал на четырёх французских физиономиях выражения такого изумления. Дюпра швырнул несколько мелких монет на прилавок торговца табаком и положил зажигалку в карман. Он ещё раз смерил всех взглядом и вышел.

Когда я рассказал об этом происшествии, Амбруаз Флери кивнул в знак того, что он понял:

— Он тоже обезумел от горя.

В тот же вечер фургончик "Прелестного уголка" остановился перед нашим домом. Дюпра приехал искать поддержки у своего лучшего друга. Сначала оба не сказали ни слова и серьёзно принялись за кальвадос. Передо мной сидел совсем не тот человек, которого я видел

несколько часов назад в "Улитке". У Марселена было бледное, искажённое лицо, от его решительного вида не осталось и следа.

— Знаешь, что мне сказал на днях один из этих господ? Он встал из-за стола и заявил, улыбаясь: "Герр Дюпра, силами немецкой армии и французской кухни мы вместе завоюем Европу! Европу, которой Германия даст силу, а Франция — вкус! Вы дадите новой Европе то, чего она ждёт от Франции, и мы сделаем так, что вся Франция станет одним большим "Прелестным уголком"!" И он добавил: "Знаете, что сделала немецкая армия, когда дошла до линии Мажино? Она двинулась дальше! А знаете, что она сделала, дойдя до "Прелестного уголка"? Она остановилась. Ха-ха-ха!" И он расхохотался.

В первый раз я видел слёзы на глазах Дюпра.

— Ну ладно, Марселен! — мягко сказал дядя. — Я знаю, что после таких слов часто поют отходную, но… мы с ними разделаемся!

Дюпра взял себя в руки. В его глазах снова появился знакомый стальной блеск и даже промелькнула какая-то жестокая ирония.

— Кажется, в Америке и в Англии повторяют: "Францию нельзя узнать!" Ну что ж, пусть приходят в "Прелестный уголок", они её узнают!

— Так-то лучше, — сказал дядя, наполняя его стакан. Оба теперь улыбались.

— Потому что, — сказал Дюпра, — я не из тех, кто стонет: "Не знаю, что нам готовит будущее!" Я-то знаю: в справочнике Мишлена Франция всегда будет!

Дяде пришлось проводить его домой. Думаю, именно в тот день я понял отчаяние, гнев, но также и верность Марселена Дюпра, эту чисто нормандскую смесь ловкости и скрытого огня — огня, о котором он

когда-то говорил мне, что он "отец всех нас". Во всяком случае, когда в марте 1942 года зашла речь о том, чтобы сжечь "Прелестный уголок", где за столом оккупантов толпились самые видные коллаборационисты, я возражал изо всех сил.

На этом собрании нас было пятеро, в том числе господин Пендер: я с ним долго говорил, и он обещал сделать всё возможное, чтобы охладить горячие головы. Присутствовали: Гедар, начинавший работу по размещению подпольных посадочных площадок на западе; Жомбе, агрессивный и нервный, словно он уже предчувствовал свой трагический конец; школьный учитель Сенешаль и прибывший из Парижа для расследования с местными подпольщиками "дела Дюпра" и принятия необходимых решений Вижье. Мы собрались в доме Гедара, на втором этаже, через дорогу от ресторана, который был как раз напротив. Перед гостиницей уже стояли рядами генеральские "мерседесы" и чёрные "ситроены" гестапо и их французских коллег. Жомбе стоял у окна, слегка отодвинув занавеску.

— Больше невозможно терпеть, — повторял он. — Вот уже два года Дюпра подаёт пример раболепия и низости. Этого нельзя выносить. Этот повар из кожи лезет вон, чтобы услужить бошам и предателям.

Он подошёл к столу и открыл "досье" Дюпра. Доказательства пособничества врагу, как тогда говорили.

— Вы только послушайте...

Нам не нужно было слушать. Мы знали "доказательства" наизусть. "Жареный угорь в изумрудном соусе" — подавался послу Гитлера в Париже Отто Абецу и его друзьям. "Фантазия гурмана "Марселен Дюпра" — заказ посла Виши в Париже Фернана де Бринона (его расстреляли в 1945 году). "Пирог со спаржей и раками", "Суфле из печени с брусникой" — заказ самого Лаваля с его когортой из Виши. "Жаркое с овощами "Старая Франция" — подавалось Грюберу и его французским

помощникам из гестапо. И ещё двадцать-тридцать прекраснейших произведений "лучшего мастера Франции", которые только за одну неделю прошлого месяца потребил как победитель новый командующий немецкой армией в Нормандии генерал фон Тиле. Одна только карта вин говорила о желании Дюпра предложить оккупантам всё лучшее, что могла дать земля Франции.

— Нет, вы только послушайте! — рычал Жомбе. — Он мог бы по крайней мере спрятать свои бутылки, сохранить их для союзников, когда они будут здесь! Но нет, он всё выставил, всё выложил, всё продал!От "Шато-Марго" двадцать восьмого года до "Шато-Латур" тридцать четвёртого, даже один "Шато-Икем" двадцать первого!

Сенешаль сидел на кровати, поглаживая своего спаниеля. Высокий белокурый здоровяк. Я стараюсь оживить в памяти, мысленно увидеть хотя бы цвет волос того, от которого через несколько месяцев ничего не осталось.

— Я встретил Дюпра неделю назад, — сказал он. — Он объехал фермы и возвращался — его колымага вся была набита пакетами. У него был фонарь под глазом. "Хулиганы", — сказал он мне. "Слушайте, господин Дюпра, это не хулиганы, и вы это хорошо знаете. Вам не стыдно?" Он стиснул зубы. "И ты тоже, малыш? А я тебя считал хорошим французом". — "А по-вашему, что такое сегодня хороший француз?" — "Я тебе скажу, если ты не знаешь. Но меня это не удивляет. Вы забыли даже свою историю. Сейчас хороший француз — тот, кто хорошо держится". Я остолбенел. Он сидит за рулём своего фургона, бензином его снабжают оккупанты, он везёт лучшие французские продукты немцам и говорит мне о тех, кто "хорошо держится"! "А что такое, по-вашему, хорошо держаться?" — "Это значит не сдаваться, не вешать голову и оставаться верным тому, что создало Францию... Вот! — Он показал мне свои руки. —Мой дед и мой отец работали для великой французской кулинарии, и великая французская кулинария никогда не сдавалась, она не знала поражения и никогда его не узнает, пока жив будет Дюпра, чтобы защищать её от немцев, от американцев, от кого

угодно! Я знаю, что обо мне думают, я слышал достаточно. Что я из кожи вон лезу, чтобы доставить удовольствие немцам. К чёрту. Скажи, разве священник в Нотр-Дам мешает немцам преклонять колена? Через двадцать-тридцать лет Франция увидит, что главное спасли Пик, Дюмен, Дюпра и ещё несколько человек. Однажды вся Франция совершит сюда паломничество, и имена великих кулинаров возвестят в четырёх краях света о величии нашей страны! Однажды, мой мальчик, кто бы ни выиграл войну, Германия, Америка или Россия, эта страна окажется в такой грязи, что, чтобы в чём-то разобраться, останется только справочник Мишлена, и даже этого будет недостаточно! Тогда-то возьмутся за справочники, я тебе говорю!"

Сенешаль замолчал.

— Он в отчаянии, — сказал я. — Не надо забывать, что он из поколения войны четырнадцатого года.

Он улыбнулся мне:

— Он немного похож на твоего дядю с его воздушными змеями.

— Думаю, что ему плевать на всех, — сказал Вижье. — Он весь отдаётся любви к своему ремеслу и смеётся над нами.

Господин Пендер был несколько смущён.

— У Дюпра есть определённое представление о Франции, — пробормотал он.

— Что?! — заревел Жомбе. — И это вы говорите, господин Пендер?

— Успокойтесь, друг мой. Потому что следует всё же рассмотреть одну гипотезу…

Мы ждали.

— А если Дюпра — ясновидящий? — тихо сказал господин Пендер. — Если он видит далеко вперёд? Если он действительно провидит будущее?

— Не понимаю, — проворчал Жомбе.

— Может быть, Дюпра — единственный среди нас, кто ясно видит будущее страны, и когда, предположим, нас убьют, а немцев победят, всё это закончится, может быть, величием… кулинарии. Можно поставить вопрос следующим образом: кто здесь пойдёт на смерть ради того, чтобы Франция стала "Прелестным уголком" Европы?

— Дюпра, — сказал я.

— Из любви или из ненависти? — спросил Гедар.

— Кажется, они достаточно хорошо уживаются вместе, — сказал я. — Кто крепко любит, крепко бьёт и так далее. Думаю, если бы он мог опять очутиться в траншеях четырнадцатого года с винтовкой в руке, он мог бы дать нам понять, что у него на сердце.

— Посмотрите, — сказал Жомбе.

Мы подошли к окну. Четыре лица — три молодых, одно старое. Занавески из тонкой бумажной материи с розовыми и жёлтыми цветочками.

Господа разъезжались из ресторана.

Там были начальник гестапо Грюбер, двое его французских коллег, Марль и Денье, и группа лётчиков, среди которых я узнал Ханса.

— Подложить туда бомбу, — сказал Жомбе. — И сжечь "Прелестный уголок" дотла.

— Такой поступок слишком дорого обойдётся населению, — сказал я.

Я чувствовал себя неуверенно. Я хорошо понимал Марселена Дюпра, его отчаяние, искренность и притворство, его хитрость и подлинное чувство, и понимал его возвышающуюся над всем верность своему призванию. Я не сомневался, что в его бешенстве и унижении бывшего участника войны 14-18 годов французская кулинария стала для него "последним окопом". Это было некое сознательное ослепление, иной взгляд на вещи, позволяющий уцепиться за что-то, чтобы не утонуть. Конечно, я не смешивал храмы с пирогами, но, будучи воспитан среди воздушных змеев "этого безумца Флери", испытывал нежность ко всему, что позволяет человеку отдавать лучшую часть самого себя.

— Знаю, что вам это кажется нелепым, но не забывайте, что три поколения Дюпра до Марселена были кулинарами. Поражение и падение всего, во что он верил, глубоко травмировало его, и он отдался душой и телом тому, что осталось,

— Да, котлетам де-воляй под соусом "педераст", — прорычал Жомбе. — Ты над нами смеёшься, Флери.

У меня был готов план, о котором я уже говорил Сенешалю.

— Вместо того чтобы уничтожать "Прелестный уголок", надо его использовать. Благодаря вину немцы много и очень свободно говорят за столом. Надо поместить в ресторан кого-нибудь, кто знал бы немецкий и передавал нам сведения. Лондону гораздо больше нужна информация, чем шумные действия.

Я доказал также, что население подвергнется репрессиям, и операцию решено было отложить. Но я знал: если не смогу убедить товарищей, что Дюпра может быть вам полезен, рано или поздно "Прелестный уголок" сгорит.

Глава XXXI

Несколько дней я ломал себе голову. Невеста Сенешаля, Сюзанна Дюлак, была филологом, её специальностью был немецкий, но я не знал, как сделать, чтобы Дюпра взял её на работу.

Несколько месяцев назад мне поручили координацию звеньев "цепочки спасения", которая позволяла переправлять сбитых лётчиков союзников в Испанию. Как-то вечером один из братьев Бюи сказал мне, что они прячут у себя на ферме лётчика-истребителя из "Свободной Франции". Бюи скрывали его уже неделю, чтобы "всё немного успокоилось", и, когда немецкие патрули стали реже наведываться к сбитому самолёту, предупредили меня.

Я застал пилота в кухне, за столом перед блюдом рубцов. Его звали Люккези. Черноволосый, кудрявый, с насмешливым лицом, в тёмно-синей форме с эмблемой лотарингского креста и с платком в красный горошек на шее, он держался так непринуждённо, как будто падал с неба всю жизнь.

— Скажите, нет ли здесь хорошей гостиницы, которую я мог бы порекомендовать моим товарищам из эскадрильи? Мы сейчас теряем четыре-пять пилотов в месяц, так что если кто-нибудь приземлится здесь...

Мне придётся прятать лётчика как минимум неделю, прежде чем можно будет переправить его в Испанию. Тут меня и осенило.

На следующий день поздно вечером дядя проводил меня в "Прелестный уголок", Я застал Дюпра в мрачном раздумье; рядом сидел его сын Люсьен. Радио Виши не скупилось на информацию, и было отчего прийти в уныние. Британского торгового флота больше не существует. Африканский корпус подходит к Каиру, итальянская армия оккупирует Грецию...Никогда ещё я не видел, чтобы Марселен Дюпра был так огорчён дурными вестями. Но как только он заговорил, я увидел, что ошибаюсь. Хозяин "Прелестного уголка" просто забыл выключить радио и размышляет о вещах не столь эфемерных.

— Я никогда не включал в своё меню говяжье филе Россини. Рецепт того самого Эскофье. Он был просто шарлатан. Знаешь, что такое говяжье филе Россини? Один обман. Эскофье его выдумал, потому что мясо у него часто было низкого качества и он забивал его вкус паштетом из гусиной печёнки и трюфелями, чтобы обмануть язык. Мы к этому и пришли и в политике, и во всём — к филе Россини. Один обман. Продукт подпорчен, значит, его приправляют ложью и прекрасными фразами. Чем больше слов, чем больше размах, тем больше будь уверен, что суть фальшивая. Я этого Эскофье всегда терпеть не мог. Знаешь, как он называл лягушачьи лапки? "Крылья нимф на заре"...

Два американских авианосца потоплены в Тихом океане... За две прошлые ночи немецкая авиация сбила триста английских бомбардировщиков... У Дюпра остекленели глаза.

— Так дальше продолжаться не может, — говорил он. — Всё превращается в дешёвые трюки. Например, что касается оформления, — пора этому положить конец. То, что на блюде, говорит само за себя. Но мне не удаётся этого доказать. Даже Пуэн отказывается признать, что украшение еды — вещь противоестественная. При оформлении кушанье теряет свою свежесть, первозданность и аромат. Оно должно появляться на блюде прямо с огня. А Ванье осмеливается говорить: "Только в трактирах еду приносят из кухни на тарелках". А где во всём этом вкус? Главное — вкус, который надо поймать в момент

кульминации, когда готовность и аромат достигают высшей точки, надо не упустить это мгновение...

Сотни тысяч пленных на русском фронте... Жестокие репрессии сил правопорядка против предателей и саботажников... За одну ночь двенадцать английских городов стёрты с лица земли...

Внезапно я понял, что Дюпра говорит, чтобы не взорваться, и что он борется по-своему против уныния и отчаяния.

— Привет, Марселен, — сказал дядя. Дюпра встал и выключил приёмник:

— Чего вы от меня хотите в такое время?

— Малыш хочет тебе сказать пару слов. Лично. Мы вышли. Он молча нас выслушал.

— Ничего не поделаешь. Я всей душой с Сопротивлением, я это достаточно доказал, поскольку держусь в невыносимых условиях. Но я не приму у себя лётчика союзников под носом у немцев. Они меня закроют.

Дядя слегка понизил голос:

— Это не просто лётчик, Марселен. Это адъютант генерала де Голля.

Дюпра как будто парализовало. Если когда-нибудь тому, кто твёрдой рукой держал руль "Прелестного уголка" во время шторма, воздвигнут памятник на площади Клери, думаю, его следовало бы изобразить именно таким, с жёстким взглядом и сжатыми челюстями. Кажется, он чувствовал по отношению к главному участнику Сопротивления Франции некоторую ревность.

Он задумался. Я видел, что он колеблется и не может решиться. Дядя не без лукавства наблюдал за ним.

— Это очень мило, — сказал он наконец, — но ваш де Голль в Лондоне, а я здесь. Мне, а не ему приходится каждый день противостоять трудностям.

Он боролся с собой ещё минуту. В тщеславии Марселена было нечто глубокое, не лишённое величия.

— Я не поставлю на карту всё, что мне удалось спасти, ради вашего парня. Это слишком опасно. Рисковать "Прелестным уголком" ради красивого жеста — ну нет! Но я сделаю лучше. Я вам дам меню "Прелестного уголка", чтобы ваш парень передал его де Голлю.

Я остолбенел. В темноте высокая белая фигура Дюпра походила на какой-то призрак мстителя. Дядя Амбруаз на минуту потерял дар речи, но, когда Дюпра удалился на кухню, пробормотал:

— Да, некоторым из нас сейчас несладко, но этот просто взбесился.

Ворчанье английских бомбардировщиков смешалось с огнём зенитных орудий; эти звуки нормандская деревня слышала каждую ночь. Лучи прожекторов рассекали небо и скрещивались у нас над головой. А потом небо продырявила оранжевая вспышка: взорвался подбитый самолёт с бомбами.

Вернулся Дюпра. Он держал в руке меню "Прелестного уголка". Рядом с Бурсьером упало несколько бомб.

— Вот слушайте. Это личное послание де Голлю от Марселена Дюпра… Он повысил голос, чтобы перекричать шум немецких зениток:

— Суп из речных раков со сметаной… Слоёный пирог с трюфелями и белым вином из Грава…

Окунь в томатном соусе…

Он нам прочёл всю карту кушаний, от паштета из гусиной печёнки в желе с перцем и тёплого картофельного салата под белым вином до персиков с мороженым. Бомбардировщики союзников гудели у нас над головой, и у Марселена Дюпра слегка дрожал голос. Иногда он замолкал и сглатывал. Думаю, ему было немного страшно.

Со стороны железной дороги Этрийи земля вздрогнула от взрыва бомб.

Дюпра кончил и вытер лоб. Он протянул мне меню:

— Держи. Отдай его твоему лётчику. Пусть де Голль вспомнит, что это такое. Пусть знает, за что он сражается.

Прожекторы продолжали играть лучами в небе, и колпак первого повара Франции как бы вспыхивал.

— Я не убиваю немцев, — сказал он. — Я их подавляю.

— Тебе просто наплевать на людей, Марселен, — тихо сказал дядя.

— Ах, ты так думаешь? Посмотрим. Посмотрим, за кем будет последнее слово, за де Голлем или за моим "Прелестным уголком".

— Нет ничего дурного в том, чтобы французская кухня победила, если только она не победит за счёт всего остального, — сказал дядя. — Я только что прочёл результаты конкурса — одна газета организовала его, чтобы узнать, что делать с евреями. Первый приз получила молодая

женщина, которая ответила: "Жарить". Должно быть, она хорошая хозяйка и в наше время лишений мечтает о хорошем жарком. Впрочем, не следует осуждать страну за то, что она делает со своими евреями, — во все времена евреев судили за то, что с ними делали.

— К чёрту, — неожиданно сказал Дюпра. — Приводите вашего лётчика. Только не воображайте, что я делаю это, чтобы хорошо выглядеть в будущем. С этой стороны я ничего не опасаюсь. Каждый мало-мальски соображающий немец, который ступает на порог "Прелестного уголка", понимает, что имеет дело с историческим превосходством и непобедимостью. На днях здесь обедал сам Грюбер. И знаете, что он заявил, когда кончил обедать? "Герр Дюпра, вас следовало бы расстрелять".

Мы молча ушли. Когда мы шли по лугу, дядя сказал:

— Во время поражения, когда вся страна рушилась, я думал, что Марселен сойдёт с ума. Люсьен рассказал мне, что когда после падения Парижа он зашёл в кухню, то застал отца на табурете с петлёй на шее. Несколько дней он бредил, бормоча фразы, где утка с нормандскими травами и его знаменитое жибуле со сливками смешивались со словами "Фош", "Верден" и "Гинемер"[30]. Потом он хотел скрыться, а потом заперся в кабинете со своей коллекцией из трёхсот меню, где есть всё, что на памяти нескольких поколений составляло славу "Прелестного уголка". Думаю, он так и не оправился полностью, и именно в тот момент принял решение доказать Германии и нашей стране, что есть французский кулинар, который не сдаётся. Не нам с тобой обвинять его в "безумии".

Глава XXXII

Завтрак лейтенанта Люккези в "Прелестном уголке" был памятным событием. Мы снабдили его новеньким костюмом и безупречными бумагами, хотя с начала оккупации у Дюпра никогда не бывало проверки

документов. Лейтенанта обслуживали за лучшим столом "ротонды", среди старших офицеров вермахта, в числе которых был сам генерал фон Тиле. После завтрака Марселен Дюпра сам проводил Люккези до двери, пожал ему руку и сказал:

— Заходите к нам. Люккези посмотрел на него.

— К сожалению, невозможно выбрать место, где тебя собьют, — сказал он.

С этого дня Дюпра больше ни в чём нам не отказывал. Думаю, не из-за того, что мы как бы "держали его на крючке", или из-за ощущения, что ветер подул в другую сторону и надо наладить отношения с Сопротивлением, а потому, что если слова "священный союз" имели для него какой-то смысл, то, по его мнению, центром такого союза должен был стать "Прелестный уголок". Как сказал дядя, скорее нежно, чем насмешливо, "хотя Марселен и старше де Голля, у него есть все шансы стать его наследником".

Таким образом, Дюпра согласился взять на работу в качестве "очаровательной хозяйки" (его единственным условием было: "только не проститутку") невесту Сенешаля, Сюзанну Дюлак, одну из "наших", красивую молодую брюнетку с весёлыми глазами, которая прекрасно знала немецкий; разумеется, обрывки застольных бесед, которые она подслушивала, интересовали Лондон — там как будто придавали большое значение всему, что происходит в Нормандии; мы получили приказ не пренебрегать никакой информацией. Но вскоре мы получили такой важный источник информации, что вся работа нашей организации перестроилась. Что до меня, мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в себя, так как помимо того, что меня потрясла неожиданность, я до сих пор и представить себе не мог, на что человеческое существо — в данном случае женщина — может пойти при железной решимости бороться и выжить.

Работая у Марселена Дюпра, я всё чаще видел на накладных и счетах имя графини Эстергази — Grafin, как говорили немцы, — к которой мой патрон питал большое уважение: она умела принимать гостей. "Прелестный уголок" полностью обеспечивал "буфет" на её приёмах, что приносило владельцу крупные суммы.

— Это настоящая дама, — объяснял мне Дюпра, разглядывая цифры. — Парижанка из очень хорошей семьи, была замужем за племянником адмирала Хорти, знаешь, венгерского диктатора. Говорят, он ей оставил огромные поместья в Португалии. Я раз был у неё — у неё на рояле фотографии Хорти, Салазара, маршала Петена, все с надписями. Веришь или нет, есть даже карточка самого Гитлера: "Графине Эстергази от её друга Адольфа Гитлера". Я своими глазами видел. Неудивительно, что немцы перед ней лебезят. Когда она вернулась из Португалии после победы — то есть, я хочу сказать, после поражения, — она сначала поселилась в "Оленьей гостинице", но гостиницу забрал немецкий штаб, а ей из уважения оставили особняк в парке. Во всяком случае, у неё собирается почти столько же людей из высшего света, как у меня.

Собаки в "Прелестный уголок" не допускались. В этом отношении Дюпра был непримирим. Даже померанскую овчарку, с которой иногда приходил Грюбер, просили подождать в саду; правда, Дюпра посылал ей в сад вкусный паштет. Однажды, когда я был в конторе, господин Жан вошёл с пекинесом под мышкой:

— Это собачка Эстергази. Она просила передать её тебе, а она сейчас за ней зайдёт.

Я взглянул на пекинеса, и у меня на лбу выступил холодный пот. Это был Чонг, пекинес мадам Жюли Эспинозы. Я попытался взять себя в руки и убедить себя, что тут случайное сходство, но я никогда не мог хитрить с памятью. Я узнавал чёрную мордочку, каждый завиток белой и рыжей шерсти, маленькие рыжие ушки. Собачка подошла ко мне, положила лапки мне на колени и начала повизгивать, виляя хвостиком. Я прошептал:

— Чонг!

Он вскочил мне на колени и облизал мне лицо и руки. Я сидел и гладил его, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Возможно было только одно объяснение. Мадам Жюли выслали, а собачка каким-то образом оказалась у этой Эстергази. Я знал, как почтительно немцы обращаются с животными, и вспомнил одно сообщение в "Ла газетт", где население оповещалось, что "перевозка живой птицы вниз головой со связанными ногами под рамой велосипеда расценивается как пытка и строго воспрещается".

Итак, Чонг нашёл новую хозяйку. Нахлынули воспоминания, воспоминания о "хозяйке", уверенной в поражении и принимающей все меры, чтобы подготовиться к будущему: от подготовки "безупречных" документов и миллионов в фальшивых банковских билетах до портретов Хорти, Салазара и Гитлера, которые так меня интриговали и которые "ещё не были надписаны". Я продолжал потеть от волнения, когда господин Жан открыл дверь и я увидел, что вошла мадам Жюли Эспиноза. По правде говоря, если бы не Чонг, я бы её не узнал. От старой сводни с улицы Лепик осталась только тёмная глубина взгляда, вобравшего, казалось, весь тысячелетний жестокий опыт мира. Обрамлённое седыми волосами лицо имело выражение немного высокомерной холодности; на плечи было небрежно наброшено манто из выдры; на шее — косынка серого шёлка; она обзавелась величественной грудью, пополнела на добрый десяток килограммов и выглядела на столько же лет моложе: потом она мне объяснила, что, используя свои связи, "рассталась с морщинами" в военном госпитале для тяжелообожженных в Берке. К косынке была приколота золотая ящерица, которую я так хорошо знал. Она подождала, пока господин Жан почтительно закроет за ней дверь, достала из сумки сигарету, прикурила от золотой зажигалки и затянулась, глядя на меня. На её губах появился намёк на улыбку, когда она увидела, как я сижу на стуле с разинутым от удивления ртом. Она взяла на руки Чонга и ещё минуту внимательно и почти недоброжелательно смотрела на меня, как бы не

одобряя доверие, которое вынуждена была оказать мне; потом она наклонилась ко мне.

— Дюкро, Сален и Мазюрье под подозрением, — прошептала она,- Грюбер их пока не трогает, потому что хочет выйти на остальных. Скажи им, чтобы на время притихли. И больше никаких собраний в задней комнате "Нормандца", или, во всяком случае, не одни и те же физиономии. Понятно?

Я молчал. У меня был туман перед глазами, и мне вдруг захотелось в уборную.

— Ты запомнишь фамилии? Я кивнул.

— И ты им обо мне ничего не скажешь. Ни слова. Ты меня никогда не видел. Понял?

— Понял, мадам Жю…

— Молчи, дурак. Госпожа Эстергази.

— Да, госпожа Эстер…

— Не Эстер. Эстергази. Эстер в наше время неподходящая фамилия. И поторопись, потому что, если всё раскроется, Грюбер их заберёт перед собранием. У меня там парень, который мне даёт сведения, но этот идиот уже три дня лежит с пневмонией.

Она поправила на плечах манто из выдры, расправила косынку, посмотрела на меня долгим взглядом, раздавила сигарету в пепельнице на моём столе и вышла.

Я весь день пробегал, чтобы предупредить товарищей об опасности. Субабер непременно хотел знать, кто меня предупредил, но я сказал, что прохожий передал мне на улице записку и убежал со всех ног.

Я был настолько потрясён превращением хозяйки с улицы Лепик в эту явившуюся в контору статую командора, что старался не думать об этом и никому не сказал ни слова, даже дяде Амбруазу. В конце концов я решил, что моё "состояние" ухудшилось и у меня была галлюцинация. Но два-три раза в месяц, во время обеда, господин Жан приносил мне собачку графини, и, забирая её, она всегда сообщала мне какие-то сведения, порой такие важные, что мне трудно было притвориться, что эту информацию мне передал незнакомый человек на улице в Клери.

— Послушайте, мадам… в общем, как вы хотите, чтобы я объяснил им, откуда у меня эти сведения?

— Я тебе запрещаю им говорить обо мне. Я не боюсь сдохнуть, но я уверена, что нацисты проиграют войну, а я хочу это видеть.

— Но как вы…

— Моя дочь — секретарша в штабе, в "Оленьей гостинице". Она зажгла сигарету.

— И она любовница полковника Штеккера. Она усмехнулась и погладила Чонга.

— "Оленья гостиница". У всех оленей есть рога. Скажешь твоим, что нашёл эти сведения в конверте на своём столе. Ты не знаешь, откуда они. Скажи им, если хотят по-прежнему получать информацию, то не должны задавать тебе вопросов.

В первый раз я увидел на её лице тень беспокойства, когда она смотрела на меня.

— Я тебе доверилась, Людо. Это всегда большая глупость, но я пошла на риск. Я всегда стояла обеими ногами на земле, но на этот раз… — Она улыбнулась, — Я недавно ходила смотреть на воздушных змеев твоего дяди. Там был один очень красивый, он вырвался у него из рук и улетел. Твой дядя мне сказал, что он уже не вернётся или его подберут всего поломанного и разорванного.

— Погоня за небом, — сказал я.

— Никогда не думала, что со мной так будет, — сказала мадам Жюли Эспиноза, и неожиданно я увидел у неё на глазах слёзы. Может, когда человек видел слишком много чёрного, небо заставляет терять голову.

— Можете мне верить, мадам Эстергази, — сказал я мягко. — Я вас не выдам. Вы ведь мне говорили, что у меня взгляд смертника.

Субабер не верил ни одному слову из этой истории с конвертом. Когда я вручил ему дислокацию всех немецких войск в Нормандии: количество самолётов на каждом участке, места размещения береговых батарей и зенитных орудий, количество немецких дивизий, выведенных из России и продвигающихся на запад, — он был близок к тому, чтобы начать разбор моего дела.

— Откуда это у тебя, скотина?

— Не могу вам сказать. Я поклялся.

Товарищи начинали бросать на меня странные взгляды. Лондон требовал сообщить источник сведений. Я до того ломал себе голову, что по несколько дней не видел Лилу. Мне нужно было во что бы то ни стало найти выход из положения и добиться от той, кого я мысленно называл "еврейкой", разрешения всё объяснить командиру нашей организации. В конце концов я прибег к доводу, которым не мог особенно гордиться, но который мне показался подходящим.

В воскресенье, побывав на мессе, Эстергази пришла обедать в "Прелестный уголок". Около трёх часов графиня вошла ко мне в контору, вынула из сумки записку, бросила осторожный взгляд на дверь и положила бумажку передо мной.

— Выучи это наизусть и сразу сожги.

Это был список "доверенных лиц", то есть осведомителей, которыми гестапо располагало в нашем районе.

Я два раза перечитал фамилии и сжёг бумагу.

— Как вы это достали?

Мадам Жюли сидела передо мной, вся в сером, гладя Чонга.

— Неважно.

— Да объясните же, Господи! Это просто немыслимо. Это взято прямо из гестапо.

— Ладно, я скажу тебе. Арнольд, заместитель Грюбера, гомосексуалист. Он живёт с одним из моих друзей, евреем.

Она потёрлась щекой о мордочку Чонга.

— Только я знаю, что он еврей. Я ему сделала фальшивые арийские документы. Три поколения арийцев. Он ни в чём не может мне отказать.

— Теперь, когда у него хорошие бумаги, он может выдать вас, чтобы избавиться.

— Нет, мой маленький Людо, потому что я сохранила его настоящие документы. В её чёрных глазах было что-то непреклонное, почти непобедимое.

— До свиданья, малыш.

— Подождите. Как вы думаете, что с вами будет, если меня возьмут и расстреляют?

— Ничего. Мне будет очень грустно.

— Вы ошибаетесь, госпожа Эстергази. Если не будет меня, чтобы засвидетельствовать всё, что вы сделали для Сопротивления, с первых же дней освобождения вами займутся. И тогда не будет никого, чтобы защитить вас. Останется только… — Я проглотил слюну и собрал всё своё мужество. — Останется только сводня Жюли Эспиноза, которая была в наилучших отношениях с немцами. Можете быть уверены, тогда будут расстреливать так же быстро, как сейчас. Только я знаю, что вы для нас сделали, и если меня уже не будет…

На секунду её рука застыла на головке Чонга, потом продолжала гладить. Я был испуган собственной дерзостью. Но я увидел на лице "хозяйки" улыбку.

— Ну вот, ты сильно закалился, Людо, — сказала она. — Настоящий мужчина. Но ты прав. У меня есть свидетели в Париже, но, может быть, я не успею обернуться. Ладно, давай. Можешь сказать своим друзьям. И скажи им, чтобы завтра же было письмо с перечислением услуг, которые я им оказала. Я буду хранить его в надёжном месте… там, куда, уважая мой возраст, никто уже не полезет. И скажи своему начальнику… как его?

— Субабер.

— Скажи, что, если кто-то проболтается, я первая это узнаю и успею скрыться, а вы не успеете. Никто из вас. Никто не уцелеет, даже ты. Меня слишком часто в жизни использовали, чтобы я позволила сделать это ещё раз. Пусть твой начальник держит рот на замке, а то я его ему закрою навсегда.

В тот вечер мне понадобился целый час, чтобы всё объяснить Суба. Выслушав меня, он сказал только:

— Да, эта шлюха — чудо.

Впоследствии мне пришлось почти пожалеть, что я прибег к такому средству, чтобы воздействовать на графиню. Я затронул её самое чувствительное место: инстинкт самосохранения.

Забота о том, что с ней будет после ухода немцев, стала её навязчивой идеей: она только что не требовала от меня расписки каждый раз, как передавала мне сведения. Получив удостоверение "Выдающийся участник Сопротивления" с датой и подписью "Геркулес" (скромная боевая кличка, которую избрал себе Субабер), она потребовала ещё одно, для дочери, и третье, также отпечатанное на машинке, с датой и подписью, но где имя владельца не было вписано.

— На случай, если я захочу кого-нибудь спасти, — объяснила она мне.

Скоро мадам Жюли дали в Лондоне зашифрованное имя: Гаранс. Сегодня широко известно, сколько она сделала для подполья, так как она получила орден Сопротивления, но здесь я изменил некоторые имена и детали, чтобы не поставить в неловкое положение ту, которая после войны приобрела такую известность. Она продолжала нас информировать, пока не высадились союзники, и её ни разу не заподозрили и не тронули. До самого конца её связи с оккупантами квалифицировались в наших краях как "постыдные": за несколько дней

до высадки она устроила для немецких офицеров "Оленьей гостиницы" garden-party[31]. Она осмелела до того, что разрешила нам установить приёмник-передатчик в комнате своей горничной, и означенная горничная, Одетта Лонье, только что прошедшая курс обучения в Лондоне, могла, таким образом, спокойно работать в ста пятидесяти метрах от немецкого штаба.

С самого начала у нас была договорённость, что я никогда не буду сам вступать в контакт с графиней.

— Если у меня для вас что-то есть, я приду сюда обедать и оставлю тебе Чонга. Уходя, я его заберу и скажу тебе что надо. Если я захочу, чтобы ты пришёл ко мне, я забуду здесь собачку, и ты мне её принесёшь...

Через несколько месяцев после нашей первой встречи господин Жан вошёл ко мне в кабинет, где Чонг дремал на стуле.

— Эта Эстергази забыла собачонку. Она только что звонила. Она хочет, чтобы ты её принёс.

— Чёрт, — сказал я ради проформы.

Вилла, которую до войны занимала еврейская семья из Парижа, находилась в большом парке "Оленьей гостиницы". Чонгу совсем не понравилась поездка на велосипеде у меня под мышкой, и он всё время вырывался. Мне пришлось немного пройти пешком. Довольно хорошенькая горничная вышла на мой звонок:

— Ах да, мадам его забыла...

Она хотела взять пёсика, но я с мрачным видом упирался:

— Послушайте, я час трясся на велосипеде и...

— Сейчас спрошу.

Через несколько минут она вернулась:

— Мадам просит вас зайти. Она хочет вас поблагодарить.

Графиня Эстергази, в скромном сером платье, которое так шло к её белоснежным волосам, уложенным в пучок, появилась в дверях гостиной в сопровождении молодого немецкого офицера — он с ней прощался. Я его хорошо знал с виду: это был переводчик штаба, часто сопровождавший в "Прелестный уголок" полковника Штеккера.

— До свидания, капитан. И поверьте мне, адмирал Хорти стал регентом не по своей воле. Его популярность, значительная уже в семнадцатом году после битвы при Отранте, так возросла после того, как он разгромил в девятнадцатом году большевистскую революцию Белы Куна, что ему оставалось лишь склониться перед волей народа…

Это был, слово в слово, отрывок из учебника истории, который мадам Жюли пересказывала при мне наизусть в 1940 году, когда готовилась к победе немцев.

— Тем не менее говорят, что у него были династические чаяния, — сказал капитан. — Он сделал своего сына Иштвана вице-регентом…

— Ах, вот ты где. — Она мне улыбнулась. — Бедненький. Я его забыла. Идите сюда, молодой человек, идите сюда…

Офицер поцеловал руку графини и вышел. Я прошёл за ней в гостиную. На рояле стояли знаменитые "надписанные" портреты Хорти и Салазара, которые я видел в "гостинице транзита". На стене на видном месте был портрет маршала Петена. Недоставало только портрета Гитлера, который я тоже видел "подготовленным" на улице Лепик.

— Да, знаю, — сказала мадам Жюли, проследив за моим взглядом. — Но мне от него становилось дурно.

Она выглянула в переднюю, потом закрыла дверь.

— Этот красивый капитан спит со служанкой, — сказала она. — Тем лучше, это может пригодиться. Но я каждые два-три месяца меняю прислугу. Так вернее. А то они всегда слишком много узнают.

Она ещё раз быстро открыла дверь и выглянула. Никого не было.

— Ну ладно. Иди сюда.

Я прошёл за ней в спальню За несколько минут в ней произошла удивительная перемена. В "Прелестном уголке" и когда она только что говорила с немецким офицером, это была светская дама; она держалась очень прямо, с высоко поднятой головой, опираясь на трость. Сейчас она тяжело переваливалась с ноги на ногу, как грузчик под непосильной ношей. Она как будто потолстела на двадцать килограммов и постарела на двадцать лет.

Она подошла к комоду, открыла ящик и вынула флакон духов "Коти":

— На, возьми.

— Духи, мадам Жю…

— Никогда меня так не зови, дурак. Избавься от этой привычки, а то можешь оговориться в неподходящий момент. Это не духи. Это убивает, но действует через сорок восемь часов. Слушай внимательно…

Так мы узнали в июне 1942-го, что новый командующий немецкими войсками в Нормандии генерал фон Тиле собирается дать в "Прелестном

уголке" обед, на котором должны присутствовать сам министр люфтваффе маршал Геринг, группа лучших лётчиков-истребителей, в том числе Гарланд, враг номер один английской авиации, и некоторые из наиболее высокопоставленных генералов.

Нашим первым решением, когда мы узнали день и час геринговского обеда, было нанести решающий удар. Ничего нет проще, чем подлить яду в кушанья. Но всё же это было слишком важное дело, чтобы провести его по собственной инициативе, и мы запросили Лондон. Надо было всё предусмотреть, в том числе эвакуацию Дюпра в Англию на подводной лодке. О подробностях операции "Ахиллесова пята" рассказывалось уже не раз; в частности, в мемуарах Дональда Саймса "Огненные ночи".

Мне поручили убедить Дюпра, и я с опаской приступил к делу. В избранном генералом фон Тиле меню среди других блюд был рулет из даров моря с трюфелями и фисташками. Я изложил наш план — признаюсь, довольно слабым голосом.

Дюпра решительно отказался:

— Яд в моём рулете? Это невозможно.

— Почему?

Он испепелил меня тем голубовато-стальным взглядом, который я так хорошо знал:

— Потому что это будет невкусно.

Он повернулся ко мне спиной. Когда я робко попытался пойти за ним на кухню, он взял меня за плечи и молча вытолкал вон.

К счастью, Лондон послал нам приказ, аннулирующий операцию. Я даже задавал себе вопрос, не сам ли де Голль её отменил, заботясь о престиже "Прелестного уголка".

Глава XXXIII

Я меньше говорил с Лилой, меньше видел её и лучше скрывал от посторонних глаз: таково было правило подполья. Время от времени то один, то другой из нас попадался, потому что слишком рисковал и не умел скрывать свой "смысл жизни". Я держал в памяти столько сотен адресов, которые без конца менялись, столько кодов, сообщений, военных сведений, что теперь Лила занимала в ней меньше места, ей пришлось сжаться и довольствоваться меньшим. До меня с трудом доходил её голос с оттенком упрёка, когда у меня была возможность подумать о ней, а не о завтрашнем дне, встречах, арестах и всегда возможном предательстве.

"Если ты так будешь забывать меня, Людо, всё будет кончено. Всё. Чем больше ты будешь меня забывать, тем больше я буду превращаться в воспоминание".

"Я тебя не забываю. Я тебя прячу, вот и всё. Я не забыл ни тебя, ни Тада, ни Бруно. Ты должна была бы понять. Сейчас не время открывать немцам свой смысл жизни. Они за это расстреливают".

"Ты стал такой уверенный в себе, такой спокойный. Ты часто смеёшься, как будто со мной ничего не может случиться".

"Пока я буду спокоен и уверен, с тобой ничего не случится".

"Как ты можешь знать? А если я умерла?"

Когда я слышу этот коварный шёпот, моё сердце почти останавливается. Но это не голос Лилы. Это только голос усталости и

сомнения. Никогда ещё я не делал таких усилий, чтобы сохранить своё безумие.

Я не пренебрегаю никакими уловками, никакими хитростями. Ночью я встаю, грею воду и наполняю ванну. Там, в своём заснеженном лесу, где такой мороз, что каждое утро под деревьями можно найти тельца замёрзших птиц, они мечтают о горячей ванне.

"Ты действительно думаешь обо всём, Людо".

Она здесь, в тени моих век, она сидит по горло в тёплой воде.

"Тяжело, знаешь. Голод, снег… А я так ненавижу холод! Я себя спрашиваю, сколько ещё мы сможем продержаться. Русские всё отступают. Никто нам не помогает. Мы одни".

"А как Тад?"

"Он командует всеми здешними партизанами. Его имя стало легендарным".

"А Бруно?"

Она улыбается:

"Бедняжка! Ты бы его видел с винтовкой в руке… Несколько месяцев он держался…"

"Чтобы быть рядом с тобой".

"Теперь он в Варшаве, у своего профессора музыки. У него есть рояль".

Я чувствую, как чья-то рука резко трясёт меня за плечо. В дождливом сумраке утра рядом стоит Дядя.

— Вставай, Людо. Около Гуанских болот нашли английский самолёт. На борту никого нет. Лётчики, наверно, бродят в поисках убежища. Надо попытаться их найти.

Ещё месяц, другой. Окружающая действительность становится всё более жестокой, всё более безжалостной: все, кто издавал газету "Кларте"[32], арестованы, никому не удалось спастись. Вот уже несколько недель, как я не видел Лилу; я даже ходил к доктору Гардье, чтобы узнать, нет ли у меня чего с сердцем. Но нет, всё нормально.

Когда я слишком унывал, и у меня не хватало сил, и моё воображение складывало оружие, я отправлялся в Клери к своему старому учителю французского. Он жил в домике с садиком, зажатом между двумя деревьями. Госпожа Пендер готовила чай и подавала нам его в библиотеку. Её муж усаживал меня и долго смотрел на меня поверх пенсне. Он был, наверно, последним человеком, который ещё носил одежду из люстрина. Для письма он ещё пользовался старым пером "сержан", каким писали, когда я был маленьким. Он говорил мне, что в молодости мечтал стать писателем-романистом, но что воображение помогло ему только найти жену. Госпожа Пендер смеялась, поднимала глаза к небу и наполняла чашки. Есть пожилые женщины, в которых при смехе или определённом жесте оживает молодая девушка. Я молчал. Я приходил не разговаривать" а успокоиться; эта пара успокаивала меня своей прочностью: их длительная совместная старость давала мне надежду. В доме было холодно, и господин Пендер сидел за письменным столом, набросив на плечи пальто, в широкополой шляпе и с фланелевым платком на шее; госпожа Пендер носила старомодные платья до щиколоток, её совершенно седые волосы были собраны в пучок. Я жадно наблюдал за ними, как бы видя в них своё будущее. Я мечтал о старости, о том, чтобы на пороге дряхлости быть вместе с Лилой. Всё, что было во мне сомнением, тревогой, почти отчаянием,

успокаивалось при виде этой старой счастливой четы. В эту гавань мне хотелось приплыть.

— Над Амбруазом Флери и его воздушными змеями смеются по-прежнему, — сказал господин Пендер. — Это добрый знак. У смешного есть большое преимущество: это надёжное место, где серьёзное может затаиться и выжить. Удивляюсь, почему гестапо вас не трогает.

— Они уже у нас рылись и ничего не нашли. Господин Пендер улыбнулся:

— Это проблема, которую нацисты никогда не смогут решить. Здесь все их поиски оказываются безрезультатными. Как… твоя подруга?

— Нам многое сбрасывают с парашютом. Приёмники-передатчики нового типа и при них инструктор. И оружие. Только на ферме Гамбье спрятано сто пистолетов, гранаты и зажигательные шашки… Я делаю всё, что могу.

Господин Пендер кивнул мне в знак того, что понимает:

— Я одного только боюсь, Людовик Флери, — вашей… встречи. Может быть, меня уже не будет, и это избавит меня от многих разочарований. Когда вернётся Франция, она будет нуждаться не только во всей силе нашего воображения, но и во многих воображаемых вещах. И эта молодая женщина, которую ты три года так горячо воображаешь, когда ты её найдёшь… Придётся тебе по-прежнему изо всех сил её придумывать. Она наверняка будет совсем другой, чем раньше. Наши бойцы Сопротивления, ожидающие от Франции после освобождения Бог весть какого чуда, часто будут смеяться над мерой своего разочарования; но их собственная мерка…

— Вопрос любви, — сказал я.

Господин Пендер сосал свой пустой мундштук.

— Ничто из того, что не может быть объектом воображения, не заслуживает права на существование — иначе море было бы только солёной водой… Я, например, уже пятьдесят лет не устаю придумывать свою жену. Я даже не дал ей постареть. Все её недостатки я превратил в достоинства. А я в её глазах человек необыкновенный. Она тоже всегда меня придумывала. За пятьдесят лет совместной жизни по-настоящему учишься не видеть друг друга, а выдумывать, каждый день. Конечно, всегда надо принимать вещи такими, какие они есть. Чтобы лучше свернуть им шею. Впрочем, цивилизация — не что иное, как постоянное свёртывание шеи вещам, какие они есть…

Через год господина Пендера арестовали, и он не вернулся из концлагеря; не вернулась и его жена, хотя в концлагерь не попала. Я часто навещаю их в их домике, и они по-прежнему весело меня принимают, хотя их будто бы давно уже нет.

Глава XXXIV

Принимая участие в подпольной борьбе, чтобы ускорить возвращение Лилы, я обеспечивал связь между товарищами; кроме того, вместе с Андре Кайе и Лариньером отвечал за нормандское звено "цепочки спасения", которая прятала и переправляла в Испанию сбитых лётчиков союзников — тех, кого наши подбирали раньше немцев. Только за февраль-март 1942-го мы смогли переправить пятерых из девяти пилотов, которым удалось посадить самолёт или выброситься с парашютом. В конце марта Кайе сообщил, что на ферме Рие прячут лётчика-истребителя, — место хорошее, но семья Рие начала беспокоиться, особенно старуха, ей восемьдесят лет, и она боится за своих. Мы пустились в путь на заре; стоял туман. Влажная земля липла к нашим башмакам; надо было пройти двадцать километров да ещё обходить дороги и немецкие посты. Мы шли молча, и только когда были уже возле фермы, Кайе объявил:

— Слушай, я забыл тебе сказать... — Он бросил на меня искоса дружеский и немного лукавый взгляд. — Может, это тебе будет интересно. Этот лётчик — поляк.

Я знал, что в британских военно-воздушных силах много польских лётчиков, но участникам Сопротивления такой попадался в первый раз. Тад, подумал я. Глупая мысль: согласно тому, что носит столь трагическое порой название "подсчёт вероятностей", не было никакой вероятности, чтобы это был он. Надежда часто шутит с нами подобным образом, но, в конце концов, только такими шутками и живёшь. Моё сердце страшно забилось; я остановился и устремил на Андре Кайе умоляющий взгляд, как если бы всё зависело от него.

— В чём дело?

— Это он, — сказал я.

— Кто он?

Я не ответил. В лесу, за километр от фермы, был сарай, где Рие держали дрова; метрах в ста от сарая мы выкопали подземный ход: он вёл к тайнику, где хранилось оружие; там прятались также товарищи, чья жизнь находилась под угрозой, и лётчики, которых удавалось спасти. Снаружи вход был замаскирован кучей хвороста. Мы отгребли поленья и ветки и, приподняв заслон, спустились в двадцатиметровый ход, который вёл к тайнику. Было очень темно; я зажёг фонарик; лётчик спал на матрасе, под одеялом; я видел только нашивку "Poland"[33] на рукаве его серого мундира и его волосы. Этого мне было достаточно, но сама мысль показалась такой невероятной, такой дикой, что я бросился к спящему и, отогнув одеяло, поднёс фонарик к его лицу.

Я стоял, склонившись над ним, держа конец одеяла и думая, что моя проклятая память снова воскрешает прошлое.

Но это не было иллюзией.

Бруно, нежный Бруно, такой неловкий, всегда погруженный в свои музыкальные фантазии, был здесь, передо мной, в форме английского лётчика.

Я был не в силах шевельнуть пальцем. Кайе толкнул его, чтобы разбудить.

Бруно медленно встал. В темноте он не узнал меня. Только когда я осветил своё лицо фонариком, он прошептал:

— Людо!

Он обнял меня. Я не мог даже ответить на его объятие. Надежда сжала мне горло. Если Бруно удалось добраться до Англии, значит, Лила тоже там. Наконец я спросил, со страхом в голосе, потому что рисковал узнать правду:

— Где Лила?

Он покачал головой:

— Не знаю, Людо. Не знаю.

В его глазах было столько жалости и нежности, что я схватил его за плечи и встряхнул:

— Говори правду! Что с ней стало? Не старайся пощадить меня.

— Успокойся. Я не знаю, ничего не знаю. Я уехал из Польши через несколько дней после твоего отъезда" чтобы участвовать в музыкальном конкурсе в Англии. В Эдинбурге. Может быть, помнишь...

— Я всё помню.

— Я приехал в Англию за две недели до войны. С тех пор я делал всё возможное, чтобы что-то узнать… Как и ты, конечно… Мне ничего не удалось.

Ему трудно было говорить, и он опустил голову.

— Но я знаю, что она жива… Что она вернётся. Ты тоже, правда?

— Да, она вернётся.

Он в первый раз улыбнулся:

— Впрочем, она нас никогда не покидала…

— Никогда.

Он держал правую руку на моём плече, и я понемногу успокаивался от этого братского прикосновения. Я увидел ленточки наград на его груди.

— Ну и ну!

— Что ты хочешь, иногда несчастье меняет человека. Даже мирный мечтатель может стать человеком действия. С начала войны я пошёл в английскую авиацию. Я стал лётчиком-истребителем.

Он поколебался и сказал немного застенчиво, как о чём-то нескромном:

— На моём счету семь сбитых самолётов. Да, старина Людо, время музыки прошло.

— Оно вернётся.

— Не для меня.

Он снял руку с моего плеча и поднял её. У него был протез: не хватало двух пальцев. Он посмотрел на протез улыбаясь.

— Ещё одна мечта Лилы улетучивается, — сказал он. — Помнишь? Новый Горовиц, новый Рубинштейн…

— И ты с этим можешь летать?

— Да, вполне. Я с этим одержал четыре победы… Что до того, знаю ли я, что мне делать со своей жизнью потом… Это другой вопрос. Но война ещё не скоро кончится, так что этот вопрос, может быть, и не встанет.

Мы два дня провели вместе. Вооружившись превосходными немецкими документами, которые нам достала дочь госпожи Эстергази, мы могли пойти на небольшой риск, так что мы пообедали в "Прелестном уголке". Выражение лица Дюпра, когда он увидел перед собой "юного гения", как раньше называли Бруно, доставило мне величайшее наслаждение, незапланированное в меню хозяина. Здесь были и изумление, и радость, и страх, с которым он косился в сторону немецких офицеров и начальника полиции Эвре, сидящих в "ротонде".

— А, это вы! — вот всё, что он сказал.

— У командира эскадрильи Броницкого на счету семь побед, — сказал я, не слишком понижая голос.

— Заткнись, идиот, — проскрипел Дюпра, пытаясь улыбаться.

— Он возвращается в Англию, чтобы продолжать борьбу, — добавил я громче. Не знаю, улыбался ли храбрый Марселен или показывал зубы.

— Не стойте тут, ради Бога. Пойдёмте.

Он увёл нас на "левый борт", как он говорил, и усадил за самый укромный столик в зале.

— Все Флери ненормальные, — проворчал он.

— Если бы не безумие, господин Дюпра, Франция давно бы сдалась. И вы первый.

Мы больше не говорили о Лиле. Она была здесь, рядом; мы так ощущали её присутствие, что говорить о ней — значило бы отдалить её от себя. Бруно говорил, как он восхищается Англией. Он рассказывал о жизни народа, который шёл к победе, потому что в 1940-м не захотел понять, что война проиграна.

— Они сохранили свою приветливость и хорошее настроение. Ни малейшей вражды к нам, иностранцам, не упускающим случая переспать с сёстрами и жёнами английских солдат, которые сражаются за морем. А как французы?

— Приходят в себя. На нас это навалилось неожиданно, так что понадобилось время. Два раза к нам подходил Марселен Дюпра с видом одновременно обеспокоенным и виноватым.

Мы ели пулярку под соусом "Флеретт".

— Видите, я держусь, — сказал он Бруно.

— Очень вкусно. Так же вкусно, как и раньше. Браво.

— Вы им там скажите. Они могут приходить. Их хорошо примут.

— Я скажу им.

— Но уходите скорей...

Может быть, он хотел сказать "приходите скорей". Следовало всё же допустить такую возможность.

Во второй раз, осторожно оглядевшись, он спросил у Бруно:

— А ваша семья? У вас есть известия?

— Нет.

Дюпра вздохнул и удалился.

После обеда мы спокойно отправились в Ла-Мотт. Дядя стоял у фермы и курил трубку. Он не удивился, узнав Бруно.

— Что ж, на свете всё возможно, — сказал он. — Это доказывает, что иногда последнее слово остаётся за мечтателями и мечты не всегда рушатся.

Я сказал ему, что Бруно стал в Англии лётчиком, что он сбил семь самолётов противника и дней через десять снова будет драться. Пожимая ему руку, дядя, видно, почувствовал два стальных пальца протеза: он бросил на Бруно быстрый грустный взгляд. Потом его одолел приступ кашля, от которого на глазах выступили слёзы.

— Слишком много курю, — проворчал он.

Бруно захотел посмотреть "ньямов", и дядя провёл его в мастерскую, где дети возились с бумагой и банками клея.

— Вы их всех уже видели, — сказал Амбруаз Флери. — Я сейчас не делаю новых, я держусь за старых. В наше время нам меньше нужны новинки, чем воспоминания. И потом, их нельзя запускать. Немцы не дают им достаточно высоты. Сначала они ограничили высоту до тридцати, потом до пятнадцати метров, а сейчас они только что не требуют, чтобы мои воздушные змеи ползали. Боятся, что они могут служить для ориентировки лётчикам союзников, а может, им кажется, что это какие-то шифрованные послания подпольщикам. В общем-то, они не так уж не правы.

Он ещё долго смущённо кашлял, и Бруно поспешил ответить на его невысказанный вопрос:

— К сожалению, у меня нет вестей о семье. Но я не беспокоюсь за Лилу. Она вернётся.

— Мы все здесь в этом уверены, — сказал дядя, бросив взгляд на меня.

Мы пробыли в Ла-Мотт ещё час, и опекун попросил Бруно связаться с его другом лордом Хау: пусть Бруно от имени Амбруаза Флери выразит дружеские чувства и благодарность членам общества "Воздушные змеи Англии"; местное отделение в Клери шлёт им братский привет.

— Удивительно, как в сороковом они выстояли одни.

Потом он произнёс немного смешную фразу, мне странно было слышать её от такого скромного человека.

— Я счастлив, что смог принести пользу, — сказал он.

В тот же вечер Бруно был на пути в Испанию, а через две недели мы получили "зашифрованное сообщение" Би-би-си, подтверждающее его прибытие в Англию: "Виртуоз снова за роялем".

Я был глубоко взволнован нашей встречей. Это как бы предвещало конец неестественного положения вещей, внушало надежду на возвращение другого человека. Я усматривал в этом вызове теории вероятности Божью благосклонность. Не будучи верующим, я часто думал о Боге, потому что теперь человек более, чем всегда, нуждался в самых своих прекрасных творениях. Я уже говорил, как бы оправдываясь, что, занимаясь работой, чтобы ускорить возвращение Лилы, я всё меньше ощущал её физическое присутствие рядом с собой, и в этом я тоже видел добрый знак: так было, когда она перестала писать мне из Гродека, так как мы обязательно должны были встретиться. Я жил в предчувствии этой встречи. Мне казалось, что вот-вот дверь откроется и... Но это было пустое шаманство, и изменилось только моё отношение к дверям. Так как я теперь почти верил, что она жива, я больше не выдумывал её, ограничиваясь воспоминаниями. Я вспоминал наши прогулки на берегу Балтийского моря, когда Лила "мечтала о себе" с такой досадой и с таким пылом.

"Для меня единственная возможность — написать гениальное произведение. До сих пор женщине не было дано написать "Войну и мир". Может быть, это то, что я должна сделать..."

"Толстой это уже написал".

"Хватит, Людо! Каждый раз, как я пытаюсь что-то сделать из своей жизни, ты мне мешаешь. К чёрту!"

"Лила, я уж вовсе не собираюсь стать первой женщиной Толстым, но..."

"Ну, теперь сарказм! Только этого нам недоставало!"

Я смеялся. Я был почти счастлив. Я черпал в своей памяти силу, которая, как говорил Амбруаз Флери, "была нужна французам, чтобы каждое утро вставало солнце".

Глава XXXV

Количество диверсий возрастало, и немцам всюду начали мерещиться "вражеские агенты" — это походило на шпиономанию, захватившую в 39-40-х годах французов. Оккупанты проявляли большую жестокость, и даже у Дюпра случались неприятности. Тем не менее Грюбер, начальник гестапо в Нормандии, был частым гостем в "Прелестном уголке". Думаю, что его больше всего интересовали отношения между высшим офицерством вермахта и французскими деятелями.

Грюбер был плотный, белесый, с волосами, подстриженными на уровне ушей, и мертвенно-бледным лицом. Мне приходилось наблюдать за ним, когда он дегустировал самые изысканные блюда, и меня поражало, что он делал это с выражением одновременно внимательным и презрительным. Между тем глаза других немцев, таких как генерал фон Тиле и Отто Абец, людей высокой культуры, выражали восхищение, смешанное с глубоким удовлетворением, как если бы, завоевав Францию, они садились за наш стол, чтобы вкусить её во всей её несравненной неповторимости. Думаю, что для многих немцев, как вчера, так и сегодня, Франция была и есть место наслаждений. Так что я привык к гамме выражений, с которыми победители кушали хотя бы простого петуха в вине или рагу по-герцогски. О чём они думали в действительности, я не знал. Возможно, это был символический обряд, мало отличавшийся от обычая великих цивилизаций прошлого, например у инков или ацтеков, когда победитель вырывал у побеждённого сердце и съедал его, чтобы завладеть душой и разумом убитого. Но Грюбер жевал с выражением, сильно отличавшимся от того, какое я обычно наблюдал. Как я уже говорил, здесь было подозрительное, немного презрительное и, во всяком случае, сардоническое внимание человека,

на которого не так легко произвести впечатление. Люсьен Дюпра нашёл нужное слово:

— Погляди на него. Он расследует. Он хочет знать, как это делается.

Именно так. Думаю, многие немцы, которые находились во Франции во время оккупации, также спрашивали себя, "как это делается".

Трудно было понять, чем "Прелестный уголок" мог привлекать такого невежественного человека, как Грюбер. Словцо Дюпра "он чует врага", по моему мнению, не подходило к примитивному характеру этого индивидуума, тем более что Грюбер часто называл заведение "местом растления".

Марселен Дюпра не старался его ублажить, хотя и доставал для "Прелестного уголка" продукты вопреки всем действующим ограничениям. Он знал, что его поддерживают в высших сферах, и известно, что в начале оккупации немцы старались сохранить французскую элиту и привлечь её на свою сторону. Для Дюпра эта политика объяснялась просто: вожди великого рейха намеревались "сотворить Европу" и стремились показать, что в этой Европе Франция будет занимать место, принадлежащее ей по праву. Но даже если предположить, что у Грюбера были строгие указания относительно заведения Дюпра, которые ему приходилось выполнять против воли, трудно было объяснить его обиженный и почти ненавидящий вид, когда он ел рулет из устриц, — как будто блюдо бросало вызов его нацистской вере.

Во всяком случае, никто не ожидал того, что он сделал, несмотря на все приказы, касающиеся "лиц, склонных к сотрудничеству": 2 марта 1942 года он арестовал Марселена Дюпра.

Восемь дней ресторан не работал, и дело приняло такие размеры, что Абец посылал возмущённые телеграммы в Берлин; после войны их нашли; одну из них цитирует Штернер:

"Имеется ведь приказ самого фюрера относиться с уважением к историческим центрам Франции".

Вернувшись после недели тюремного заключения, Дюпра был взбешён, но горд ("я не сдаюсь"); однако он отказался рассказать нам, почему Грюбер его допрашивал и посадил в тюрьму. В Клери думали, что из-за чёрного рынка и из-за того, что Марселен не захотел давать взятки по повышенному тарифу. Кроме того, Дюпра находился под покровительством фон Тиле, а в то время отношения между нацистами и "высшей кастой" вермахта быстро портились. Что до меня, я был уверен, что Грюбер хотел напомнить и тем и другим, кто настоящий хозяин "Прелестного уголка".

У дяди было как будто другое представление о случившемся. Я так и не узнал, умышленно или нет он сыграл шутку с Марселеном, но смеяться он очень любил. Возможно, он просто выпил лишний стаканчик с друзьями, когда заявил за стойкой "Улитки":

— Марселена допрашивали день и ночь. Он выдержал.

— Но что они хотели узнать? — спросил хозяин, господин Менье. Дядя разгладил усы.

— Рецепт, чёрт подери, — сказал он.

Наступило молчание. Кроме хозяина, там были наш сосед Гастон Кайе и ещё Антуан Вай — имя его сына сейчас на памятнике погибшим.

— Какой рецепт? — спросил наконец господин Менье.

— Рецепт, — повторил дядя. — Боши хотели знать, как это делается: кролик по-фермерски в малиновом соусе, белое мясо "Шартрский собор" — в общем, всё меню. И что же — этот чёртов Марселен отказался говорить. Они подвергли его самым страшным пыткам, в ванне и всё такое, но он хорошо держался. Он не выдал даже рецепта своей похлёбки с тремя соусами. Вот, ребята, есть такие, кто начинает говорить, как только станет чуточку больно, но нашего Марселена едва не убили, а он всё-таки молчал.

Трое стариков помирали со смеху. Дяде даже не пришлось им подмигивать.

— Я был уверен, что наш национальный Марселен будет молчать, — сказал папаша Кайе. —Рецепты "Прелестного уголка" — вещь священная. Да, но всё-таки это здорово, чёрт возьми.

— Мы очень взволнованы, — сказал Вай. Хозяин наполнил их стаканы.

— Надо всем рассказать, — прошептал дядя.

— Ещё бы! — завопил Вай. — Надо, чтобы внуки рассказывали об этом правнукам, и так далее.

— Вот-вот, и так далее, — одобрил Кайе. — Мы обязаны — ради Марселена,

— Что надо, то надо, — заключил дядя.

Как вы, может быть, помните, история о великом французском кулинаре, который не выдал своих рецептов немцам даже под пыткой, была напечатана в сентябре 1945 года в американской военной газете "Stars and Stripes"[34]. В Америке она получила широкий отклик. Когда об этом спрашивали самого Марселена Дюпра, он пожимал плечами:

"Люди болтают невесть что. Правда то, что для нацистов я был тем, чего они не выносят: непобедимой Францией, которая снова побеждает. Вот и всё. Тогда они решили мне отомстить. Что до всего остального… Говорю вам, люди болтают невесть что".

— Ты слишком скромен, Марселен, — говорил дядя.

Мне пришлось присутствовать при рождении "легенды", когда Дюпра сердился и отрицал "все эти россказни". Дядя обнимал его за плечи и говорил серьёзно:

— Ладно, ладно, Марселен. Есть вещи, которые важнее нас. Немного смирения. "Прелестный уголок" пережил страшные годы и должен начать жизнь сначала. Марселен Дюпра ещё некоторое время ворчал, потом махнул рукой.

Глава XXXVI

27 марта 1942 года погода стояла холодная и пасмурная. Мне надо было переправить в Веррьер, что в десяти километрах от Клери, два новых приёмника типа АМК-11 и некоторое количество "редкостей": "козьего помета" со взрывателями замедленного действия и зажигательных "сигарет". Всё это я спрятал под соломой и досками; я забрал снаряжение у Бюи; доктор Гардье одолжил мне свою повозку, и конь Клементин бежал бодро; для виду я положил на солому несколько воздушных змеев: отношение к мастерской Амбруаза Флери пока ещё было благосклонное, она даже значилась в списке "поощряемых видов деятельности" комиссариата по работе с молодёжью, как нам сообщил сам мэр Клери.

Я ехал по дороге мимо "Гусиной усадьбы"; доехав до входа, я увидел, что ворота широко распахнуты. У меня были к усадьбе довольно странные чувства владельца или, точнее, "хранителя памяти". Зная, что ничего не могу поделать, я всё же не терпел непрошенных гостей. Я

остановил Клементина, слёз и пошёл по главной аллее. Надо было пройти метров сто. Я был в двадцати шагах от бассейна, когда заметил, что на каменной скамье справа, под голыми каштанами, сидит человек. Он опустил голову и спрятал нос в меховой воротник пальто; в руке он держал трость и чертил что-то ею на земле. Это был Стас Броницкий. Я не ощутил никакого волнения, у меня не забилось сердце — я всегда знал, что жизнь не лишена смысла и делает всё от неё зависящее, даже если и ошибается норой. Они вернулись. Броницкий как будто не видел меня. Он смотрел себе под ноги. Концом трости он вывел несколько цифр и накрыл одну из них сухим листом каштана.

Возле развалин усадьбы стоял "мерседес" фон Тиле. Сквозь веранду и наполовину развалившуюся лестницу проросли кусты; крыша и чердак исчезли. Верхние этажи сгорели, сохранилась лишь нижняя часть фасада у входа, почерневшая от огня, с пустыми окнами. Огонь не тронул только комнаты первого этажа. Дверь была сорвана с петель каким-то охотником за дровами на зиму.

Я услышал в доме смех Лилы.

Я застыл с поднятыми глазами. Сначала я увидел, как вышли Ханс и генерал фон Тиле; ещё мгновение, и я увидел Лилу. Я сделал один-два шага, и она меня заметила. Казалось, она не удивилась. Я стоял неподвижно. В её появлении было что-то такое простое и естественное, что я и сейчас не знаю, объяснялось ли моё спокойствие сильнейшим шоком, лишившим меня способности чувствовать. Я снял кепку, как слуга.

На Лиле была белая дублёная куртка и берет; под мышкой она держала несколько книг. Она спустилась по ступенькам, подошла ко мне и, улыбаясь, протянула затянутую в перчатку

— А, Людо, здравствуй. Рада тебя видеть. Я как раз собиралась тебя навестить. Как твои дела, хорошо?

Я онемел. Теперь во мне поднималось изумление" переходившее в ужас и панику.

— Хорошо, А ты как?

— Знаешь, со всеми этими ужасами, со всем, что происходит, могу сказать, что нам повезло. Только вот отец… В общем, это болезнь, и считают, что она пройдёт. Извини, что я ещё не была в Ла-Мотт, но уверяю тебя, я об этом думала.

—Да?

Всё было так вежливо, так по-светски, что казалось, я вижу кошмарный сон.

— Я приехала посмотреть, что уцелело, — сказала она. Думаю, она имела в виду усадьбу.

— Почти всё сгорело, но, видишь, мне удалось найти несколько книг. Пруст, Малларме, Валери". Мало что осталось.

—Да.

Я пробормотал:

— Но всё ещё вернётся. Она рассмеялась:

— А ты не изменился. По-прежнему немножко странный.

— Ты знаешь, я страдаю от избытка памяти.

У неё стал раздосадованный, немного смущённый вид, но она быстро взяла себя в руки, и выражение её глаз смягчилось.

— Я знаю. Не надо. Конечно, после стольких… несчастий прошлое кажется тем счастливее, чем оно дальше.

— Да, правда. А… Тад?

— Остался в Польше. Не захотел уехать. Он в Сопротивлении. Фон Тиле и Ханс были в двух шагах и слышали нас.

— Я всегда знала, что Тад будет делать что-то великое, — сказала Лила. — Впрочем, мы все так думали. Он один из тех, кто когда-нибудь будет вершить судьбу Польши… То есть того, что от неё останется.

Фон Тиле скромно отвернулся.

— Ты немного думал обо мне, Людо? —Да.

Её взгляд затерялся где-то в вершинах деревьев.

— Другой мир, — сказала она. — Как будто века прошли. Ну, я не буду больше задерживать моих друзей. Как твой дядя?

— Он продолжает.

— По-прежнему воздушные змеи?

— По-прежнему. Но теперь он не имеет права запускать их очень высоко.

— Поцелуй его от меня. Ну, до скорой встречи, Людо. Я обязательно зайду к тебе. Нам столько надо сказать друг другу. Тебя не мобилизовали?

— Нет, Меня освободили по болезни. Кажется, я немножко сумасшедший. Это наследственное.

Она дотронулась до моей руки кончиками пальцев и пошла к машине, чтобы помочь отцу сесть. Она села между ним и генералом фон Тиле. Ханс сел за руль.

Я слышал хохот ворон.

Лила махнула мне рукой. Я ответил. "Мерседес" исчез в конце аллеи.

Я долго стоял, пытаясь прийти в себя. Ощущение, что меня нет ни здесь, ни там, нет нигде; потом медленное наступление отчаяния. Я боролся с ним. Я не хотел изменять себе. Отчаяние — всегда поражение.

Остолбенев, не в силах пошевелиться, я стоял с кепкой в руке, и, по мере того как проходили минуты, ощущение нереальности сгущалось у этих развалин, в призрачном парке с белыми от инея деревьями, где всё было неподвижным и мертвенным.

Этого не может быть. Невозможно. Воображение сыграло со мной злую шутку, оно подвергло меня пытке, чтобы отомстить за всё, чего я от него требовал целые годы. Ещё одно видение, один из тех снов наяву, которым я так легко отдавался, и оно посмеялось надо мной. Оно не могло быть Лилой, это видение, такое светское, такое безразличное и такое далёкое от той, кто почти четыре года так активно жила в моей памяти. Непринуждённость тона, сама вежливость, с какой она говорила, отсутствие всякого намёка на наше прошлое в холодноватой голубизне глаз… — нет, ничего этого не было, моя болезнь усилилась из-за одиночества, и теперь я расплачиваюсь за то, что слишком потакал своему "безумию". Это просто страшная галлюцинация из-за нервного истощения и временного упадка духа.

Мне удалось наконец выйти из транса и направиться к воротам.

Едва я сделал несколько шагов, как увидел скамью, где только что видел, как мне казалось, Стаса Броницкого, рисующего на земле концом трости числа воображаемой рулетки.

Я еле решился опустить глаза, посмотреть и убедиться.

Цифры были здесь, и на цифре семь лежал сухой лист.

Едва понимая, что делаю, я доставил свой груз в Веррьер и вернулся домой. Дядя был в кухне. Он немного выпил. Он сидел у огня, гладя кота Гримо, который спал у него на коленях. Мне трудно было говорить:

— … С тех пор, как её нет, она ни на минуту не покидала меня, а теперь, когда она вернулась, она совсем другая…

— Чёрт возьми, мальчик. Ты её слишком выдумывал. Четыре года разлуки — слишком большой простор для воображения. Мечта коснулась земли, а от этого всегда происходят поломки. Даже идеи становятся на себя не похожи, когда воплощаются в жизнь. Когда к нам вернётся Франция, увидишь, какие у всех будут физиономии. Будут говорить: это не настоящая Франция, это другая! Немцы слишком заставили работать наше воображение. Когда они уйдут, встреча с Францией будет жестокой. Но что-то мне говорит, что ты снова узнаешь свою малышку. Любовь — вещь гениальная, и у неё есть дар всё переваривать. Что касается тебя, ты думал, что живёшь памятью, но больше всего ты жил воображением.

Он усмехнулся:

— Воображение — неверный подход к женщине, Людо.

В час ночи я стоял у окна с пылающим лицом, ожидая от ночи материнской ласки. Я услышал, что подъехала машина. Долгая пауза; скрип лестницы; у меня за спиной отворилась дверь; я обернулся. Какую-

то секунду дядя стоял один, с лампой в руке, потом он исчез, и я увидел Лилу. Она всхлипывала; казалось, это стонет ночной лес. Её стоны звучали как мольба о прощении за то, что у неё такое горе, такое несчастье. Я бросился к ней, но она отступила:

— Нет, Людо. Не трогай меня. Позже… может быть… позже… Сначала нужно, чтобы ты знал… чтобы ты понял…

Я взял её за руку. Она села на край кровати, съёжившись в своей куртке, смирно сложив руки на коленях. Мы молчали. Слышно было, как скрипят голые ветки деревьев. В её глазах было выражение почти молящего вопроса и нерешительности, как если бы она ещё сомневалась, может ли мне довериться. Я ждал. Я знал, почему она колеблется. Для неё я всё ещё был тот Людо, какого она знала, нормандский деревенский парнишка, который провёл три года войны рядом со своим дядей и его воздушными змеями и мог не понять. Рассказывая мне всё, она без конца будет повторять с тревогой, почти с отчаянием: "Ты понимаешь, Людо? Понимаешь?" — как бы уверенная, что эти признания, эта исповедь — за пределом того, что я могу представить, принять и тем более простить.

Она бросила на меня ещё один умоляющий взгляд, потом начала говорить, и я почувствовал, что говорила она не столько для того, чтобы я знал, сколько для того, чтобы попытаться забыть самой.

Я слушал. Сидел на другом конце кровати и слушал. Я немного дрожал, но должен же я был разделить с ней эту ношу. Она курила сигарету за сигаретой, и я подносил ей огонь.

Керосиновая лампа соединяла на стене две наши тени.

Первого сентября 1939 года немецкий броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" без объявления войны открыл огонь по польскому гарнизону полуострова Гродек. Остальное за несколько дней докончила авиация.

— Мы все попали под бомбёжку… Таду удалось соединиться со своей боевой группой —знаешь, те, что проводили политические собрания, когда ты был у нас…

— Я помню.

— За две недели до этого Бруно уехал в Англию… Нам удалось спрятаться на одной ферме… У отца был шок, мать в истерике… К счастью, я встретила одного немецкого офицера, он был джентльмен…

— Есть и такие.

Она боязливо посмотрела на меня:

— Надо было прежде всего выжить, спасти своих… Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь? Я понимал.

— Связь продолжалась три месяца… Потом его послали в другое место, и…

Она замолчала. Я не спрашивал: а после этого кто? Сколько ещё? Со своей проклятой памятью я не стремился открывать подобный счёт. Надо было прежде всего выжить, спасти своих…

— Если бы Ханс нас не разыскал — нам удалось бежать в Варшаву, — не знаю, что бы с нами стало… Он был на французском фронте и добился перевода в Польшу, только чтобы позаботиться о нас…

— О тебе.

— Он хотел жениться на мне, но нацисты запрещали браки с польками…

— Подумать только, что я мог его убить! — сказал я. — Во-первых, я мог его задушить, когда он набросился на меня у "Старого источника", когда мы были детьми, а потом во время нашей дуэли в Гродеке… Решительно, есть Бог на небесах!

Мне не следовало говорить так саркастически. Я поддался слабости. Она внимательно посмотрела на меня:

— Ты изменился, Людо.

— Прости, дорогая.

— Когда Гитлер напал на Россию, Ханс последовал за генералом фон Тиле на Смоленский фронт… Нам удалось бежать в Румынию… Сначала у нас ещё оставалось немного драгоценностей, но потом…

Она стала любовницей румынского дипломата, потом врача, который её лечил: аборт, едва не стоивший ей жизни…

— Ты понимаешь, Людо? Понимаешь?

Я понимал. Надо было выжить, спасти своих. Она завела себе "друзей" в дипломатических кругах. Её отец и мать ни в чём не нуждались. В общем, в этой истории с "выживанием" она легко отделалась.

— В сорок первом нам наконец удалось получить визы во Францию, благодаря одному человеку в посольстве, с которым я… с которым была знакома… Но у нас не было больше ни гроша и…

Она замолчала.

Я чувствовал, что во мне растёт улыбчивое спокойствие, как будто я знал, что в главном ничего не может с нами случиться. Я бы не сумел объяснить, что понимаю под "главным", и, так как неизвестно, как любят другие, не хотел бы казаться хвастуном. Я мельком подумал о нашем прекрасном "Мореходе", который был так хорош в голубом небе, потом исчез, а затем нашёлся — весь израненный и искалеченный, разбитый и разорванный. Не знаю, затронуло ли во мне страдание древнюю христианскую жилку, но, как я сказал, я точно понял, что именно не имеет значения. К чёрту доброе старое "Всё понять — значит всё простить", которое господин Пендер в классе когда-то предложил нам прокомментировать, — это выражение затаскано по сточным ямам забвения и смирения. Я никогда не проявлял к Лиле "терпимости": легко доказать, что "терпимость" иногда ведёт к нетерпимости, и людей часто завлекали обманом на эту дорожку. Я любил женщину со всеми её несчастьями, вот и всё. Она напряжённо смотрела на меня:

— Я часто хотела дать тебе знать, прийти сюда, но я чувствовала себя такой...

— Виноватой?

Она ничего не сказала.

— Лила, послушай. В наше время виновность ниже пояса — ничто, как, впрочем, и в любое время. Виновность ниже пояса — почти святость по сравнению со всем остальным.

— Как ты изменился, Людо!

— Может быть. Немцы мне очень помогли. Говорят: самое ужасное в фашизме — его бесчеловечность. Да. Но надо признать очевидное: эта бесчеловечность — часть человеческого. Пока люди не признают, что бесчеловечность присуща человеку, они будут жертвами благонамеренной лжи.

Вошёл кот Гримо, задрав хвост, и стал тереться о наши ноги, требуя ласки.

— Первые шесть месяцев в Париже, ты себе представить не можешь... Мы никого не знали... Я работала официанткой в пивной, продавщицей в "Призюник"... У матери были страшные мигрени...

— Ах, мигрени. Это ужасно...

Что до отца Лилы, он, так сказать, потерял зрение. Что-то вроде умственной слепоты. Он закрыл глаза на окружающую действительность.

— Нам с матерью пришлось ухаживать за ним как за ребёнком. Он был другом Томаса Манна, Стефана Цвейга, для него Европа была как несравненный свет... И вот когда этот свет угас и всё, во что он верил, рухнуло, он как бы порвал с действительностью... Полная атрофия чувствительности.

"Дерьмо, — подумал я. — Неплохо устроился".

— Врачи всё перепробовали...

Я чуть не спросил: "Даже пинок под зад?" — но приходилось щадить этот старый аристократический фарфор. Я был уверен, что Броницкий нашёл способ переложить всю ответственность на жену и дочь. Не мог же он позволить себе знать, что делает его дочь, чтобы "выжить, спасти своих". Он защищал свою честь, вот и всё.

— Наконец мне удалось найти работу манекенщицы у Коко Шанель...

— Коко как?

— Шанель. Знаешь, знаменитая портниха…

— Ах да, конечно… "Прелестный уголок"!

— Что?

— Нет, ничего.

— Но я зарабатывала недостаточно, чтобы хватило родителям, и вообще… Молчание. Кот Гримо переходил от одного к другому, удивлённый нашим безразличием.

Молчание заползало в меня, заполняло меня всего. Я ждал этих "Ты понимаешь, Людо? Понимаешь?" — но видел только немое отчаяние в её взгляде и опустил глаза.

— Нас спас Георг.

— Георг?

— Георг фон Тиле. Дядя Ханса. Наши владения у Балтийского моря были рядом…

— Да, да. Ваши владения. Конечно.

— Его назначили во Францию, и, как только он узнал, что мы в Париже, он всё взял на себя. Устроил моих родителей на квартире возле парка Монсо. А потом Ханс вернулся с восточного фронта…

Она оживилась.

— Знаешь, я даже смогла продолжать учёбу. У меня диплом французского лицея в Варшаве, я запишусь в Сорбонну, может быть, даже в школу Лувра. Я увлеклась историей искусства.

— Историей… искусства? У меня перехватило горло.

— Да. Кажется, я нашла своё призвание. Помнишь, как я искала себя? Кажется, теперь я себя нашла.

— В добрый час.

— Конечно, потребуется много мужества и настойчивости, но думаю, что я справлюсь. Я бы хотела поехать в Италию, особенно во Флоренцию, осматривать музеи… Понимаешь, Возрождение… Но надо подождать.

— Действительно, Возрождение может подождать. Она встала.

— Хочешь, чтобы я тебя проводил?

— Нет, спасибо. Внизу Ханс в машине. В дверях она остановилась:

— Не забывай меня, Людо.

— У меня нет дара забывать. Я вышел с ней на лестницу.

— Бруно в Англии. Он лётчик-истребитель. Её лицо осветилось.

— Бруно? Но он был такой неловкий!

— В небе, видно, нет.

Я не сказал ей про пальцы.

— Я тебе всем обязана, — сказала она.

— Не знаю почему.

— Ты сохранил меня нетронутой. Я думала, что погибла, а теперь у меня впечатление, что всё это неправда и что всё время — три с половиной года! — я была здесь, у тебя, целая и невредимая. Сохраняй меня такой, Людо. Я в этом нуждаюсь. Дай мне ещё немного времени. Мне нужно возродиться.

— История искусства тебе сильно поможет. Особенно Возрождение.

— Не смейся надо мной.

Она постояла ещё минуту, потом ушла, и осталась только тень на стене. Я был спокоен. Я шёл вместе с миллионами других людей по пути, где у каждого своё горе.

Я пришёл к дяде на кухню. Он налил мне рюмочку, украдкой наблюдая за мной.

— Да, это будет забавно, — сказал он.

— Что именно?

— Когда вернётся Франция. Надеюсь, её можно будет узнать. Я сжал кулаки:

— Да, и мне наплевать, как она будет выглядеть и что будет у неё за плечами. Лишь бы она вернулась, вот и всё.

Дядя вздохнул:

— Уже и пошутить с ним нельзя.

Меня не избавили от сплетни, что Лила стала любовницей фон Тиле. Я был так же безразличен к этим россказням, как к голосам, скулившим, что "Франция пропала", "никогда не вернётся", "потеряла свою душу" и что подпольщики гибнут "ни за что". Моя уверенность была слишком тверда, чтобы она нуждалась в "проветривании" — как у нас говорят о тех, кто любит говорить на ветер.

Глава XXXVII

Я больше не ненавидел немцев. То, что я видел вокруг в течение четырёх лет после поражения, затрудняло для меня обычный трюк, в результате которого все немцы превращаются в преступников, а все французы — в героев. Я познал братство, сильно отличающееся от этих самодовольных штампов: мне казалось, что мы неразрывно связаны тем, что нас отличает друг от друга, но в любой момент может перемениться и сделать нас чудовищно схожими. Мне даже приходило в голову, что, участвуя в борьбе, я помогаю и нашим врагам… Им тоже. То, что ты воспитан человеком, который всю жизнь поднимал глаза ввысь, не проходит безнаказанно.

В первый раз я увидел, как убили немца, в полях за Гранем, где мы распахали посадочную площадку. В ту ночь мы втроём ожидали, когда прилетит "Лизандер", который должен был переправить в Англию политического деятеля, чьего имени мы не знали. После заката мы несколько раз тщательно прочесали окрестности; нам было приказано принимать все предосторожности — две недели назад одну из групп захватили при приёме парашютистов в верховьях Сены, и к списку наших расстрелянных добавилось пять имён.

В час ночи зажгли сигнальные огни, и ровно через двадцать минут "Лизандер" приземлился. Мы помогли пассажиру сесть в самолёт; "Лизандер" взлетел, и мы пошли собирать сигналки. Когда мы

возвращались обратно и были метрах в трёхстах от площадки, Жанен схватил меня за руку; справа от нас я увидел в траве металлический отблеск и услышал осторожное движение; блеск металла передвинулся и исчез.

Там были велосипед, девушка и немецкий солдат. Я знал девушку в лицо, она работала в булочной господина Буайе в Клери. Солдат лежал на животе рядом с ней; он смотрел на нас без всякого выражения.

Не знаю, кто выстрелил, Жанен или Роллен. Просто солдат уронил голову и застыл, уткнувшись лицом в землю.

Девушка резко отодвинулась от него, как если бы он стал отвратительным.

— Вставай.

Она быстро встала, поправляя юбку.

— Пожалуйста, не говорите им, — пробормотала она.

У Жанена был удивлённый вид. Он приехал из Парижа и не знал деревенской жизни. Потом он понял, улыбнулся и опустил оружие.

— Тебя как зовут?

— Мариетта.

— Мариетта, а дальше?

— Мариетта Фонта. Господин Людовик меня знает. Пожалуйста, ничего не говорите моим родителям.

— Ладно. Мы им не скажем, будь спокойна. Можешь идти домой. Он бросил взгляд на тело.

— Надеюсь, он не успел, — сказал он. Мариетта зарыдала.

Я провёл дурную ночь. Было так, как будто я совершил предательство.

Я старался думать о всех наших убитых, но выходило только на одного убитого больше.

Через несколько дней я зашёл в булочную и остановился, как бы прося прощения. Мариетта покраснела и стояла в нерешительности. Потом подошла ко мне и прошептала с беспокойством:

— Они ведь ничего не скажут моим родителям?

Нехорошо ходить с парнями в лес. Думаю, только это её и тревожило. Нам нечего было опасаться.

Несколько раз я видел, как Лила проезжает через Клери в "мерседесе" фон Тиле; один раз с ней был сам генерал. Однажды утром, когда я возвращался на велосипеде с тренировки на ферме Гролле, где один товарищ, прошедший курс обучения в Англии, учил нас обращаться с новой взрывчаткой, "мерседес" проехал мимо меня и остановился. Я остановился тоже. Лила сидела в машине одна с шофёром. У неё были круги под глазами, веки опухли. Было семь часов утра; я знал, что в эту ночь Эстергази устраивала праздник — в "Прелестный уголок" поступил заказ на всё, что только можно, от шампанского до норвежской лососины, и Дюпра сам отправился к ней, чтобы присмотреть за своим сотэ из молочного ягнёнка и петухом в вине, "которого можно погубить, если положить на дольку чеснока больше или меньше". Требовалась бдительность: все немецкие "сливки" были там. "Занимаясь этим

чёртовым ремеслом, — ворчал он, — каждый раз ставишь на карту свою репутацию".

Лила вышла из машины, и мне пришлось её поддержать: она была немного пьяна. Очень элегантное красное платье, белый плащ, красные туфли на высоких каблуках и плотная шаль из красной и белой шерсти на плечах. Польские цвета, подумал я. Она сильно накрасилась, как бы желая скрыть лицо. Казалось, берет на её пышных волосах попал сюда случайно из прошлой жизни. Только печальная голубизна глаз оставалась такой, как прежде. Она держала в руке книгу: Аполлинер. У нас в Ла-Мотт был весь Гюго, но Аполлинера не было. Всегда забываешь о том, что тебе принадлежит по праву,

— Здравствуй, мой Людо.

Я поцеловал её. Военный шофёр сидел к нам спиной.

— Обо мне здесь многое говорят, правда?

— Знаешь, я немного глуховат.

— Говорят, что я любовница фон Тиле.

— Говорят.

— Это неправда. Георг — друг моего отца. Наши семьи всегда дружили. Надо мне верить, Людо.

— Я тебе верю, но мне наплевать.

Она с жаром начала говорить о своих родителях. Благодаря Георгу они ни в чём не терпят нужды.

— Это изумительный человек. Он откровенный антифашист. Он даже спасал евреев.

— Это понятно. У него две руки.

— Что ты хочешь сказать? Что ты болтаешь?

— Это не я болтаю, а Уильям Блейк. Блейк написал об этом поэму. "Одна его рука была в крови. Другая держала факел". Почему ты не заходишь ко мне?

— Я приду. Знаешь, мне нужно возродиться. Ты обо мне думаешь немного?

— Мне случается не думать о тебе. У каждого бывают минуты пустоты.

— Я чувствую себя немного потерянной. Не знаю даже, где я. Я слишком много пью. Хочу забыться.

Я взял у неё из рук книгу и пролистал её.

— Кажется, никогда ещё французы столько не читали, как теперь. Знаешь, господин Жолио, владелец книжной лавки…

— Я его знаю очень хорошо, — сказала она с неожиданной горячностью. — Это мой друг. Я почти каждый день хожу к нему в лавку.

— Так вот, он говорит, что французы набрасываются на поэзию с мужеством отчаяния. Как твой отец?

— Он полностью потерял связь с действительностью. Полная атрофия чувствительности. Но надежда есть. Иногда у него бывают проблески сознания. Может быть, он придёт в себя.

Я не мог не испытывать некоторого восхищения Стасом Броницким. Этот аристократический альфонс нашёл довольно необычное средство, чтобы отгородиться от низменной действительности. Жена и дочь оберегали его от всякого соприкосновения с отталкивающей исторической эпохой. Настоящая избранная натура.

— Никогда не видал такого хитреца, — сказал я.

— Людо! Я тебе запрещаю…

— Прости меня. Это моя мужицкая сторона. Видно, у меня наследственное озлобление против аристократов.

Мы сделали несколько шагов, чтобы подальше отойти от шофёра.

— Знаешь, Людо, всё скоро переменится. Немецкие генералы не хотят войны на два фронта. И они ненавидят Гитлера. Однажды…

— Да, я знаю эту теорию. Я уже слышал, как её излагал Ханс накануне захвата Польши.

— Надо ещё немного времени. Немцам пока ещё недостаточно трудно.

— Действительно.

— Но я добьюсь.

— Добьёшься чего?

Она замолчала, глядя прямо перед собой.

— Мне нужно ещё немного времени, — повторила она. — Конечно, это очень трудно, и я иногда сомневаюсь и теряю уверенность… Тогда я пью лишнее. Я не должна. Но я уверена, что если немного повезёт…

— То что? Если немного повезёт, то что?

Она зябко завернулась в свои польские цвета.

— Я всегда хотела что-то сделать из своей жизни. Что-то большое и… страшно важное… Какое живучее наваждение!

— Да, — сказал я. — Ты всегда хотела спасти мир. Она улыбнулась:

— Не я, а Тад. Но кто знает…

Я так хорошо знал это её немного загадочное, непроницаемое выражение, то, что Тад называл когда-то "вид как у Гарбо".

— Может, это буду я, — спокойно сказала она.

Всё это было так жалко. Она едва держалась на ногах, и мне пришлось помочь ей сесть в машину. Я положил ей на колени плед. Ещё минуту она молчала, держа маленький томик Аполлинера, с улыбкой на губах. И вдруг повернулась ко мне в горячем порыве, и я удивился, до чего у неё серьёзный, почти торжественный голос:

— Верь мне, Людо. Вы все верьте мне ещё немножко. Я добьюсь. Моё имя войдёт в историю, и ты будешь мною гордиться.

Я поцеловал её в лоб.

— Ну, ну, — сказал я. — Ничего не бойся. Они жили счастливо, и у них было много детей. Мне нет оправдания. Я не придал никакого значения словам той, кого в "Прелестном уголке" называли "эта бедная молоденькая полька со своими немцами". "Всё те же фантазии и химеры", — подумал я. Я стоял со своим велосипедом у обочины, грустно глядя вслед удаляющемуся "мерседесу". "Моё имя войдёт в историю, и ты будешь мною гордиться..." Это было слишком нелепо. Мне казалось, что Лила в своём падении нуждалась в "придумывании себя" ещё больше, чем прежде, в "Гусиной усадьбе" и на берегу Балтийского моря, — упавшая на землю разбитая мечта ещё слабо трепыхала крылышками. У меня не было никакого подозрения, никакого предчувствия. Возможно, это объяснялось суровыми требованиями нескольких лет борьбы, когда приходилось "сохранять здравый смысл", и мне теперь не хватало безумия. Я и не догадывался, что среди всех наших улетевших воздушных змеев один, родом из Польши, поднимется выше и будет ближе к тому, чтобы изменить ход войны, чем все остальные, затерявшиеся в поисках несбыточного.

Глава XXXVIII

Я не видел Лилу несколько месяцев. Лето 1942-го было поворотным моментом в подпольной борьбе: в одну только ночь в районе Фужроль-дю-Плесси "дьявол явился шесть раз" —согласно секретному коду это означало, что шесть раз с парашютом сбрасывали оружие, больше всего контактные мины, противотанковые ружья и миномёты. Оружие надо было прятать за несколько часов. В Севане моего одноклассника Андре Фернена схватили с пятьюдесятью зажигательными пластинками — он успел проглотить свою ампулу с цианистым калием. Сейчас все эти факты так широко известны, что о них забывают. В наших краях без конца шли обыски, и Ла-Мотт тоже не обошли — то ли кто-то указал на ферму, то ли гестапо чуяло в Амбруазе Флери естественного врага. Обыски не дали никакого результата, например, "тайник" Бюи, где прятался Бруно, функционировал до самой победы. В мастерской Грюберу попался наш старый "Золя", забытый в уголке, со словами "Я

обвиняю", расходящимися лучами вокруг его головы, но Грюбер его не узнал и ограничился тем, что спросил:

— Кого он обвиняет, der Kerl?[35]

— Это название песни, очень популярной в начале века, — сказал дядя. — Жена уходит с любовником, и муж обвиняет её в неверности.

— Он не похож на певца.

— Однако у него был очень хороший голос.

Комиссар полиции в Клери сам дружески предостерёг Амбруаза Флери, не без улыбки, так как мысль о том, что этот мягкий пацифист замешан в каких-то подрывных действиях, казалась ему смешной.

— Мой добрый Амбруаз, они, наверно, воображают, что вы вот-вот запустите в небо Лотарингский крест!

— Знаете, не для меня эти дела, — сказал дядя.

— Конечно.

Но на мечтателей смотрели косо: мечта и бунт всегда тесно связаны. За нами следили, и некоторое время мы не могли использовать наш склад оружия. Он находился под навозной ямой и уборной, которую мы несколько месяцев избегали чистить.

И всё же именно в это крайне опасное время дядя пошёл на безумный поступок. В конце июля 1942-го до Клери докатилась весть о массовой облаве в Вель д'Ив[36]. В тот вечер мы сидели в "Прелестном уголке" — один из уютных вечеров за бутылкой старого вина, которые хозяин часто проводил со своим другом Амбруазом Флери. Иногда

Дюпра — у него было бойкое перо — читал нам одну из своих поэм, написанную александрийским стихом. Но в тот вечер он был в особенно мрачном настроении.

— Слышал новость, Амбруаз? Про облаву в Вель д'Ив?

— Про какую облаву?

— Они собрали всех евреев и вывезли в Германию.

Дядя молчал. Рядом не было воздушного змея, за которого в этот момент он мог бы уцепиться. Дюпра стукнул кулаком по столу.

— И детей тоже, — пробурчал он. — Они и детей выдали. Больше их не увидишь в живых.

Амбруаз Флери держал в руке стакан вина. Единственный раз в жизни я видел, что его рука дрожит.

— Ну вот. Я тебе вот что скажу, Амбруаз. Это тяжёлый удар для "Прелестного уголка". Ты скажешь, что тут общего, но общее всё. Всё. Дьявол. Для такого человека, как я, который ложится костьми, чтобы сохранить определённое понятие о Франции, невозможно принять подобную вещь. Ты понимаешь? Дети, которых посылают на смерть. Знаешь, что я сделаю? Я закрою ресторан на неделю в знак протеста. Конечно, потом я его открою, потому что для фашистов приятнее всего было бы, чтобы я закрылся навсегда. Они давно хотят меня уничтожить. Всё, чего они хотят, — это чтобы Франция отказалась от себя самой. Но я закроюсь на неделю, это решено. Существует несовместимость между "Прелестным уголком" и тем, что детей выдают бошам.

Никто ещё не слышал, чтобы Дюпра произносил слово "боши".

Дядя поставил стакан и встал. Его лицо посерело; казалось, на нём вдвое больше морщин. Мы ехали под ночным небом на своих скрипучих велосипедах. Луна ярко светила. Когда мы подъехали к дому, он оставил меня, не говоря ни слова, и закрылся в мастерской. Я не мог заснуть. Я вдруг понял, как сильно прикрываются немцами и даже фашистами для оправдания собственных деяний. Мне давно уже приходила мысль, от которой трудно было избавиться, и, может быть, я так и не избавился от неё. Фашисты — человеческие существа. Именно их бесчеловечность присуща человечеству.

В четыре часа утра я уехал из Ла-Мотт: я должен был поехать в Роне встретиться с Субабером, чтобы наметить с ним на карте новые посадочные площадки. Надо было также предупредить товарищей, чтобы какое-то время не появлялись в Ла-Мотт. Выходя из дому, я увидел, что в мастерской ещё горит свет. Я подумал не без раздражения: надо быть по-настоящему упрямым французом, чтобы мастерить воздушных змеев в такое время. Лучшими друзьями воздушных змеев всегда были дети. Мне казалось, что если Амбруаз Флери собирается в такой час запустить в небо своего "Монтеня" или "Паскаля", то небо выплюнет его ему в лицо.

Я вернулся домой через день, в одиннадцать утра. Последние километры я шёл пешком, толкая перед собой велосипед. Я уже латал каждую шину раз десять, и приходилось их беречь. Я дошёл до места под названием "Узкий проезд", где сейчас стоит стела в память шестнадцатилетнего Жана Виго, которого полицейские захватили после высадки с оружием в руках и расстреляли на месте. Я остановился, чтобы закурить, но сигарета выпала у меня изо рта.

В небе над Ла-Мотт парило семь воздушных змеев. Семь жёлтых воздушных змеев. Семь воздушных змеев в форме еврейских звёзд.

Я бросил велосипед и побежал. На лугу перед фермой стояли мой дядя Амбруаз и несколько детей, подняв глаза к небу, где трепетало семь звёзд позора. Сжав челюсти, нахмурив брови, с жёстким лицом,

обрамлённым стриженными ёжиком седыми волосами и усами, старик походил на фигуру, какие раньше вырезали на носу корабля. У детей, пяти мальчиков и одной девочки, я их всех знал: Фурнье, Бланы и Босси — были серьёзные лица.

Я прошептал:

— Они сейчас явятся…

Но раньше пришли другие. О, их было немного: семья Кайе, семья Монье и отец Симон, который первый снял шапку.

Вечером дядю забрали и две недели продержали в тюрьме. Вытащил его оттуда Марселен Дюпра. Известно, что все Флери не в себе, объяснил он им. Наследственное безумие. Это то, что раньше называли "французской болезнью", это идёт из глубины веков. Не надо их принимать всерьёз, иначе рискуешь сделать серьёзную ошибку. Дюпра пустил в ход все свои связи, а они у него были, от Отто Абеца до Фернана де Бринона. На следующий день после ареста перед домом остановился "ситроен" Грюбера и ещё грузовик солдат. Они выбросили всех воздушных змеев на луг и подожгли. Грюбер, заложив руки за спину, смотрел, как пылает то, что так любовно создавали руки старого француза.

Ла-Мотт обыскали как никогда прежде. Грюбер опознал врага. Он сам взялся за дело и всюду совал свой нос, как будто речь шла о чём-то вещественном, материальном, что можно уничтожить.

В воскресенье дядю выпустили, и Марселен Дюпра привёз его в Ла-Мотт. Его первыми словами при виде пустой мастерской, откуда улетучились, превратившись в дым, все змеи, были:

— Надо браться за работу.

Первый собранный им воздушный змей изображал посёлок в горах, окружённый картой Франции, позволявшей понять, где это. Посёлок назывался Шамбон-сюр-Линьон, он находился в Севеннах. Дядя не объяснил мне, почему выбрал именно этот посёлок. Он ограничился тем, что сказал:

— Шамбон. Запомни это название.

Я ничего не понимал. Почему он интересуется этим посёлком, где никогда его ноги не было, и почему запускает воздушного змея "Шамбон-сюр-Линьон", следя за ним глазами с такой гордостью? Он сказал мне только одно:

— Я о нём слышал в тюрьме.

Моё удивление росло. Через несколько недель, восстановив некоторые из своих творений "исторической" серии, дядя объявил мне, что уезжает.

— Куда вы хотите ехать?

— В Шамбон. Как я тебе говорил, это в Севеннах.

— Господи Боже, что это за история? Почему в Шамбон? Почему в Севенны?

Он улыбнулся. Теперь лицо его было покрыто сеткой морщин, густой, как его усы.

— Потому что там я им нужен. Вечером, доев суп, он обнял меня:

— Я еду рано утром. Продолжай действовать, Людо.

— Будьте спокойны.

— Она вернётся. Придётся многое ей простить. Не знаю, говорил он о Лиле или о Франции.

Когда я проснулся, его у неё не было. На столе мастерской он оставил записку: "Продолжай".

Он увёз свой ящик с инструментами.

Только за несколько месяцев до высадки союзников я получил ответ на вопрос, который не переставал себе задавать: почему Шамбон? Почему Амбруаз Флери уехал от нас со своими инструментами туда, в этот посёлок в Севеннах?

Шамбон-сюр-Линьон был тот посёлок, где жители во главе с пастором Андре Трокме и его женой Магдой спасли от высылки несколько сотен еврейских детей. Четыре года вся жизнь Шамбона была посвящена этой задаче. Так напишу же я ещё раз слова, символизирующие верность идеалам: "Шамбон-сюр-Линьон и его жители", и если сейчас об этом забыли, пусть знают, что мы, Флери, всегда славились своей памятью и что я часто повторяю все имена жителей Шамбона, не забыв ни одного, ибо говорят, что сердце нуждается в упражнениях.

Но я ничего этого не знал, когда получил из Шамбона фотографию дяди, окружённого детьми, с воздушным змеем в руке, с надписью на обороте: "Здесь всё идёт хорошо". "Здесь" было подчёркнуто.

Глава XXXIX

От Лилы вестей не было, но Германия отступала на русском фронте; её армия потерпела поражение в Африке; Сопротивление переставало быть безумием, и рассудок начинал воссоединяться с сердцем.

Марселен Дюпра сам принимал участие в наших подпольных собраниях. Тем не менее в глазах властей его престиж достиг апогея: в мае 1943-го встал вопрос о его назначении мэром Клери. Он отказался.

— Надо проводить различие между вещами историческими и неизменными и таким изменчивым и преходящим явлением, как политика, — объяснил он нам.

Личность хозяина "Прелестного уголка" очаровывала оккупантов не меньше, чем его кухня. Его эрудиция и красноречие, достоинство, которое придавали ему как импозантная внешность, так и спокойная уверенность, с какой он в самых трудных условиях выполнял поставленную перед собой задачу, производили впечатление даже на тех, кто сначала называл его коллаборационистом. Больше всех его уважал генерал фон Тиле. Между этими двумя завязались странные отношения — можно было даже назвать это дружбой. Говорили, что генерал презирает нацистов. Как-то раз он сказал Сюзанне:

— Знаете, мадемуазель, фюрер говорит, что дело его будет жить тысячу лет, Я бы лично скорее поставил на дело Дюпра. Несомненно, оно будет иметь лучший вкус.

Один из его лейтенантов позволил себе объявить о прибытии вождя люфтваффе в следующих выражениях:

— Герр Дюпра, один из ваших самых тонких ценителей сможет лично убедиться, что Франция не утеряла ничего из того, что составляет её славу.

Присутствовавший при этом фон Тиле отвёл офицера в сторону и обрушил на его голову несколько замечаний, которые тот, очень бледный, выслушал, стоя по стойке "смирно". После чего генерал лично принёс Марселену свои извинения. Когда я видел, как генерал берёт Марселена под руку и, беседуя, прогуливается с ним в садике

"Прелестного уголка", я чувствовал, что оба они сумели переступить через то, что Дюпра презрительно именовал "обстоятельствами" или "условиями", и нашли точки соприкосновения, позволяющие прусскому аристократу и великому французскому кулинару говорить на равных. Но по-настоящему я понял, как далеко продвинулись две эти избранные натуры во взаимном уважении и даже "братании" во время битвы, только когда Люсьен Дюпра рассказал мне, что его отец тайком даёт уроки кулинарии генералу графу фон Тиле. Сначала я не поверил:

— Ты смеёшься надо мной. У фон Тиле сейчас должны быть другие заботы.

— Может, как раз поэтому. Вот посмотришь.

Я пожал плечами. Если бы мне сказали, что генерал играет на скрипке, чтобы рассеяться, я бы счёл это нормальным: о любви немцев к музыке говорено и переговорено, это стало штампом. Во время оккупации самым лёгким было видеть в немцах только преступников, а во французах — только героев. Но чтобы один из самых известных командующих вермахта был в глубине души так уверен в грядущем поражении, что искал забвения, беря уроки кулинарии у французского повара… — нет, это противоречило всему, что мы вкладывали в термин "немецкий генерал". Ненависть питается общими словами, и такие фразы, как "типичная прусская физиономия" и "типичный представитель расы господ", способствуют росту невежества.

Я расспрашивал Люсьена Дюпра почти грубо:

— Это тебе отец рассказал? Он вполне способен выдумать такое, чтобы придать себе важности. Это на него похоже. "Месье, знаете генерала фон Тиле, победителя Седана и Смоленска? Это я его всему научил".

— Я тебе говорю, два-три раза в неделю генерал приходит к отцу учиться готовить. Конечно, генерал не хочет, чтобы об этом знали, потому что дело принимает для них дурной оборот и это выглядело бы как акт отчаяния или даже пораженчество. Они начали с глазуньи и омлетов. Не понимаю, что тебя удивляет.

— Меня ничто не удивляет. Мы все по горло в крови и дерьме, а эти избранные натуры возвысились над варварством. Немецкая мощь нуждается во французской тонкости и умении жить. Эти двое творят будущее. Хотелось бы мне посмотреть на этот бардак.

— Я тебе скажу.

В тот же день, когда я выходил из конторы, Люсьен шепнул мне на ухо:

— Сегодня вечером, около одиннадцати. Я оставлю дверь в коридор приоткрытой. Но будь осторожен. Они большие друзья, и отец этого не простит.

Я пришёл пешком. Я опасался патрулей, которые каждую ночь начали прочёсывать поля и леса в поисках сигнальных огней для самолётов.

Я прокрался в коридор со стороны кухни. Дверь приоткрыта. Держа башмаки в руке, я подошёл ближе и заглянул внутрь.

Фон Тиле был без мундира, в фартуке. Казалось, он сильно выпил. Рядом с ним был Марселен Дюпра; надменный и чопорный в своём колпаке, он держался с преувеличенной важностью, что также объяснялось двумя пустыми бутылками из-под вина и одной сильно початой бутылкой коньяка на столе.

— Незачем сюда приходить, Георг, если ты не слушаешь, что я говорю, — ворчал Дюпра. — У тебя нет больших способностей, и, если ты не будешь в точности выполнять все мои указания, ты ничего не добьёшься.

— Но ведь я выучил это наизусть. Полтора стакана белого вина…

— Какого белого вина?

Генерал молчал с лёгким удивлением во взоре.

— Сухого! — пробурчал Дюпра. — Полтора стакана сухого белого вина! Чёрт возьми, это же нетрудно!

— Марселен, неужели ты хочешь сказать, что если вино не сухое, всё пропало?

— Если хочешь приготовить настоящего фаршированного кролика по-нормандски, надо, чтобы вино было сухое. Или уж лей что хочешь. Что ты ещё положил в фарш? Нет, это просто невероятно, Георг. Не могу понять, как человек твоей культуры…

— У нас разная культура, Марселен. Поэтому мы и нуждаемся друг в друге… Я положил три кроличьи печёнки, сто граммов поджаренной ветчины, пятьдесят граммов хлебного мякиша… чашку лука…

Слышалось гудение бомбардировщиков союзников, пролетавших над побережьем.

— И всё? Мой генерал, у тебя голова была занята другими делами. Наверно, ты думал о Сталинграде. Я тебе говорил положить кофейную ложечку пряностей… Завтра начнём снова.

— У меня уже три раза не получилось.

— Нельзя побеждать на всех фронтах сразу.

Оба были совершенно пьяны. В первый раз я обратил внимание на их сходство, и оно поразило меня. Фон Тиле был ниже ростом, но у него было почти точно такое же лицо с тонкими чертами и маленькими седыми усами. Дюпра с отвращением оттолкнул блюдо с провинившимся кроликом:

— Дерьмо.

— Ну что ж, Марселен, хотел бы я видеть, как бы ты командовал танковым корпусом. Минуту они молчали, оба мрачные, потом бутылка коньяка перешла из рук в руки.

— Сколько это ещё продлится, Георг?

— Не знаю, старина. Кто-то эту войну выиграет, это точно. Скорее всего, твой кролик по-нормандски.

Я осторожно скрылся. Назавтра же в Лондон отправили сообщение, что у генерала, командующего "пантерами" в Нормандии, появились признаки упадка духа.

Пекинес Чонг заслуживал звания связного Сопротивления. Каждый раз, когда хозяйка приходила за ним ко мне в контору, — кроме тех случаев, когда её почтительно сопровождали господин Жан или сам Марселен Дюпра, — она сообщала мне о замыслах гестапо или о том, как немцы готовятся к "приёму гостей" на Атлантическом побережье. Некоторые из наших товарищей спаслись только благодаря этим сведениям. Графиня сказала мне также, что Лила живёт в Париже с родителями, но часто проводит несколько дней на вилле недалеко от Юэ.

Вскоре Лила снова появилась в "Прелестном уголке", по-прежнему в сопровождении Ханса и фон Тиле. Их называли "трио". "Оставьте в час дня столик для трио", — говорил Люсьен Дюпра. Я всегда узнавал о её присутствии от господина Жана, который ставил меня в известность с сокрушённым видом. "Малышка" здесь со своими немцами, для бедного Людо это, наверное, как нож в сердце. Но это было не так. Говорят, что любовь слепа, но в моём случае имело место как раз обратное. Мне казалось, что в отношениях "трио" есть что-то, что от меня ускользает. Я был уверен, что Лила — не любовница фон Тиле; я не был даже уверен, что она любовница Ханса. Комичная фраза: "Наши владения на берегу Балтийского моря были рядом", которую она произнесла, чтобы объяснить свои отношения с немецкими "кузенами", начинала напоминать мне "личные" сообщения, которые мы получали из Лондона: "Нынче вечером птицы снова будут петь" или же: "Колокола затопленного храма зазвонят в полночь". Я смутно догадывался, что между этими прусскими помещиками и не менее аристократичной полькой существует какое-то сообщничество, но его подлинная суть от меня ускользала. Как-то я столкнулся с Лилой, когда она выходила со своими двумя юнкерами из ресторана. Я несколько месяцев её не видел, и меня поразила перемена в ней. В выражении её лица, когда она меня увидела, светилась гордость, почти торжество, как если бы она хотела сказать: "Вот увидишь, Людо, вот увидишь. Ты во мне ошибался".

На следующей неделе это впечатление подтвердилось самым неожиданным образом. Лила влетела ко мне в контору, и едва я успел встать, как она уже меня целовала.

— Ну, мой Людо, что ты поделываешь?

Годы прошли с тех пор, как я её видел такой весёлой и счастливой.

— Да не знаю, в общем. Ничего особенного не делаю. Занимаюсь бухгалтерией "Прелестного уголка" и воздушными змеями, когда время есть. Дядя уехал, и я пытаюсь делать что могу.

— Куда он поехал?

— В Шамбон-сюр-Линьон. Это в Севеннах. Не спрашивай, что он собирается делать на другом конце страны, я ничего не знаю. Он мне сказал только, что они в нём нуждаются там. Потом взял ящик с инструментами и уехал.

Я видел, что ей хочется мне что-то сказать, но она сдерживается, и различал даже немного иронии в её глазах, как будто она жалела меня за то, что я не знаю, чем она так довольна.

— Ханса назначили в штаб в Восточной Пруссии, — сказала она.

— Вот как!

Она рассмеялась:

— Конечно, тебе это неинтересно.

— Мягко говоря, да.

— Так вот, ты ошибаешься. Это очень важно. Знаешь, я имею на Ханса большое влияние.

— Не сомневаюсь.

— Готовятся важные события, Людо. Ты скоро узнаешь.

Я чувствовал, что она хочет рассказать мне больше. Я чувствовал также, что лучше пусть она не говорит.

— Ты всегда считал меня легкомысленной, ещё с нашей первой встречи. И я знаю, что обо мне говорят местные жители. Ты напрасно их слушаешь.

— Я никого не слушаю.

— Ты ошибался насчёт меня, мой маленький Людо. —Но…

— Скоро ты будешь просить у меня прощения. Думаю, что мне наконец удастся сделать что-то необыкновенное. Я тебе всегда говорила.

Она быстро поцеловала меня и вышла, бросив мне с порога ещё один торжествующий взгляд.

Через несколько дней я встретил её на вокзале в Клери, она выходила из машины; с нею был фон Тиле. Она помахала мне, и я помахал в ответ.

Глава XL

8 мая 1943 года, около десяти вечера, я читал и вдруг услышал шум машины; подойдя к окну, я увидел синие огни фар. Шум мотора стих; в дверь постучали; я зажёг свечу и открыл дверь. На пороге стоял генерал фон Тиле; серые, того цвета, какой принято называть стальным, глаза на его правильном лице с чёткими чертами смотрели напряжённо. На шее у него был Железный крест с алмазами.

— Добрый вечер, господин Флери. Извините за неожиданный визит. Я бы хотел с вами поговорить.

— Войдите.

Он прошёл мимо меня, остановился и бросил взгляд на подвешенных к балкам воздушных змеев.

— Со мной в машине один человек, которого вы знаете.

Он сделал паузу и сел на скамейку, сложив руки. Я ждал. В это время самолёты союзников пролетали над побережьем, чтобы бомбить немецкие города. Фон Тиле поднял голову и прислушался к огню береговой артиллерии.

— Вчера над Гамбургом было тысяча двести бомбардировщиков, — сказал он. — Вы должны быть довольны.

Я не понимал, чего хочет от меня этот военачальник.

— Вы знаете того, кого я привёз, — сказал он. — Не знаю только, смотрите ли вы на него как на друга или как на врага. Тем не менее я прошу вас помочь ему.

Фон Тиле встал. Он смотрел себе под ноги.

— Я бы хотел, чтобы вы помогли ему бежать в Испанию… — Намёк на улыбку. —… как вы это так хорошо делаете для лётчиков союзников.

Я был так поражён, что даже не протестовал.

— Господин Флери, для вас, конечно, нет никакого смысла спасать жизнь немецкому офицеру. Я очень хорошо это понимаю. Я обращаюсь к вам по совету Лилы. Это тоже может вам показаться странным. Но Ханс — как и вы — очень любит её. Словом, соперник. Может быть, вы были бы рады, если бы он исчез. В таком случае стоит только позвонить начальнику здешнего гестапо, герру Грюберу… — Он не назвал его по званию. — Но может быть, в словах "любить ту же женщину" есть что-то… как бы сказать? Братское…

Он внимательно наблюдал за мной с неожиданным добродушием на искажённом, почти мертвенно-бледном лице. Я молчал. Фон Тиле поднял руку:

— Прислушайтесь к небу. Сколько детей будет убито этой ночью? Ладно. Я говорю только, что пытаюсь спасти молодого человека, который является моим племянником и которого я люблю как сына. Теперь я должен ехать. У нас есть… около суток. Мне нужно сделать распоряжения. Но вы мне ещё не ответили, господин Флери.

— Лила знает? —Да.

Ханс был в форме. Решительно, детство и отрочество оставляют неизгладимый отпечаток: мы не пожали друг другу руки. Но мне пришлось взять его под руку, чтобы поддержать. Он сделал несколько шагов и свалился. Фон Тиле помог мне перенести его в комнату.

— Не оставляйте его здесь, господин Флери. Вы рискуете жизнью. Постарайтесь спрятать его где-нибудь в другом месте сегодня же ночью, Я всё же думаю, как я вам уже сказал, что у нас ещё есть около суток…

Он мне улыбнулся:

— Надеюсь, у вас нет чувства, что вы совершаете предательство… скрывая немецкого офицера?

— Я только думаю, что вы должны дать мне объяснение, чёрт возьми.

— Вы его получите. Ханс объяснит вам. Во всяком случае, завтра я сам вам объясню. Я буду обедать в "Прелестном уголке", как каждую пятницу.

Когда я вернулся в комнату, Ханс спал. Его лицо даже во сне имело беспокойное выражение, по временам губы и подбородок судорожно вздрагивали. Я долго смотрел на это лицо, чья красота когда-то вызывала во мне такую вражду. На шее у него был медальон. Я открыл его: Лила.

Был час ночи, а солнце вставало в пять. От тиканья часов меня начал продирать мороз по коже. Я поставил кофе и разбудил Ханса. Секунду он смотрел на меня, не понимая, дотом вскочил:

— Не оставляй меня здесь. Они тебя расстреляют.

— Что ты сделал?

— Потом, потом… Кофе был готов.

— У нас мало времени, — сказал я. — Три часа ходьбы.

— Докуда?

— До "Старого источника". Помнишь?

— Ещё бы! Ты меня чуть не задушил. Сколько нам было?… Двенадцать, тринадцать?

— Около того. Ханс, что ты сделал?

— Мы хотели убить Гитлера. Я мог вымолвить только:

— Господи!

— Мы подложили бомбу в его самолёт.

— Кто это "мы"?

— Бомба была неисправная. Она не взорвалась, и они её нашли. Двое наших товарищей успели покончить с собой. Другие заговорят рано или поздно. Мне удалось скрыться на моём самолёте, чтобы предупредить...

Он замолчал.

— Понятно.

— Да. Мне удалось сесть в Уши. Я хотел вывезти генерала в Англию.

Мне пришлось встряхнуться и глубоко вздохнуть, чтобы прийти в себя. Потом мною овладел сумасшедший приступ смеха. Ханс хотел увезти фон Тиле в Англию, чтобы тот организовал там "Свободную Францию", в смысле "Свободную Германию"! Может быть, с Лотарингским крестом в качестве символа?!

— Чёрт возьми, — сказал я. — Сейчас май. Это даже на месяц раньше восемнадцатого июня[37]. Богатая у вас, немцев, фантазия. То вы создаёте Гёте и Гёльдерлина, то миллионы мертвецов. Видно, ваши фантазии играют в орла или решку. Если я правильно понял, ваша офицерская элита считает, что всё ещё можно уладить по-джентльменски? Мир господ? Разыграть в Лондоне в сорок третьем году немецкое восемнадцатое июня сорокового года —за счёт русских, очевидно? Он опустил голову.

— Все наши потомственные офицеры были против Гитлера и против войны начиная с тридцать шестого года, — сказал он.

— А потом было уже слишком поздно, вы были уже в Париже и под Москвой. Ладно, пошли. Несколько дней пересидишь у "Старого источника", потом будет видно. Ты выдержишь? Надо пройти семь километров.

—Да.

Я взял мой драгоценный электрический фонарик — у меня осталась только одна запасная батарейка, — и мы отправились. Прекрасная ночь, иронический блеск звёзд. Французский подпольщик, рискующий жизнью ради немецкого офицера-голлиста. Луна ещё ярко светила, и я зажёг фонарик, только когда мы дошли до края оврага. Тропинка нашего детства заросла кустами и колючками; источник тоже постарел, и у него не было больше сил выплёскиваться из ямки. Один за другим мы пробрались между замшелых откосов до тупика. "Вигвам" был на месте, такой, каким его построил дядя Амбруаз одиннадцать лет назад. Он немного покосился, но держался, И только теперь, когда мы оказались у "вигвама" нашего детства, мне вспомнились слова Лилы, которые она прошептала мне в конторе так весело и уверенно: "Думаю, что мне наконец удастся сделать что-то необыкновенное. Знаешь, я имею на Ханса большое влияние". Я посмотрел на Ханса. "Это она, — подумал я. — Это ради неё".

Я присел на корточки и попытался набрать немного воды на дне источника. У меня пересохло в горле, и мне трудно было говорить.

— Я буду приносить еду раз или два в неделю. Потом постараемся переправить тебя через Пиренеи. Я должен поговорить с товарищами.

В воздухе пахло землёй и сыростью. У нас над головой дремала сова. Небо начало светлеть.

Ханс снял свой френч и бросил его на землю. В белой рубашке он не очень отличался от того Ханса, который стоял передо мной в фехтовальном зале Гродека во время нашей дуэли.

— Я обязан тебе жизнью, и я верну её тебе, — сказал он.

— Это она решит, старик.

Так один-единственный раз мы заговорили о Лиле.

В одиннадцать часов я был на своём месте в конторе, не в силах думать ни о чём, кроме событий этой ночи. Всё, что говорила мне Лила, каждое слово, каждая фраза, каждое выражение, без конца отдавалось у меня в голове. "Я добьюсь... я уверена, что если немного довезёт... Знаешь, я имею на Ханса большое влияние... Я всегда хотела совершить что-то великое и страшно важное..."

Господин Жан приоткрыл дверь:

— От генерала фон Тиле звонили, чтобы ему приготовили счёт за месяц...

— Да...

"Верь мне, Людо... Моё имя войдёт в историю..."

Она терпеливо убеждала Ханса, и это было тем более легко, что он с начала военных действий говорил о "спасении чести немецкой армии". А фон Тиле знал, что, если Германия и дальше будет вынуждена вести войну на два фронта, её ждёт поражение. Следовательно, если убрать Гитлера и заключить мир с США и Англией и...

— Счёт номера пятого, — произнёс голос господина Жана.

— Да... сейчас...

— Что с тобой, Людо? Ты болен?

— Нет, ничего...

"Ты ещё будешь мной гордиться… Моё имя войдёт в историю…" Заговор провалился, и Лиле грозит смерть. "Знаешь, я имею на Ханса большое влияние…" Мне нужно переправить их обоих в Испанию. Но как это сделать? Двоих лётчиков, которые прячутся у Бюи, через несколько дней отправят в Баньер; но я даже не знал, где Лила; кроме того, нужно было разрешение Субабера на то, чтобы отправить с ними Ханса, а для Суба хороших немцев не было. Кроме того, мы срочно должны передать в Лондон информацию об этом первом заговоре офицеров вермахта против Гитлера.

Я сидел в растерянности, когда услышал повизгивание. Чонг сидел у моих ног и вилял хвостом, глядя на меня с упрёком. Когда Эстергази обедала в "Прелестном уголке", мне поручалось кормить собачку паштетом. Я вышел из конторы и позвал Люсьена Дюпра.

— Эстергази ещё здесь?

— А что?

— Она забыла собачонку.

— Сейчас посмотрю.

Он вернулся и сообщил, что графиня пьёт кофе. Я зашёл в кухню, взял тарелку с мясом и пошёл кормить собачку. Проходя коридором, я увидел, что у входа остановилась машина фон Тиле. Шофёр открыл дверцу, и генерал вышел. Лицо фон Тиле осунулось, но он был как будто в хорошем настроении и быстро поднялся по ступенькам, ответив на чьё-то приветствие, В то утро Дюпра получил записку, написанную рукой фон Тиле, которую после Освобождения вклеил в свою "Золотую книгу". "Друг Марселен, меня вот-вот переведут в другое место, и сегодня, в пятницу, в четырнадцать часов, я приеду в "Прелестный уголок" попрощаться".

Для меня его присутствие означало только, что гестапо ещё не знает. Ещё около суток, как он мне сказал, У меня оставалось только несколько часов, чтобы найти Лилу. Но Ханс или фон Тиле наверняка о ней позаботились.

Через несколько минут графиня явилась ко мне в контору. Она взяла собачку на руки:

— Бедный малыш. Я чуть его не забыла.

Она положила передо мной смятый бумажный шарик. Я развернул его. Почерк Лилы. "Мне чуть не удалось. Люблю тебя. Прощай".

Мадам Жюли поднесла к бумажке зажигалку. Кучка пепла.

— Где она?

— Не знаю. Вчера вечером фон Тиле отправил её в Париж. Этот дурак велел отвезти её к ночному двенадцатичасовому на своей собственной машине.

— А эта бумажка…

Она нервничала и теребила перчатки.

— Что "эта бумажка"?

— Как вы её получили?

— Вчера вечером в "Оленьей гостинице" был большой приём. Младший офицерский состав пригласил гражданских служащих и секретарей. Там был весь штаб. На несколько минут появился сам генерал фон Тиле. Твоя малютка много пила и много танцевала. А потом

она передала моей дочери записку для тебя. Она смеялась. Это, кажется, любовное письмо. Любовное или не любовное, в наше время я вскрываю все письма. Вот. Тебе везёт, малыш. Если бы она отдала письмо кому-нибудь другому…

— Они… они уже знают?

— Гестапо знает с девяти утра. Мой дружок, стопроцентный ариец с настоящим именем Исидор Лефковиц, предупредил меня в двенадцать. Они ещё не сцапали фон Тиле, потому что не хотят, чтобы распространились слухи. Он победитель Смоленска, понимаешь, — это может наделать шуму. У них приказ отправить его в Берлин со всеми почестями…

— Но генерал здесь…

— Не надолго.

Она нежно прижала мордочку Чонга к своей щеке:

— Ах ты, миленький. Кажется, у твоей мамы сохранились остатки сердца, потому что она начинает делать глупости.

Она посмотрела на меня жёстким взглядом:

— Ты ничем не можешь ей помочь, так что сиди тихо и скажи остальным, чтобы делали то же самое. Дело дерьмовое.

Графиня Эстергази повернулась ко мне спиной и вышла.

Я хотел уйти из конторы и бежать к Субаберу, но господин Жан сказал, что генерал фон Тиле желает со мной поговорить.

— Он в гостиной Эд...

Старик спохватился. Гостиная "Эдуар Эррио", где лидер радикал-социалистов когда-то обедал, лишилась своего имени. Однако другого названия Дюпра ей мужественно не давал. Он просто снял табличку "Эдуар Эррио" и спрятал её в ящик.

— Кто знает, — объяснил он мне. — Всё может вернуться.

В ресторане, как в "ротонде", так и на "галереях", было много парижских и местных деятелей; считалось шикарным постничать по пятницам, ибо, с тех пор как страна перенесла столько несчастий, набожность и религия опять вошли в моду. Чтобы не разочаровать клиентов в постные дни, Марселен Дюпра занимался рыбными блюдами со всей тонкостью и знанием дела. Лишённая имени гостиная находилась на втором этаже, и мне пришлось пройти через "ротонду", набитую представителями высшего общества, чего я никогда не делал, так как хозяин ругал меня за затрапезный вид каждый раз, как я появлялся из-за кулис.

Я нашёл фон Тиле за столом. Дюпра, очень бледный, откупоривал лучшую, по его мнению, бутылку: "Шато-Лавиль" 1923 года. Никогда ещё я не видел, чтобы хозяин так волновался. Для того чтобы он пошёл на такую жертву, надо было затронуть его самые сокровенные струны. Было ясно, что фон Тиле объяснил ему подлинное значение своего "перемещения". Время от времени Дюпра бросал взгляд в окно: на аллее стояли две гестаповские машины, одна из них — машина самого Грюбера.

— Ничего не бойтесь, мой добрый Марселен, — говорил генерал. — Это мой почётный эскорт с девяти тридцати утра. Меня переводят в Берлин, и я должен сесть в самолёт, который меня ожидает. Фюрер хочет избежать неприятной огласки. Впрочем, моё назначение в штаб генерала фон Кейтеля является повышением. Однако весьма вероятно,

что самолёт потерпит аварию прежде, чем я попаду в Темпельхоф, так как не думаю, чтобы жизнь экипажа кого-нибудь особенно волновала. В полёте меня должны сопровождать трое моих непосредственных сотрудников, кроме полковника Штеккера — он хороший нацист и, надеюсь, останется вашим клиентом. Но не всё пройдёт так, как они планируют, поскольку не вижу, зачем мне обрекать на гибель совершенно невиновный экипаж, в то время как у люфтваффе уже наблюдается нехватка пилотов. Но главное, я отказываюсь играть в эту игру… или, если вы предпочитаете, сотрудничать. Я желаю, чтобы об этом узнали. Ефрейтор Гитлер считает себя гениальным стратегом и ведёт германскую армию к гибели. Таким образом, необходимо, чтобы мои товарищи узнали о моём "предательстве", и, принимая во внимание мою боевую репутацию, смею сказать, что все мои коллеги — высшие офицеры — поймут мои соображения, кстати, большинство из них разделяет моё мнение. Это моё им предупреждение, и я хочу, чтобы это стало известно. Но поговорим о более весёлых вещах…

Он отпил "Шато-Лавиля" 1923 года.

— Изумительно! — сказал он. — Ах, французский гений!

— Я приготовил вам рагу из устриц "Сен-Жак" и жареное тюрбо с горчицей, — дрожащим голосом предложил Марселен Дюпра. — Конечно, это немного избито… Если бы я знал…

— Разумеется, вы не могли знать, мой добрый Марселен. Впрочем, и я тоже. Видите ли, наш провал объясняется… как бы это сказать? Недостатком доверия к низшим и смиренным. Мы, офицерская элита, не выходим за пределы высшего круга. Мы не осмелились довериться какому-нибудь простому сержанту или ефрейтору-подрывнику, и в этом наша большая ошибка. Если бы мы искали помощи у людей… не будем говорить: низшего звания, скажем: у младших офицеров, бомбу отрегулировали бы как следует, и она сделала бы своё дело. Но мы хотели остаться среди своих: по-прежнему старый кастовый дух. Наша бомба не была достаточно… демократична. Нам недоставало рядового.

Мне пришлось вспомнить эту небольшую речь генерала фон Тиле через несколько месяцев. Когда 20 июля 1944 года другой представитель "офицерской элиты", полковник граф фон Штауфенберг, принёс в своём портфеле бомбу в генеральный штаб Гитлера в Растенбурге и фюрера лишь чуть-чуть тряхнуло при взрыве, я сказал себе, что среди всех этих господ опять не хватило простого ефрейтора-подрывника, который подложил бы бомбу нужной мощности. Этой бомбе не хватало народного дыхания.

Фон Тиле заканчивал жареное тюрбо с горчицей. Он повернулся ко мне:

— Итак, мой маленький Флери... Всё прошло хорошо?

— Пока очень хорошо... Он хорошо спрятан... укрыт... — Немного поколебавшись, я первый раз в жизни сказал немцу: —... мой генерал.

Он дружески смотрел на меня. Во взгляде его я прочёл понимание.

— Мадемуазель де Броницкая в Париже, — сказал он. — В надёжном месте. Если только она не будет рисковать и пытаться увидеться с родителями... Вы её знаете!

— Господин генерал, не могли бы вы...

Он кивнул в знак согласия, вынул из кармана блокнот и написал адрес и номер телефона. Вырвал листок и отдал его мне:

— Постарайтесь переправить их обоих в Испанию...

— Да, господин генерал.

Я положил листок в карман.

Георг фон Тиле отведал ещё устриц "Сен-Жак" и закончил трапезу знаменитым яблочным суфле, кофе и рюмкой коньяку.

— Ах, Франция! — прошептал он, и, как мне показалось, не без иронии.

Дюпра плакал. Дрожащей рукой протянул он генералу коробку настоящих гаванских сигар. Тот отстранил их. Потом взглянул на часы и поднялся.

— А теперь, господа, — сказал он сухо, — прошу оставить меня одного.

Дюпра вышел первый и побежал в туалет, чтобы умыть лицо. Если бы гестапо застало его в слезах, пока фон Тиле ещё был жив, ему пришлось бы давать объяснения.

Выстрел раздался в тот момент, когда я садился на велосипед с Чонгом под мышкой. Я ещё успел увидеть, как люди Грюбера выскочили из машин и бросились в ресторан.

Марселен Дюпра весь день пролежал лицом к стене. Вечером, перед началом работы, он произнёс странную фразу, и я так и не узнал, оговорка это или высшая похвала:

— Это был великий француз.

Глава XLI

Я ехал так быстро, держа одной рукой руль, а другой — пекинеса, что, когда наконец оказался перед резиденцией графини в парке и сошёл с велосипеда, колени у меня подогнулись, в глазах помутилось, и я очутился на земле. Наверное, волнение и страх тоже сказались, потому что, несмотря на то что фон Тиле говорил о "надёжном месте" и

дал мне адрес, я плохо представлял себе, как Лила может ускользнуть от гестапо и французской полиции на службе у оккупантов. Добрых несколько минут я всхлипывал, а Чонг лизал мне лицо и руки. Наконец я взял себя в руки, сунул собачку под мышку и поднялся по трём ступенькам на крыльцо. Я позвонил, ожидая, что увижу Одетту Ланье, "горничную", которая девять месяцев назад приехала из Лондона с новым приёмником-передатчиком, но мне открыла кухарка.

— Ах, вот ты где. Ну, иди сюда, милый, иди… — Она протянула руки, чтобы взять Чонга.

— Я хочу поговорить с самой госпожой Эстергази, — пробормотал я, ещё не в силах передохнуть. — Собака больна. Её всё время тошнит. Я заезжал к ветеринару и…

— Заходите, заходите.

Я застал мадам Жюли в гостиной с дочерью. Два-три раза я видел в Клери эту "секретаршу", которая, как всем известно, была любовницей полковника Штеккера из штаба фон Тиле. Хорошенькая брюнетка, чьи глаза унаследовали всю бездонную глубину материнских глаз.

— Герман никогда не доверял генералу, — говорила она. — Он находил, что фон Тиле — декадент, чьё франкофильство становится невыносимым и который говорит о фюрере в недопустимом тоне. Герман посылал по этому поводу в Берлин рапорт за рапортом. Если то, что говорят, правда, Германа повысят по службе.

— Предать свою страну — какая чудовищная вещь! — сказала мадам Жюли.

Женщины были в гостиной одни. Эти слова явно предназначались мне. Из этого я заключил, что мадам Жюли, для которой недоверие было средством выживания, намекает, чтобы я говорил очень осторожно.

Нельзя быть уверенным, что никто не подслушивает. Мать с дочерью казались сильно взволнованными. Мне почудилось даже, что руки мадам Жюли немного дрожат.

— О Боже, — сказала она, повысив голос. — Вижу, что я опять забыла бедняжку в "Прелестном уголке". Возьмите, мой друг…

Она взяла с рояля свою сумку. На рояле выстроились знакомые надписанные фотографии; карточка адмирала Хорти была обтянута крепом в знак траура после того, как его сын, Иштван Хорти, в 1942 году погиб на русском фронте.

Она протянула мне десять франков:

— Возьмите, молодой человек. Спасибо.

— Мадам, собачка очень больна, я был у ветеринара, он назначил лечение, я должен с вами поговорить, это очень важно…

— Ну, мне пора обратно в контору, — нервно сказала девушка.

Мадам Жюли проводила её до двери. Она выглянула наружу, чтобы убедиться, что за мной нет "хвоста", закрыла дверь, повернула ключ в замке и вернулась.

Она поманила меня за собой.

Мы прошли в спальню. Она оставила дверь широко раскрытой, прислушиваясь к малейшему шуму. Я снова сказал себе, что если бы до войны Франция так же заботилась о том, чтобы выжить, как эта старая сводня, мы бы не дошли до такого.

— Ну, быстро, в чём дело?

— Фон Тиле покончил с собой и…

— И всё? Конечно, покончил с собой. Когда не умеешь взяться за дело…

— Он дал мне адрес и номер телефона Лилы. Это как будто надёжное место…

— Дай сюда. — Она вырвала у меня из рук бумагу и взглянула на адрес. — Да уж, надёжное место! Это его гнёздышко для любовных утех.

Видимо, я побледнел, потому что она смягчилась:

— Малышки это не касается. Фон Тиле любил женщин. Он себе устроил в Париже холостяцкую квартиру. Последней была шлюха из борделя Фабьенны на улице Мироменил, но она воспитывалась в монастыре Уазо, и у неё были хорошие манеры, так что он не заметил. Можешь быть уверен, что гестапо знает это место. У них досье насчёт личной жизни всех генералов, и они никогда не переставали шпионить за фон Тиле. Я знаю, что говорю. Если малышка действительно там…

— Она погибла, — прошептал я. Мадам Жюли ничего не сказала.

— Но ведь можно предупредить её? Есть номер телефона…

— Нет, кроме шуток, ты что, воображаешь, что я позволю тебе звонить отсюда? На центральной станции записывают все номера, время, когда звонили, и номер, откуда звонят!

— Помогите мне, мадам Жюли!

Она наклонилась и взяла на руки Чонга, враждебно глядя на меня.

— Невероятно, кажется, у меня к тебе слабость. В моём-то возрасте! Она подумала.

— Единственное место, откуда ты мог бы позвонить спокойно, это гестапо, — сказала она. — Погоди. Есть ещё одно место. Квартира Арнольда, заместителя Грюбера.

—Но…

— Он там живёт с дружком… Я тебе о нём говорила. Это дом четырнадцать на улице Шан в Клери, третий этаж, направо. У них своя линия связи, так что ничего не узнают. Поезжай туда. Очень удачно. Я забыла передать ему лекарство… То есть когда я говорю: забыла… В последнее время он стал обо мне забывать, этот маленький Франсис…

— Франсис?

— Франсис Дюпре. Совсем не похоже на "Исидор Лефкович"… Подожди… Она порылась в ящике комода и достала две ампулы.

— Уже неделя прошла. Бедняга, наверно, на стены лезет. Но это ему урок. Я взял ампулы.

— Он диабетик. Это инсулин.

— Вы хотите сказать, морфий.

— Что ты хочешь, скоро вот уж четыре года, как он подыхает от страха. Впрочем, он всегда был не очень-то уверен в себе. Скажи ему, я его не забуду, если он не забудет обо мне снова. Пусть даст тебе позвонить.

Она сидела в кресле, расставив ноги, с Чонгом на коленях.

— И дай мне что у тебя в кармане, Людо.

— Что?

— Капсулу с цианом. Если тебя обыщут и найдут её у тебя, это всё равно как если бы ты признался. Не будешь ведь ты глотать циан только потому, что тебя обыскивают. А так всегда есть шанс, что как-нибудь вывернешься.

Я положил свою капсулу с цианистым калием на её ночной столик. У мадам Жюли вдруг стал мечтательный вид.

— Теперь уже недолго, — сказала она. — Я уж ночи не сплю от нетерпения. Было бы слишком глупо попасться в последний момент. — Она рассеянно теребила свою золотую ящерицу. —Если тут слишком запахнет жареным, я выберусь отсюда, присобачу себе куда надо жёлтую звезду и сдамся немцам в Ницце или Канне. Конечно, меня сразу депортируют, но несколько месяцев я продержусь, а тем временем американцы высадятся. Знаешь, как в фильмах про краснокожих, когда в конце всегда появляется кавалерия.

Она засмеялась.

— Янки-дудл-дудл-дэнди… — промурлыкала она. — Что-то в этом роде. Сами немцы в это верят. Кажется, это будет в Па-де-Кале. Хотела бы я это видеть. Так что, если ты попадёшься…

— Будьте спокойны, мадам Жюли. Пусть лучше меня замучат до смерти, чем…

— Да, все так думают. Ладно, увидим. Поезжай.

Через сорок пять минут я был у дома 14 на улице Шан. Я оставил велосипед метрах в ста от дома и взбежал на третий этаж. Я был так

взволнован, что первый раз в жизни у меня сделалось выпадение памяти: забыл, направо или налево. Пришлось заново вспомнить весь разговор с мадам Жюли, чтобы восстановить слова: "Третий этаж, направо". Я позвонил.

Дверь открыл тщедушный молодой человек, довольно красивый, в стиле танцора танго, но очень бледный; его большие, обведённые кругами глаза имели тревожное выражение. Он был в пижаме, на шее у него висел маленький крестик.

— Господин Франсис Дюпре?

— Это я. Что вы хотите?

— Я от графини Эстергази. Я вам привёз лекарство. Он оживился:

— Наконец-то… Не меньше недели прошло… Она меня забыла, мерзавка. Дайте мне…

— Мадам… то есть графиня Эстергази… попросила меня позвонить от вас в Париж.

— Пожалуйста, пожалуйста… Телефон там, в спальне… Дайте мне это…

— Месье, я не знаю немецкого. Надо, чтобы вы сами попросили номер…

Он устремился к телефону, вызвал номер и передал мне трубку. Я отдал ему две ампулы морфия, и он побежал в ванную.

Через минуту я услышал голос Лилы:

— Алло?

— Это я…

— Людо! Но как…

— Не оставайся там, где ты сейчас. Уходи немедленно.

— Почему? Что случилось? Георг мне сказал… Я едва мог говорить.

— Сейчас же уходи… Это место засекли… Они будут с минуты на минуту…

— Но куда мне идти? К родителям?

— Нет, только не это… Подожди…

У меня в голове плясали десятки имён и адресов товарищей. Но я знал, что никто не пустит к себе незнакомку без заранее условленного пароля. И может быть, за Лилой уже есть слежка. Я выбрал наименее опасный выход.

— У тебя деньги есть?

— Да, Георг мне дал.

— Брось все вещи и немедленно уходи, не теряя ни секунды. Снимешь комнату в гостинице "Европейская", улица Роллен, четырнадцать, это возле площади Контрэскарп. Сегодня вечером я тебе кого-нибудь пришлю, он спросит Альбертину, а ты назовёшь его Родриго. Повтори.

— Альбертина. Родриго. Но я не могу так уйти, здесь все мои книги до искусству… Я проревел:

— Ты всё бросаешь и уходишь! Повтори.

— Родриго. Альбертина. Людо…

— Уходи!

— Мне чуть не удалось…

— Уходи!

— Я люблю тебя. Я повесил трубку.

Совершенно измотанный и физически, и нравственно, я упал на неубранную постель. Едва я лёг, как из ванной появился Франсис Дюпре. Никогда бы не поверил, что за несколько минут человек может так измениться. Он излучал покой и счастье. В глазах с томными ресницами страха не осталось и следа. Он сел на кровать у меня в ногах, улыбаясь, с дружеским видом,

— Ну как, молодой человек, всё в порядке?

— Всё в порядке.

— Эта Эстергази чертовски хорошая женщина.

— Да. Чертовски хорошая женщина.

— Она всегда была для меня как мать. Знаете, я диабетик, а без инсулина…

— Я понимаю.

— И потом, инсулин бывает разный. Тот, который она мне достаёт, всегда прекрасного качества. Не выпьете бокал шампанского?

Я встал:

— Извините, я тороплюсь.

— Очень жаль, — сказал он. — Вы мне очень симпатичны. Рад буду видеть вас. До скорой встречи.

— До скорой встречи.

— Только скажите ей, чтобы помнила обо мне. Мне нужно лекарство через каждые три дня.

— Я ей скажу. Но я так понял, что вы тоже немного забыли о ней… Он издал смешок.

— Правда, правда. Больше не буду. Я буду чаще давать ей знать о себе. Я уже был на лестнице.

Мне понадобилось несколько часов, чтобы связаться с "Родриго" в Париже и попросить его пойти в гостиницу "Европейская", улица Роллен, 14, и спросить Альбертину.

На следующий вечер мы получили ответ. В гостинице "Европейская" Альбертины не было. Всю субботу и воскресенье наш товарищ Лаланд звонил по телефону, который мне дал фон Тиле. К телефону никто не подходил.

Лила исчезла.

Глава XLII

Несколько дней я не мог добраться до "Старого источника". Весь район был поставлен на ноги: тысячи солдат прочёсывали окрестности в поисках офицера-изменника. Кроме того, я потерял много времени, лихорадочно и безуспешно пытаясь найти Лилу: товарищи рискнули даже пойти на улицу Шазель и расспрашивать соседей. Все захлопнули двери у них перед носом. Только хозяин бистро на углу вспомнил, что видел, как к дому 67 напротив подъезжала полицейская машина, но они как будто никого не нашли и уехали. Я отыскал в бумагах Дюпра парижский адрес Броницких: видимо, его дала ему Лила. Они тоже исчезли.

Мне удалось себя убедить, что вся семья успела укрыться в деревне, у надёжных друзей. В конце концов, Броницкие имели связи среди французской аристократии, а теперь наступило время, когда, несмотря на уверения радио Виши, что "при попытке англосаксов высадиться они будут немедленно отброшены в море", новоявленные подпольщики стали появляться даже среди тех, кто до сих пор мудро держался в стороне.

Итак, я немного успокоился. Если бы с Лилой что-нибудь случилось, гестаповцы Клери первые были бы в курсе дела, и "Франсис Дюпре" не преминул бы известить ту, которая "всегда была для него как мать", как он мне объяснил. Я видел госпожу Эстергази: она явилась в "Прелестный уголок", высокомерная, вся в сером, и прошла мимо, не взглянув на меня; она даже была без пекинеса. Ей нечего было мне сказать — ничего нового.

Так что с каждым днём я всё больше проникался уверенностью, что Лила в безопасности. Не знаю, была ли это настоящая уверенность, — важно то, что она спасала меня от отчаяния. Теперь мне надо было заняться Хансом, найти ему более надёжное убежище и постараться переправить его в Испанию вместе со следующей группой. Я отправился к Субаберу. Я нашёл Геркулеса в очень плохом настроении.

— Никогда ещё боши не лезли всюду с таким остервенением. Нельзя будет даже пошевелиться, пока они не найдут этого типа. Если так будет продолжаться, дело может кончиться полным провалом. Они уже наткнулись на два склада оружия в Веррьере и взяли одного из братьев Солье и их сестру. Остаётся только одно: найти этого боша и отдать им.

У меня перехватило дыхание.

— Суба, ты не можешь этого сделать.

— Почему это?

— Он тоже подпольщик. Они пытались убить Гитлера… Он очень высоко поднял брови:

— Да, после Сталинграда. И можешь быть уверен, что будут ещё попытки. Генералы поняли, что дело пропащее, и хотят выйти сухими из воды. Я тебе вот что скажу, Флери: счастье, что они потерпели неудачу. Потому что если бы у них получилось, если в следующий раз у них выйдет, то поверь мне, американцы с ними договорятся и снова бросят немецкую армию против русских…

— Не будешь же ты помогать гестапо?

— Послушай, малыш. Мне надо сохранить четыре склада оружия. Печатный станок. Пять радиоприёмников. Ни одного парашюта нельзя будет принять, пока в наших местах днём и ночью шляются боши. Этот парень нам всё испортил. Так что или он, или мы. Я приказал, чтобы его нашли. Тебе бы тоже неплохо взяться за это дело. Никто не знает местность лучше, чем ты.

Я ничего не ответил и ушёл. Я попробовал немного поработать и начал мастерить воздушного змея, но не мог даже придумать его форму. Я сидел неподвижно с голубой бумагой в руке. Суба прав, Пока гестапо

не получит Ханса, никакая деятельность подполья невозможна. С другой стороны, ясно было, что я не могу его предать. В одиннадцать утра в дверь постучали, и вошёл Суба вместе с Машо и Родье.

— Они ищут всюду. Нельзя больше пошевелиться. Ты куда его дел, своего дружка? Он ведь проводил здесь каникулы, этот Ханс фон Шведе, и, оказывается, вы были приятелями. Нет, ты будешь говорить!

— Суба, ванна в той комнате. Не знаю, заговорю ли я под пыткой, всегда себя спрашивал.

— Чёрт тебя возьми, ты что, пошлёшь всё к чёрту из-за немецкого офицера?

— Нет. Дайте мне двенадцать часов.

— Но ни часу больше.

Я не стал ждать ночи, я предпочёл пробираться к "Старому источнику" при свете дня, чтобы быть уверенным, что за мной не пойдёт ни один из моих товарищей. Я приготовил для Ханса гражданскую одежду, но теперь это было не нужно. Когда я нашёл его, он сидел на камне, сняв мундир, и читал. Не знаю, где он взял книгу. Потом я вспомнил, что в кармане у него всегда была книжка, и всегда одна и та же: Гейне.

Я сел с ним рядом. Наверно, у меня был ужасный вид, потому что он улыбнулся, перевернул страницу и прочёл:

h weiss nicht, was soll es bedeuten,

dass ich so traurig bin;

ein Marchen aus alten Zeiten,

das kommt mir nicht aus dem Sinn[38].

Потом он, смеясь, добавил:

— Обойдёмся без перевода, но у Вердена есть нечто в этом роде:

Я вспоминаю

Былые дни

И плачу…[39]

Он положил книгу рядом с собой:

— Итак?

Он внимательно меня выслушал и время от времени кивал головой:

— Они правы. Скажи им, что я их очень хорошо понимаю.

Он встал. Я знал, что вижу его в последний раз и что никогда уже не забуду лицо моего "врага", освещённое весенним солнцем. Проклятая память. Стоял один из тех чудесных весенних дней, безмятежных и мягких, когда природа царит над всем окружающим.

— Попроси твоих друзей прийти сюда за мной до наступления ночи, если возможно. Это… из гигиенических соображений. Здесь много насекомых.

Он замолчал и посмотрел на меня с ожиданием; в первый раз я прочёл в его взгляде беспокойство. Он даже не смел спросить.

Не знаю, ему я лгал или себе, когда ответил:

— Сейчас она должна уже быть в Испании. Будь спокоен. Его лицо осветилось.

— Уф, — сказал он. — По крайней мере, одной заботой меньше.

Я ушёл, и мы до конца остались верны нашему детству: мы не пожали друг другу руки.

На следующий день Суба принёс мне томик Гейне и медальон с портретом Лилы. Остальное они передали полиции, объяснив, что младший Маэ наткнулся на тело в овраге у так называемого "Старого источника", собирая ландыши.

Глава XLIII

Тот же Суба вскоре передал мне известия о дяде. В воскресенье он пришёл ко мне, одетый, как он сам говорил, неосторожно: он мечтал о форме, настоящей французской форме, и чтобы носить её не скрываясь. Он был офицером запаса, о чём всё время нам напоминал, впрочем не уточняя звания, — вероятно надеясь получить в будущем погоны по своему вкусу. В сапогах, берете, бриджах и гимнастёрке хаки, толстый, с хмурым, как обычно, лицом — на нём как бы навсегда застыла ярость, которую он испытал при капитуляции, — Суба тяжело сел на табуретку и без всякой подготовки ворчливо объявил:

— Он в Бухенвальде.

В то время я мало что знал о лагерях смерти. В моём уме слово "депортация" ещё не имело всего своего ужасного значения. Но я думал, что дядя спокойно живёт в Севеннах, и был так потрясён, что, взглянув на меня, Суба встал и сунул мне в руки стакан и бутылку кальвадоса:

— Ну, приди в себя.

— Но что он сделал?

— История с евреями, — хмуро проворчал Суба. — С еврейскими детьми, как я понял. Кажется, в Севеннах есть целый посёлок, который посвятил себя этому. Не помню названия. Гугенотский посёлок. В своё время они сами натерпелись преследований, так что они все за это взялись, и как мне сказали, и сейчас продолжают. Само собой, раз речь идёт о детях, еврейских или нееврейских, Амбруаз Флери сразу влез туда с головой, со своими воздушными змеями, и всё такое.

— Всё такое.

— Да, всё такое.

Он покрутил у виска пальцем:

— Ну, мы все сейчас немного "того". Надо быть безумцем, чтобы рисковать своей жизнью ради других, потому что, когда Франция будет свободна, нас уже может не быть, и мы её не увидим. Только у меня это не в голове… — Он потрогал свой живот. — У меня это в нутре. Так что я не могу иначе. Если бы у меня это было в голове, я бы устроился как Дюпра. В общем, его отправили в концлагерь. Он им попался между Лионом и швейцарской границей.

— Вместе с детьми?

— Про это я ни черта не знаю. Я договорился с одним человеком оттуда, он тебе расскажет подробности. Вставай, поехали.

Я ехал за ним на своём велосипеде, плача носом. Слёзы всегда найдут себе выход, напрасно стараться их сдерживать.

В "Нормандце" в Кло он познакомил меня с господином Терье, который нас ждал. Он сообщил мне, что бежал во время бомбардировки, надев форму убитого немецкого солдата, благодаря тому, что "знал в совершенстве язык Гёте, который преподавал в лицее Генриха Четвёртого". Описав то, что он довольно странно называл "лагерной жизнью", он сказал, что среди худших испытаний дядя никогда не поддавался отчаянию.

— Правда, сначала ему довезло…

— Как повезло, месье? — воскликнул я.

Господин Терье объяснил, в чём заключалось дядино везение. Оказалось, что один из охранников год стоял с оккупационными войсками в районе Клери и вспомнил о воздушных змеях Амбруаза Флери, которыми немцы восхищались и часто покупали, чтобы посылать своим семьям. Начальнику лагеря пришла мысль использовать работу заключённого, и он снабдил его необходимыми материалами. Дяде приказали начать работу. Сначала эсэсовцы забирали змеев и дарили своим детям и детям знакомых, потом решили торговать змеями. Дядя получил целую группу помощников. Так над лагерем позора стали взлетать в воздух разноцветные воздушные змеи — символ несгибаемой веры и надежды Амбруаза Флери. Господин Терье сказал, что дядя работал по памяти, но что ему удалось придать некоторым из своих произведений черты Рабле и Монтеня — ведь он столько раз делал их раньше! Но самый большой спрос был на змеев, имеющих наивную форму картинок из детских книжек, и фашисты даже притащили дяде целую коллекцию сказок и книг для детей, чтобы помочь его воображению.

— Мы очень любили старика Амбруаза, — говорил господин Терье. — Конечно, он был немного чудаковат, чтобы не сказать — немного сумасшедший, иначе он не мог бы — в его-то возрасте, голодный, как все мы! — делать свои штуковины такими яркими, пёстрыми, забавными и весёлыми. Этот человек не умел отчаиваться, и те из нас, кто ждал

смерти как избавления, чувствовали себя униженными перед такой душевной силой — он как бы бросал им вызов. Наверно, у меня всегда будет стоять перед глазами этот неукротимый человек в полосатых лохмотьях узника, в компании нескольких полутрупов, которые не умирали только благодаря чему-то, чего нельзя объяснить словами, запускающий в небо "корабль" с двадцатью белыми парусами, трепетавшими над печами крематориев, над головой у наших палачей. Иногда какой-нибудь змей вырывался и улетал, а мы с надеждой провожали его глазами. За эти месяцы ваш дядя собрал не меньше трёх сотен воздушных змеев, черпая сюжеты, как я уже говорил, из детских сказок, которые дал ему начальник лагеря, из самых популярных сказок. А потом дело приняло дурной оборот. Может, вы ещё не знаете об этой истории с абажурами из человеческой кожи. Ещё услышите. Короче говоря, эта тварь Ильза Кох, надзирательница женского лагеря, заставляла делать для неё абажуры из кожи мёртвых заключённых. Нет, не делайте такое лицо: это ничего не доказывает. И никогда ничего не докажет, сколько бы ни было улик. Стоит появиться какому-нибудь Жану Мулену или Этьену д'Орву[40], как защита получит право слова. Итак, Ильзе Кох пришла в голову мысль: она приказала Амбруазу Флери сделать ей воздушного змея из человеческой кожи. Именно так. Она нашла кожу с красивой татуировкой. Разумеется, Амбруаз Флери отказался. Ильза Кох пристально посмотрела на него и сказала: "Denke doch. Подумай". Она удалилась со своим знаменитым хлыстом, а ваш дядя провожал её глазами. Думаю, тварь поняла, что означают воздушные змеи, и решила сломить дух француза, который не умел отчаиваться. Всю ночь мы пытались уговорить Амбруаза: одной кожей больше или меньше, уже не имело значения. И во всяком случае, в этой коже уже никого не было. Но ничего не вышло. "Я не могу сделать с ними такое", — повторял он. Он не объяснил нам, с кем именно он не может "сделать такое", но мы хорошо его понимали. Не знаю, что для него значили его воздушные змеи. Наверное, какую-то непобедимую надежду.

Господин Терье замолчал в некотором затруднении. Суба резко встал и заговорил у прилавка с хозяином. Я понял:

— Они его убили.

— О нет, нет, могу вас успокоить на этот счёт, — поспешил меня утешить господин Терье. — Они только перевели его в другой лагерь.

— Куда?

— В Польшу, в Освенцим.

Тогда я ещё не знал, что Освенцим будет более известен во всём мире под немецким именем Аушвиц, как тому и следует быть.

Глава XLIV

Уже более двух месяцев Лила снова делит со мной мою подпольную жизнь. Я сплю так мало — специально, потому что состояние нервного истощения благоприятно для её присутствия, — что могу вызывать её почти каждую ночь.

"Ты меня предупредил как раз вовремя, Людо. К счастью, Георг нам достал документы. Я с родителями смогла укрыться в Испании, потом в Португалии..."

Два-три раза в неделю я захожу в муниципальную библиотеку в Клери, чтобы быть ближе к Лиле, и, склонившись над атласом, ведя пальцем по карте, встречаюсь с нею в Эскориале или провинции Алгарви, знаменитой своими пробковыми дубами.

"Тебе бы следовало приехать сюда, Людо. Это очень красивая страна".

"Напиши мне. Ты со мной говоришь, успокаиваешь меня, но когда ты меня покидаешь, то не подаёшь никаких признаков жизни. Ты хотя бы не делаешь глупостей?"

"Каких глупостей? Я сделала их так много!"

"Ты знаешь... "Надо было выжить, спасти своих..." — У неё делается строгий голос: —Вот видишь, ты всё время об этом думаешь. В глубине души ты мне не простил..."

"Неправда. Если я не хочу, чтобы это повторилось, то потому..."

Голос становится насмешливым: "... потому что ты боишься, что это войдёт у меня в привычку".

"Речь идёт не о привычке. Об отчаянии..."

"Ты бы меня стыдился".

"Нет! Иногда я стыжусь, что я человек, что у меня такие же руки, такая же голова, как у них..."

"У кого "у них"? У немцев?"

"У них. У нас. Надо очень верить в воздушных змеев дяди Амбруаза, чтобы смотреть в глаза человеку как он есть и думать: я невиновен. Это не он замучил до смерти Жомбе, не он на прошлой неделе командовал расстрелом, когда шестерых заложников-"коммунистов" изрешетили пулями..."

Голос удаляется:

"Что ты хочешь, надо выжить, спасти своих… Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?"

Я встаю, беру фонарь и иду через двор в мастерскую. Воздушные змеи здесь, всё те же, и их всегда нужно делать заново. Я раз двадцать собирал и "Жан-Жака Руссо", и "Монтеня", и даже "Дон Кихота", этого великого непризнанного реалиста, который был так прав, когда видел вокруг себя, в таком как будто знакомом уютном мире, безобразных драконов, чудовищ, научившихся притворяться и прикрываться личиной доброго малого, "который даже мухи не обидит". С тех пор как появился человек, число мух, поплатившихся своими крыльями из-за этой успокоительной поговорки, достигло сотен миллионов.

У меня уже давно нет ненависти к немцам. Что, если фашизм — не уродливая бесчеловечность? Что, если он присущ человеку? Если в этом первопричина, истина, скрытая, подавленная, замаскированная, отрицаемая, затиснутая в глубь души, но в конце концов выходящая наружу? Немцы — да, конечно, немцы… Просто сейчас в истории их очередь, вот и всё. Неизвестно, что будет после войны, когда Германия будет побеждена, а фашизм спасётся бегством или спрячется… Вдруг другие народы в Европе, Азии, Африке или Америке захотят принять эстафету? Один товарищ привёз нам из Лондона книжечку стихов французского дипломата Луи Роше. Он писал о жизни после войны. Две строчки навсегда мне запомнились:

И резня ужасной будет, Говорю тебе как мать.

Я зажигаю фонарь. Воздушные змеи здесь, но запускать их по-прежнему запрещено. Не выше человеческого роста, говорится в постановлении. Власти боятся этих небожителей, боятся шифровки, обмена условными знаками, сигналов подпольщиков. Детям разрешается только таскать их за бечёвку. Летать запрещается. Больно видеть, как наш "Жан-Жак" или наш "Монтень" волочится по земле, тяжело видеть их ползающими. Когда-нибудь они снова смогут подниматься ввысь и улетать "в погоне за небом". Они снова смогут

успокаивать нас и утешать. Может быть, смысл существования воздушных змеев в том, чтобы красоваться.

В конце концов я всегда брал себя в руки. Это был просто инстинкт самосохранения. Неважно, что у Флери такое: просто сумасшествие или священное безумие. Главное — не терять веры. Иначе не выжить. "Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь?" Я вытирал глаза и продолжал работу.

Иногда дети приходили мне помочь тайком от родителей: Ла-Мотт находилась в пяти километрах от Клери, и надо было беречь обувь. Мы мастерили воздушных змеев и складывали их до будущих времён.

Однажды утром я получил вести от Эстергази. Она по-прежнему регулярно приходила в "Прелестный уголок", несмотря на то что её посетило тяжёлое горе: умер Чонг. Она сама мне об этом сказала, с ещё красными от слёз глазами.

— Я себе куплю таксу, — добавила она, сморкаясь в платок. — Не надо распускаться.

Было 12 мая 1944 года. Во время обеда дверь конторы открылась и я увидел Франсиса Дюпре. Со своими подложенными плечами, напомаженными волосами, неестественно длинными ресницами и большими и нежными глазами, он как будто перенёсся сюда прямо из Неаполя —"страны огненных поцелуев"; в его венах наверняка плавала добрая доза "лекарства", потому что он был в великолепной форме. Видимо, мадам Жюли остерегалась его "забывать", потому что опасность всё увеличивалась: гестаповцы явно нервничали. Никогда ещё графиня так не нуждалась в своём друге, "стопроцентном арийце", и он тоже не мог себе позволить её забыть. Трудно было вообразить более полную взаимную зависимость — и более трагическую.

— Как дела, молодой человек? Он присел на мой стол:

— Будьте осторожны, друг мой. На днях я видел листок с фамилиями. Около некоторых стоял крест, около вашей — только вопросительный знак. Так что будьте осторожны.

Я ничего не сказал. Он покачивал ногой.

— Я сам немного беспокоюсь. Мой друг, майор Арнольд, с минуты на минуту ждёт перевода в Германию. Не знаю, что со мной будет без него.

— Что ж, вы можете поехать с ним в Германию.

— Не вижу, как это сделать.

— Он найдёт способ.

Мне не следовало поддаваться соблазну, потому что Исидор Лефковиц побелел.

— Простите меня, господин Дюпре.

— Ничего. Я не знал, что она вам рассказала.

— Я ничего не знаю. Что касается этого вопросительного знака около моей фамилии… Мне не в чем себя упрекнуть.

— Всё зависит от точки зрения, избираемой по поводу представления, составляемого о данном предмете…

Я продолжил фразу:

— … ибо самый осмотрительный и проницательный человек тем не менее связан рядом потребностей, которые, не являясь первостепенными, всё же имеют значение.

Мы расхохотались. Это была игра в пустую риторику, которую знали все лицеисты.

— Жансон-де-Сайи, старший класс, — прошептал он. — Как это всё сейчас кажется далеко, Боже мой!

Он понизил голос:

— Она хочет вас видеть. Сегодня в три часа дня у "Гусиной усадьбы".

— Почему у усадьбы? Почему не у неё?

— Она поедет за покупками, а это по дороге. И потом… — Он посмотрел на свои ногти с маникюром. —… не знаю, что ему пришло в голову, но этот славный Грюбер будто с цепи сорвался. Представьте себе, позавчера он осмелился обыскать виллу графини.

— Не может быть, — проговорил я с комком в горле.

Я думал о "горничной" Одетте Ланье и о нашем приёмнике-передатчике.

— Неслыханно, не правда ли? Конечно, просто ради порядка. Впрочем, я её предупредил. Конечно, положение ухудшается. Говорят даже, что нам угрожает высадка противника… Мой друг Франц… майор Арнольд очень обеспокоен. Конечно, если только англо-американцы посмеют это сделать, их тут же отбросят в море. Во всяком случае, будем надеяться.

— Люди живут надеждой.

Мы обменялись долгим взглядом, и он вышел.

Было тринадцать тридцать. Я не мог усидеть на месте и пришёл к усадьбе на час раньше. Руины того, что было "турецким изделием на нормандский лад" Броницких, поросли травой и приобрели странно декоративный вид, как если бы их поместил здесь в искусственной заброшенности умелый художник.

Я знал, что из-за нехватки бензина мы вернулись во времена экипажей, но всё-таки был поражён, увидев, как Жюли Эспиноза подъезжает в жёлтом фаэтоне, сидя позади кучера в голубой ливрее и шапокляке. Она величественно вышла из фаэтона, в огромном рыжем парике, выставив грудь, отставив зад, в платье, затянутом в поясе, как на открытках начала века. Её мужественные черты имели ещё более решительное выражение, чем всегда, и, с пачкой "Голуаз" в руке, с окурком в углу рта, она представляла собой ошеломляющую смесь Ла Гулю кисти Тулуз-Лотрека, светской дамы и пожарного. Я мог только смотреть на неё в остолбенении, и она объяснила сердитым тоном, что всегда было у неё признаком нервозности:

— Я даю garden-party в стиле девятисотого года. Кажется, эта падаль Грюбер начинает мне не доверять, а в таких случаях надо быть на виду. Не знаю, что происходит. Kriegsspiel[41], судя по распоряжениям, но все заправилы вермахта примчались сюда со всех концов. Вчера они все собрались в "Оленьей гостинице". Я нахально заявилась туда и всех их пригласила. Там фон Клюге, и Роммель тоже. Фон Клюге был в молодости военным атташе в Будапеште и очень хорошо знал моего мужа…

— Но тогда…

— Что тогда? Или мы ещё не были женаты, или это был не тот Эстергази, а его двоюродный брат, вот и всё. Это как выйдет по разговору. Думаешь, он будет выяснять? Он мне прислал цветы. Garden-party — это в его честь. Ах, Будапешт двадцатых годов, доброе старое время, адмирал Хорти… В двадцать девятом году я была младшей хозяйкой в одном из лучших борделей в Буде, так что я знаю все имена.

Она раздавила окурок каблуком.

— Грюберу я чуть не попалась, но Франсис вовремя меня предупредил. Если бы только они нашли вашу Одетту с её передатчиком… Т-с-с!

Она чиркнула себе пальцем по горлу.

— Куда вы их дели?

— Одетту я оставила, это моя горничная, у неё самые лучшие бумаги, но передатчик…

— Вы его хотя бы не выбросили?

— Он у Лавиня, заместителя мэра.

— У Лавиня? Вы совсем с ума сошли! Это известный коллаборационист!

— Вот именно, а теперь он сможет доказать, что был настоящим подпольщиком. Она улыбнулась с жалостью:

— Ты ещё не знаешь людей, Людо. Впрочем, ты никогда не будешь их знать. Тем лучше. Такие тоже нужны. Если бы не было таких людей, как твой дядя Амбруаз со своими воздушными змеями и как ты…

— Всё-таки для парня со взглядом смертника, как вы мне часто повторяли… Сейчас сорок четвёртый год, так что я не так уж плохо справился.

У меня дрогнул голос. Я подумал о том, кто не умел отчаиваться.

— Он в Освенциме, я знаю, — тихо сказала мадам Жюли. Я молчал.

— Не переживай. Он вернётся.

— Что, ваш друг фон Клюге его оттуда вытащит?

— Он вернётся. Я чувствую. Я хочу, чтобы он вернулся.

— Я знаю, что вы, ко всему прочему, немного колдунья, мадам Жюли, но чтобы быть доброй феей…

— Он вернётся. Я чувствую такие вещи. Вот увидишь.

— Не уверен, что мы с вами доживём до того, чтобы его увидеть.

— Доживём. Значит, я тебе говорила, что Грюбер ничего не нашёл и даже извинился. Вроде бы это из-за всех этих шишек в "Оленьей гостинице"? Они вынуждены принимать чрезвычайные меры. И это правильно. Подложить туда одну хорошую бомбу и… понимаешь?

— Понимаю. Мы сообщим в Лондон, но мы сейчас не можем действовать. "Оленья гостиница" слишком хорошо охраняется, это невозможно. Вы меня вызвали, чтобы спросить меня насчёт этого? Мы к этому не готовы.

— Вы правильно делаете, что на какое-то время притихли. Признаюсь тебе, я сама думала о том, чтобы где-то пересидеть. Я себе подготовила местечко для отступления в Луарэ[42]. Но я решила остаться. Я выстою. У меня только от одного кишки сводит… — Она всё же была встревожена, раз заговорила на старом языке. —… сейчас у меня кишки сводит вот от этого…

Она указала головой на кучера в ливрее, с поводьями и кнутом в руках, который сидел, растерянно помаргивая глазами.

— Этот кретин ни слова не говорит по-французски.

— Англичанин?

— Даже не это. Канадец, но этот сукин сын не франколюбящий…

— Не франкоязычный.

— Твои дружки вчера мне его подсунули в немецкой форме, но я сказала: только одну ночь, не больше. Он уже три недели переходит из рук в руки. Я сейчас смогла его вывезти в ливрее и в фаэтоне для garden-party, но не знаю, куда его деть.

Она бросила на канадца задумчивый взгляд.

— Жаль, что ещё рановато. Неизвестно, будет это летом или в сентябре. А то бы я его выставила на аукцион. Скоро появятся такие, и ты их знаешь, кто дорого заплатит за то, чтобы иметь возможность прятать лётчика союзников.

— Что мне с ним делать в этих тряпках?

— Разбирайся.

— Послушайте, мадам Жюли…

— Я тебе уже сто раз говорила, что нет никакой мадам Жюли, чёрт возьми! — заорала она неожиданно голосом фельдфебеля. — Госпожа графиня!

Она так нервничала, что её усики вздрагивали. Удивительно, какие штуки иногда выкидывают гормоны, подумал я. И именно в этот момент, без всякой причины, потому только, что мадам Жюли рассердилась, а у неё это было признаком смущения или беспокойства, я понял: для этой встречи была другая причина, и это касалось Лилы.

— Зачем вы меня позвали, мадам Жюли? Что вам нужно мне сказать?

Она зажгла сигарету, прикрывая огонёк ладонями, избегая смотреть на меня.

— У меня для тебя хорошая новость, малыш. Твоя полька… в общем, она жива и здорова. Я напрягся, готовясь к удару. Я знал её. Она старалась не сделать мне слишком больно.

— После самоубийства фон Тиле её арестовали. Ей нелегко пришлось. Может, она даже немного тронулась. Они хотели знать, была ли она в курсе заговора. Её считали любовницей фон Тиле… Люди болтают невесть что.

— Ничего, мадам Жюли, ничего.

— В конце концов они её выпустили.

— А потом?

— Потом не знаю, что она делала. Ни малейшего понятия. У неё ведь мать, этот идиот, её отец, — ох, уж этот!… — и у них больше не было денег. В общем, потом…

Она действительно была огорчена и всё время избегала моего взгляда. Она хорошо относилась ко мне, мадам Жюли.

— … Малышка нашлась у одной моей приятельницы, Фабьенн.

— На улице Миромениль, — сказал я.

— Ну и что, что на улице Миромениль? Фабьенн нашла её на улице…

— На панели.

— Ты понимаешь, Людо? Ты понимаешь? Надо было выжить, спасти своих…"

— Да ничего подобного, что ты придумываешь! Просто чтобы не оставлять её на улице, Фабьенн взяла её к себе.

— Конечно, в хорошем борделе всё-таки лучше, чем на улице.

— Слушай, мой маленький Людо, фашисты сейчас делают мыло из костей евреев, так что заботы о чистоте в наше время… Знаешь, шансонье Мартини выступал перед залом, набитым немцами, он вышел на сцену и поднял руку, как для нацистского приветствия. Немцы захлопали. Тогда Мартини поднял руку ещё выше и сказал: "До сих пор в дерьме!" Так что не измеряй уровень сантиметром. И потом, если Фабьенн мне позвонила, так это потому, что она очень хорошо понимает, что малышка там не на своём месте. Проститутка —это профессия, даже призвание. Кому это не дано, ничего не выйдет. Она у меня спрашивает, что с ней делать. Так что иди туда и забери её к себе. Вот, я тебе принесла денег. Поезжай забери её, будь с ней ласков, и всё пройдёт. Осточертело всё белое и всё чёрное. Серое —вот человеческий цвет. Ладно, сейчас я еду на свой garden-party. Я на него вызвала самый цвет проституток. Постараюсь спасти свою шкуру. И избавь меня от этого кретина. Чтоб к следующей войне канадцы выучили французский, или пусть на меня не рассчитывают!

Она заставила парня сойти, подобрала свои юбки и села на его место. Подхватила поводья и кнут, и фаэтон покатился, унося старую неукротимую сводню Жюли Эспинозу на garden-party графини Эстергази. Я оставил канадского пилота в развалинах бывшей маленькой гостиной усадьбы, сообщил Субаберу, что надо им заняться, и начал действовать, чтобы как можно быстрее добыть бумаги, необходимые для поездки в Париж.

Глава XLV

От поездки в "Феерию" мадам Фабьенн на улице Мироменил меня избавили. Я даже немного пожалел об этом, решив с гордостью сдать экзамен на "непридавание значения". 14 марта я был в мастерской с детьми, которые ещё приходили ко мне делать змеев в ожидании тех дней" когда фашистов разобьют и мы снова сможем запускать их в небо. Дверь открылась, и я увидел Лилу. Я встал и пошёл к ней навстречу, раскрыв объятия:

— Вот это сюрприз!

Безжизненная, с потухшим взглядом… Только берет, который она стойко пронесла через все превратности судьбы, был словно улыбка прошлого. Застывшие, расширенные глаза, высокие скулы, натянувшие землисто-серую кожу над впалыми щеками, — всё это было как крик о помощи; но не это меня потрясло, а тревожный вопрос во взгляде Лилы. Она боялась. Видимо, не знала, не выброшу ли я её на улицу. Она попыталась заговорить, её губы задрожали, и это было всё. Когда я прижал её к себе, её тело оставалось напряжённым, она не решалась пошевелиться, как бы не веря в то, что происходит. Я отправил детей и развёл огонь; она сидела на скамейке, сложив руки и глядя себе под ноги. Я тоже ничего не говорил. Я ждал, пока подействует тепло. Всё, что мы могли бы сказать друг другу, говорило за нас молчание; оно старалось как могло, утешало, как старый верный друг. В какой-то момент дверь открылась и вошёл Жанно Кайе, конечно, с каким-то

срочным сообщением или заданием. Он смутился, ничего не сказал и вышел. Первое, что она произнесла, было:

— Мои книги. Надо за ними поехать.

— Какие книги? Где?

— В моём чемодане. Он был слишком тяжёлый. Я его оставила на вокзале просто так, нет камеры хранения.

— Завтра я съезжу, будь спокойна.

— Людо, прошу тебя, они мне нужны сейчас. Это очень важно для меня. Я выбежал и догнал Жанно:

— Останься с ней. Не отходи от неё.

Я вскочил на велосипед. Мне понадобился час, чтобы доехать до вокзала в Клери, где я нашёл в углу большой чемодан. Когда я его поднял, замок раскрылся, и я постоял немного, глядя на шедевры немецкой живописи, мюнхенскую пинакотеку, греческое искусство, Возрождение, венецианскую живопись, импрессионистов и всего Веласкеса, Гойю, Джотто и Эль Греко, рассыпавшихся по полу. Я кое-как втиснул их обратно и вернулся домой пешком с чемоданом на раме велосипеда.

Я нашёл Лилу сидящей на скамейке в прежней позе, в своей дублёной куртке и в берете; Жанно держал её за руку. Он тепло сжал мне руку и ушёл. Я поставил чемодан у скамейки и открыл его.

— Ну вот, — сказал я. — Видишь, у тебя всё есть. Всё здесь. Посмотри сама, но, по-моему, ничего не потерялось.

— Они мне нужны для экзамена. В сентябре я собираюсь поступить в Сорбонну. Ты знаешь, я изучаю историю искусства.

— Знаю.

Она наклонилась, взяла Веласкеса.

— Это очень трудно. Но я выучу.

— Я в этом уверен.

Она положила Веласкеса на Эль Греко и улыбнулась от удовольствия.

— Они все здесь, — сказала она. — Кроме экспрессионистов. Фашисты их сожгли.

— Да, они совершили много злодеяний.

Она с минуту молчала, потом спросила совсем тихо:

— Людо, как это всё могло со мной случиться?

— Ну, во-первых, надо было продлить нашу линию Мажино до самого моря, вместо того чтобы оголять наш правый фланг, потом, нам надо было начать действовать сразу после оккупации Рейнской области, потом, наши генералы оказались рохлями, а де Голля мы открыли слишком поздно…

На её губах появилась слабая улыбка, и я почувствовал себя настоящим Флери.

— Я говорю не об этом. Как я могла.

— Нет, именно об этом. При взрыве всегда летят осколки. Похоже, что Вселенная именно так и образовалась. Случился взрыв, и посыпались осколки: разные галактики, Солнечная система, Земля, ты, я и куриный бульон с овощами, который, наверно, готов. Иди. Будем есть.

За столом она сидела в куртке. Она нуждалась в защитной оболочке.

— У меня есть изумительный торт с ревенем. Прямо из "Прелестного уголка". Её лицо немного посветлело.

— "Прелестный уголок", — прошептала она. — Как поживает Марселен Дюпра?

— Замечательно, — сказал я. — На днях он сказал прекрасную фразу. Кондитер Лежандр плакался, что всё пропало и, даже если американцы победят, страна уже никогда не будет прежней. Марселен страшно разозлился. Он заорал: "Я не допущу, чтобы у меня в кухне сомневались во Франции!"

Тревога не уходила из её глаз. Она держалась очень прямо, сложив руки на коленях. В камине мурлыкал огонь.

— Здесь не хватает кошки, — сказал я. — Гримо умер от старости. Мы заведём новую.

— Я правда могу остаться здесь?

— Ты отсюда никогда не уходила, девочка. Ты была здесь всё время. Ты всё время была со мной.

— Не надо на меня сердиться. Я не знала, что делаю.

— Не будем говорить об этом. Это точно как с Францией. После войны будут говорить: она была с теми… нет, она была с этими. Она сделала то… нет, это. Это всё чепуха. Ты не была с ними, Лила. Ты была со мной.

— Я начинаю тебе верить.

— Я ещё не спросил, как твои.

— Отцу немного лучше.

— Да? Он соблаговолил прийти в себя?

— Когда Георг умер и мы оказались без средств, он нашёл работу в одной библиотеке.

— Он всегда был библиофилом.

— Конечно, на жизнь этого не хватало. — Она опустила голову. — Не знаю, как я до этого дошла, Людо.

— Я тебе уже объяснил, дорогая. Это генерал фон Рунштедт со своими танками. Это "блицкриг". Ты тут ни при чём. Это не ты, а Гамелен[43] и Третья республика. Я знаю, если бы тебя спросили, ты бы объявила Гитлеру войну сразу после оккупация Рейнской области. Тогда, когда Альбер Сарро кричал с трибуны Национального собрания: "Мы никогда не позволим, чтобы Страсбургскому собору угрожали немецкие пушки!"

— Ты всегда над всем шутишь, Людо, а между тем нельзя быть менее легкомысленным, чем ты.

— Легче держаться, если делать вид, что смеёшься. Она подождала минуту, потом прошептала:

— А… Ханс?

Я приоткрыл на груди рубашку, и она увидела медальон.

Слышно было, как за окном поют птицы. Жизнь иногда полна иронии.

— А теперь, Лила, я тебе сделаю настоящий кофе. Живём один раз.

Она страдала бессонницей и просиживала ночи в углу со своими книгами по искусству, прилежно делая выписки. Днём она старалась "быть полезной", как она говорила. Она помогала мне вести хозяйство, возилась с детьми, которые приходили по четвергам[44], а часто и после уроков; груды воздушных змеев росли в ожидании дня, когда смогут взлететь снова. Эти занятия довольно комично квалифицировались директором школы в Клери как "практические работы", и в предвидении будущего мэрия даже предоставила нам небольшую дотацию. Люди шептались, что события ожидаются в августе или в сентябре.

Она спала в моих объятиях, но после нескольких робких попыток я не решался больше её трогать: она принимала мои ласки, но никак не реагировала. В ней угасла как будто не только чувственность, но что-то более глубокое, даже просто чувствительность. Я не понимал, до чего её мучает чувство вины, пока не увидел, что её руки покрыты ожогами.

— Что это такое?

— Я обожглась у плиты.

Это прозвучало неубедительно: отдельные ожоги, идущие через равные промежутки… На следующую ночь я проснулся, почувствовав,

что её место в постели пусто. Лилы в комнате не было. Я вышел за дверь и перегнулся через перила.

Лила стояла, держа в правой руке свечу, и сосредоточенно жгла себе другую руку.

— Нет!

Она уронила свечу и подняла глаза:

— Я себя ненавижу, Людо! Я себя ненавижу!

Кажется, никогда ещё я не получал такого удара. Я застыл на лестнице, не способный ни думать, ни действовать. Эта ужасная и детская манера наказывать себя, искупать грехи показалась мне такой несправедливой, такой постыдной в то время, когда столько моих товарищей боролось и погибало, чтобы вернуть ей честь, что у меня вдруг ослабли ноги и я потерял сознание. Когда я открыл глаза, Лила склонялась надо мной вся в слезах:

— Прости меня, я больше не буду так делать… Я хотела себя наказать…

— Почему, Лила? За что? За что наказать? Ты не виновата. Не ты в ответе за всё это. От всего этого и следа не останется. Я даже не прошу тебя забыть, нет, — я прошу тебя иногда думать об этом, пожимая плечами. Господи, как можно, чтобы человек до такой степени не имел… смирения? Как можно, чтобы так не хватало человечности, терпимости по отношению к себе?

Этой ночью она спала. И наутро её лицо стало светлее и веселее. Я чувствовал, что ей гораздо лучше, и скоро получил доказательство.

Каждое утро Лила брала велосипед и ехала в Клери за покупками. Я всегда провожал её до двери и следил за ней взглядом: ничто не вызывало у меня такой улыбки, как вид этой юбки, колен и волос, летящих по ветру. Однажды она вернулась и поставила велосипед; я стоял перед домом.

— Ну вот, — сказала она.

— Что такое?

— Я шла с корзинкой из бакалеи, и там меня поджидала одна простая женщина. Я с ней поздоровалась — не помню её имени, но я здесь многих знаю. Я поставила корзинку на велосипед и хотела ехать, а она подошла и назвала меня бошкой.

Я внимательно посмотрел на неё. Она действительно улыбалась. Это не была вызывающая улыбка или улыбка сквозь слёзы. Она сделала гримаску и провела рукой по волосам.

— Ну вот, ну вот, — повторяла она. — Бошка. Вот.

— Все чуют приближение победы, Лила, так что каждый в своём углу к ней готовится. Не думай об этом.

— Наоборот, мне нужно об этом думать.

— Но почему?

— Потому что лучше чувствовать себя жертвой несправедливости, чем виновной.

Глава XLVI

Этот эпизод произошёл второго июня. А через четыре дня мы лежали, припав к земле, под бомбами, в двух километрах к востоку от Ла-Мотт, и я ещё и сейчас думаю, что самым первым объектом, который поразили тысячи кораблей и самолётов союзников во время операции "Overlord"[45], был мой велосипед — я нашёл его около дома разбитым и искорёженным. "Они пришли", "они идут", "они здесь" — кажется, весь день я только это и слышал. Когда мы бежали мимо фермы Кайе, старый Гастон Кайе стоял у дома и, сообщив нам, что "они идут", добавил фразу, которую не мог услышать по лондонскому радио, поскольку де Голль произнёс её только через несколько часов:

— Мой маленький Людо, это битва Франции за Францию!

Но, быть может, с историческими фразами дело обстоит так же, как и со всем остальным, и иногда невозможное становится возможным.

Мы оставили его прыгающим от радости на своей единственной ноге и с костылем.

Не видно было ни одного немецкого солдата, но все поля и леса вокруг нас были под шквальным огнём — без сомнения, чтобы помешать подкреплениям противника подойти к побережью.

Я ещё не умел отличить свист авиабомб от свиста снарядов, и мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что этот ад посылает нам небо, как и должно быть. В тот день самолёты союзников появлялись над Нормандией более десяти тысяч раз.

Мы едва пробежали несколько сотен метров, как я увидел посреди дороги безжизненное тело с раскинутыми руками. Я так хорошо его знал, что узнал издали: это был Жанно Кайе. Глаза закрыты, голова в крови — мёртв. Я был в этом уверен: я слишком его любил, чтобы могло быть иначе.

Я повернулся к Лиле:

— Господи, чего ты ждёшь! Осмотри его!

Она удивилась, но стала на колени возле Жанно и приложила ухо к его груди.

Кажется, я засмеялся. Я так долго в годы разлуки воображал её ухаживающей за ранеными среди польских партизан, что ожидал от неё работы медсестры. И теперь я видел её именно такой, склонившейся над телом моего товарища в надежде найти признаки жизни. Она повернулась ко мне:

— Кажется, он...

В этот момент Жанно пошевелился, сел и, несколько раз помотав головой и отряхиваясь, с ещё мутным взглядом, заорал:

— Они идут!

— Ах ты, чёрт тебя возьми совсем! — закричал я с облегчением.

— Они здесь! Они идут!

Я схватил Лилу за руку, и мы побежали.

Я хотел оставить Лилу в безопасном месте и потом уйти с товарищами. Согласно "зелёному плану" мы уже давно знали свою задачу: диверсии на железных дорогах, порча линий высокого напряжения, нападения на поезда. Мы должны были группироваться в районе Орна, но всё шло не так, как предусмотрено. Когда мне удалось добраться до Суба на следующий день, я нашёл нашего любимого начальника в диком бешенстве. Одетый в великолепную форму — он

присвоил себе звание полковника, — он грозил кулаком небу, где кружились самолёты союзников.

— Эти сволочи всё испортили, — ревел он. — Они нарушили всю нашу связь. Наши парни никак не могут собраться. Каково это видеть!

Он только что не проклинал высадку. Даже много лет спустя он по-прежнему хмурился, когда при нём упоминали о высадке союзников. Думаю, он хотел бы "сопротивляться" ещё лет двадцать.

Каждый раз, как нас при разрыве бомбы засыпало землёй, Лила гладила моё лицо:

— Ты боишься погибнуть, Людо?

— Не боюсь, но не хочу.

Выйдя из Ла-Мотт в шесть утра, к шести часам вечера мы смогли продвинуться только на три километра от дорожного знака Кло. Именно там, лёжа распластавшись за откосом, время от времени поднимая голову и пытаясь угадать, откуда ждать очередного удара, мы увидели потрясающее зрелище — до сих пор не знаю, смешное, героическое или и то и другое вместе. Перед нами гуськом продефилировали четыре першерона: первый был запряжён в фургон, остальные — в телеги. Они двигались с полным безразличием ко всему происходящему вокруг, видимо научившись этому у своих хозяев. Семья Маньяр переезжала. Все четверо втиснулись в фургон: девицы сидели на ящиках с продуктами, отец с сыном стояли впереди. За ними тащились телеги с мебелью, кроватями, стульями, матрасами, сундуками, шкафами, тюками белья и бочками. Три коровы завершали шествие. Семья тряслась по дороге, с замкнутыми, как всегда, лицами, не глядя ни на небо, ни на землю. До сих пор не знаю, была ли это тупость или проявление каких-то сверхчеловеческих качеств. В конце концов, может, у них были свои воздушные змеи.

Эта неуязвимая процессия смутила меня и немного пристыдила, потому что я вспотел от страха. Но Лила смеялась. Думаю, после всех перенесённых ею моральных и психических испытаний чисто физическая опасность была для неё облегчением.

— Все вы такие, поляки, — проворчал я. — Чем хуже, тем вы лучше себя чувствуете.

— Дай мне сигарету.

— Всё кончились.

Тут произошло нечто, отчего во мне проснулась надежда. Позади нас раздались отдельные выстрелы, потом очередь из автомата. Я резко обернулся. Из леса, медленно, пятясь, вышел американский солдат с автоматом в руке. Он минуту подождал, потом дотронулся до своего бока и посмотрел на руку. Видимо, он был легко ранен. Как будто не найдя ничего серьёзного, он сел на землю под кустом, взял из кармана пачку сигарет — и взорвался.

Он действительно взорвался, внезапно, без всякой видимой причины, исчезнув в массе взлетевшей земли, которая упала обратно — без него. Думаю, легко ранившая его пуля задела чеку одной из подвешенных к поясу гранат, и, когда он сел, чека вылетела совсем. Он исчез.

— Жалко, — сказала Лила. — Ни одной не осталось.

— Чего ни одной?

— У него была целая пачка. Я уже столько лет не курила американских сигарет. Сначала я был возмущён. Я чуть не сказал ей: "Дорогая, речь идёт уже не о хладнокровии, а о крови", но вдруг почувствовал себя счастливым. Я вновь нашёл Лилу из нашего детства, Лилу времён корзинки с земляникой и мелких провокаций.

Мы пролежали за откосом около часа. Я не понимал этого ожесточённого обстрела лесов и полей, где не было и следа немцев.

— Можно подумать, что они с нами воюют!

Она спокойно выбирала комки земли из своих волос.

— Знаешь, Людо, меня уже столько раз в жизни убивали.

Через несколько дней Суба объяснил мне причины этого почти беспрерывного обстрела десятка квадратных километров нормандской земли так далеко от места высадки. Одну американскую десантную дивизию по ошибке выбросили слишком далеко в глубь района действий, и она рассеялась по всей территории, но немецкая часть сочла это заранее предусмотренным маневром и отступила от побережья. В результате мы попали одновременно под её огонь и под огонь английских батарей, защищавших мосты через Орн; одновременно авиация союзников бомбила все шоссе и железные дороги на этом участке.

Мы воспользовались затишьем, чтобы подойти немного ближе к Орну, но в это время метрах в ста от нас появились немецкие танки, выстроившиеся в одну линию. Немецкая дивизия, в четыре часа дня наконец получившая приказ Гитлера уничтожить плацдарм союзников.

У меня в голове крутилось только одно: "Они стреляют по всему, что двигается", — фраза, всплывшая из какого-то рассказа. Я сжал руку Лилы в своей. Последнее, о чём я подумал, было: никто из моих погибших товарищей не имел счастья сжимать перед смертью чью-то руку. Солнце на минуту показалось из-за тяжёлых туч в голубом прогале неба — в острые моменты небо являет всю свою красоту. Я видел профиль Лилы, массу светлых волос, рассыпавшихся по плечам, и искажённое от страха лицо с застывшей улыбкой.

В башне головного танка встал немецкий офицер. Проезжая мимо, он дружески помахал нам. Я никогда не узнаю, кто он был и почему сохранил нам жизнь. Презрение, человечность или просто красивый жест? Возможно, при виде пары влюблённых, которые держались за руки, он на минуту поднялся до высшего понимания жизни. А может, у него просто было чувство юмора. Проехав, он обернулся смеясь и снова помахал.

— Уф, — сказала Лила.

Мы страшно устали и проголодались; кроме того, в этом хаосе я не видел смысла идти в каком-то определённом направлении. Мы находились недалеко от "Прелестного уголка", он был примерно на три километра южнее; правда, мне казалось, что в той стороне бомбят сильнее всего, видимо из-за моста и магистрали; всё же, если от ресторана хоть что-то осталось, далее под обломками мы нашли бы что поесть. Выйдя на дорогу в Линьи, мы наткнулись на опрокинутую сожжённую самоходную установку, она ещё дымилась. Рядом лежали два убитых немца; третий сидел, опёршись спиной о дерево и держась за живот, закатив глаза и хрипя со свистом, как пустой сифон. Его лицо показалось мне знакомым, и я подумал, что знаю его, но быстро понял, что знаю это выражение страдания. Я уже видел это на лице нашего товарища Дюверье, когда после побега из гестапо в Клери он дотащился до фермы Бюи, чтобы там умереть. Бывает время, когда всё равно, немец ты или француз. Потом я часто об этом думал, когда слышал, как говорят о "банках крови". У него был умоляющий взгляд. Я попытался его ненавидеть, чтобы избежать необходимости его приканчивать. Ничего не вышло. К ненависти надо иметь талант, а мне это не дано. Я взял маузер, зарядил у него на глазах и подождал, чтобы быть уверенным. На лице немца появилось нечто вроде улыбки.

— Иа, гут…

Я два раза выстрелил ему в сердце. Одна пуля ему, другая — за всё остальное. Мой первый акт франко-немецкого примирения.

Лила детски-женственно заткнула уши, закрыла глаза и отвернулась. У меня было глупое чувство, что я стал другом этого мёртвого немца. Шесть американских самолётов пролетели над нами и сбросили бомбы там, где должна была находиться немецкая дивизия. Лила проводила их глазами.

— Надеюсь, они его не убили, — сказала она.

Думаю, она имела в виду командира танка, который нас пощадил. Мои нервы были так натянуты, что я поддался своему мелкому греху — занялся счётом в уме. Мой разум прибегал к нему ради самосохранения, чувствуя, что ему грозит опасность. Я сказал Лиле: для того чтобы продвинуться на пять-шесть километров вперёд, нам пришлось пройти по меньшей мере двадцать километров, и оценил наши шансы остаться в живых как один к десяти. Я прикинул, что мимо нас пролетело примерно с тысячу бомб и снарядов, а в небе мы видели около тридцати тысяч самолётов. Не знаю, хотел ли я таким образом продемонстрировать Лиле своё олимпийское спокойствие или начинал терять голову. Мы сидели на краю дороги, измученные, мокрые от пота, в крови от ссадин и царапин, не ощущая ничего, кроме того, что ещё живы. Нас вывела из оцепенения бомбёжка сокрушительной силы: за несколько секунд у нас на глазах бомбы сровняли с землёй весь лес в двухстах метрах от нас. Мы бросились бежать через поля по направлению к Линьи и через полчаса оказались у "Прелестного уголка". Меня поразило, что здесь ничего не изменилось. Всё было цело. Из трубы мирно шёл дым. Цветы в саду, фруктовые деревья, старые каштаны имели безмятежный вид и казались уверенными в себе. В тот момент я был совсем не склонен к размышлениям, но помню, что в первый раз за день испытал странное и умиротворяющее чувство, что всё идёт хорошо.

В нетронутой "ротонде" с красными драпировками никого не было. Столы накрыты, всё готово к приёму гостей. Хрусталь пел при каждом взрыве. Портрет Брийа-Саварена[46] висел на своём месте, правда немного криво.

Мы нашли Марселена Дюпра у плиты. Он был очень бледен, руки у него дрожали. Он только что вынул из духовки похлёбку с тремя сортами мяса, которую надо готовить несколько часов. Видимо, он поставил её, когда начался этот ад. Не знаю, помогало ли ему привычное дело подавлять страх или он провозглашал таким образом свою верность принципам. Глаза на осунувшемся, как бы постаревшем лице сверкали блеском, в котором я узнавал дорогое мне безумие. Я подумал о дяде Амбруазе. Подошёл к Марселену и со слезами на глазах обнял. Он не удивился и, кажется, даже не заметил моего движения.

— Они все меня бросили, — сказал он хриплым голосом. — Я один. Некому обслуживать. Если придут американцы, хорошенький я буду иметь вид.

— Думаю, американцы здесь будут только через несколько дней, — сказал я.

— Надо было меня предупредить.

— О… о высадке, господин Дюпра? — проговорил я заикаясь. Он размышлял.

— Вы не находите знаменательным, что они выбрали Нормандию?

Я растерянно смотрел на него. Нет, он не смеялся надо мной, он был безумен, совершенно сумасшедший. Лила сказала:

— Видно, они изучили справочник Мишлена и выбрали самое лучшее.

Я сердито посмотрел на неё. Мне показалось, что я услышал саркастический голос Тада. Я считал, что такая преданность священному огню заслуживает большего уважения, если не преклонения.

Дюпра указал жестом на большой зал в глубине ресторана:

— Садитесь.

Он подал нам свою похлёбку:

— Попробуйте только. Я это сделал из остатков. Как? Не так плохо, принимая во внимание обстоятельства. Мне сегодня не подвезли продукты. Но что вы хотите.

Он пошёл за тортом. Когда он вернулся, я услышал свист, который научился различать, и успел толкнуть Лилу на пол и прикрыть её собой. Несколько секунд один взрыв следовал за другим, но это было где-то в стороне Орки, и только одно окно разбилось.

Мы встали с пола. Дюпра стоял и держал блюдо с тортом.

— Здесь безопасно, — сказал он.

Я не узнавал его голоса. Голос был глухой, монотонный, но в нём звучала убеждённость, которая отражалась и в неподвижном взгляде.

— Они не посмеют, — сказал он.

Я помог Лиле подняться, и мы снова сели за стол. Никогда ещё нормандскому торту Дюпра не уделялось так мало внимания. "Прелестный уголок" весь сотрясался. Бокалы пели. Именно в это время, после целого дня колебаний, Гитлер отдал приказ бросить две дивизии стратегического резерва в поддержку своей Восьмой армии.

Дюпра даже не пошевелился. Он улыбнулся, и с каким презрением, с каким чувством превосходства!

— Видите, — говорил он. — Пролетело мимо. И всегда так будет.

Я старался ему объяснить, что до наступления ночи хочу выйти к Невэ, а потом к Орну, чтобы присоединиться к своей боевой группе,

— Мадемуазель Броницкая может остаться здесь, — сказал он. — Здесь она будет в безопасности.

— Слушайте, господин Дюпра, о чём вы думаете? Вас вот-вот накроют.

— Ничего подобного. Вы воображаете, что американцы разрушат "Прелестный уголок"? Немцы его не тронули.

Я промолчал. Я испытывал почти религиозное почтение к такой безумной вере в свою счастливую звезду. Очевидно было, что в его представлении войска союзников получили приказ, возможно от самого генерала Эйзенхауэра, проследить за тем, чтобы историческая ценность Франции не потерпела ущерба.

Я попытался всё же его убедить: "Прелестный уголок" может оказаться в центре смертельной схватки. Он должен отсюда уйти. Но он сказал только:

— И речи быть не может. Вы ко мне без конца приставали со своим Сопротивлением и маки — ну что ж, теперь я вам покажу, кто является, был и всегда будет главным участником Сопротивления Франции.

Я не мог решиться оставить его в таком состоянии, в бреду; я был уверен, что он потерял рассудок и погибнет под обломками "Прелестного уголка". Я помнил расположение всех дорог, мостов и железнодорожных линий этого района и знал, что, если только союзников не отбросят в море, именно здесь будут самые ожесточённые бои. Но Лила совсем выбилась из сил, и достаточно было взглянуть на её

лицо, чтобы понять, что она не в состоянии идти со мной. Я знал, что если, как говорится, есть Бог на небесах, у неё столько же шансов уцелеть здесь, как и в другом месте. Был как раз такой момент, когда думаешь о Боге — Он привык ждать своего часа, Я чувствовал, что если колеблюсь, оставить ли её у Дюпра, то не потому, что риск мне кажется здесь слишком большим, а потому, что не хочу с ней разлучаться. Но я хотел добраться до своих товарищей: мы ждали слишком долго и слишком отчаянно, чтобы я мог колебаться. Дюпра помог мне решиться. Он как будто вышел из транса, обнял меня за плечи и сказал:

— Мой славный Людо, можешь быть спокоен. Мадемуазель Броницкая будет здесь цела и невредима. У меня лучший погреб во Франции. Я её спрячу в самом надёжном месте, рядом с моими лучшими винами, где с ней ничего не может случиться. Не знаю, кто это сказал: "Счастлив, как Бог во Франции", но я уверен, что Господь сумеет сохранить своё достояние.

На этот раз я заметил искру юмора в глазах нашего старого лиса. Может, когда-нибудь надо будет серьёзно подумать о Дюпра, чтобы попытаться понять, сколько было в его "безумии" доброй нормандской хитрости. Я обнял Лилу. Я знал, на какие чудеса способна моя вера: с ней ничего не могло случиться. Мне хотелось плакать, но это просто от усталости.

Я нашёл свою группу без особого труда. В час ночи, пробираясь через болота, я наткнулся на взвод американских парашютистов с чёрными лицами, которые высадились не там, где надо, и не знали, где находятся. Я провёл их в Невэ на наше место сбора и встретился там с Суба и двадцатью товарищами. Как я уже говорил, у нас был приказ производить диверсии, но многие не устояли перед соблазном драться с оружием в руках. Большинство погибло. С восьмого по шестнадцатое июня у нас был только один автомат со ста патронами и две автоматические винтовки со ста пятьюдесятью патронами на десятерых; уцелевшим досталось какое-то количество оружия от убитых немцев. Я ограничивался тем, что взрывал железные дороги и мосты и повреждал

телеграфные линии. Мне не хотелось убивать людей, а сразу трудно отличить гестаповца от человека; стреляешь не раздумывая, и вот уже поздно: он мёртв. Кроме того, меня немного сковывало воспоминание о командире танка, который пощадил нас с Лилой. Но когда армия вермахта отступала, я хорошо поработал у неё в тылу.

Глава XLVII

Три недели я ничего не знал о Лиле. Позже она мне сказала, что Дюпра был с ней очень любезен, хотя один раз удивил её, ущипнув сзади. Он сам очень смутился, но даже в его возрасте эмоции иногда берут верх. Она провела в "Прелестном уголке" две недели, помогая Дюпра принимать американцев и пытаясь переводить им "карту Франции" на английский, что, по мнению Дюпра, было невозможно. Потом она вернулась в Ла-Мотт, и 10 июля мы с ней встретились там. На следующий день мы вместе отправились в Клери. Бои ещё шли, но для Нормандии это уже были отзвуки удаляющейся грозы. Я приклеил на двери мэрии объявление, что работа в мастерской возобновляется в Ла-Мотт с завтрашнего дня и приглашаются все местные дети, интересующиеся тем, что Амбруаз Флери называл "милым искусством воздушных змеев". Велосипед и корзинка Лилы сохранились, и она постаралась раздобыть у американцев шоколаду для детей. Она хотела отметить возобновление "занятий" в Ла-Мотт праздничным чаепитием.

Военный грузовик подбросил меня до "Оленьей гостиницы", где разместились американцы; я вылез у входа в парк. Я хотел попрощаться с мадам Жюли, которая возвращалась в Париж.

Я нашёл её в слезах; она лежала в кресле у рояля, на котором вместо фотографий бывших "друзей" графини Эстергази стояли фото де Голля и Эйзенхауэра.

— Что случилось, мадам Жюли? Она едва могла говорить.

— Они… его… расстреляли!

— Кого?

— Франсиса… то есть Исидора Лефковица. Ведь я приняла меры… Помнишь удостоверение "выдающегося участника Сопротивления", где фамилия не была вписана, которое мне дал Субабер?

— Конечно.

— Это было для него. Я его ему отдала. Оно было у него в кармане, когда они его расстреляли. Они впихнули его в грузовик с двумя коллаборационистами из гестапо, настоящими, и убили его. Потом они нашли удостоверение. Иззи его им не показал! Наверно, он от страха вкатил себе такой укол, что забыл о нём!

— Может, это не потому, мадам Жюли. Может, ему всё осточертело. Она ошеломлённо посмотрела на меня:

— Что осточертело? Жизнь? Что за чепуха.

— Может, он сам себе надоел, и эти уколы, и всё. Она была безутешна.

— Банда негодяев. После всех услуг, какие он вам оказал…

— Это не мы его расстреляли, мадам Жюли. Это новые. Те, кто стали партизанами после ухода немцев.

Я хотел поцеловать её, но она меня оттолкнула:

— Убирайся. Не желаю больше тебя видеть.

— Мадам Жюли…

Ничего не поделаешь. В первый раз с тех пор, как я её знал, эта неукротимая женщина поддалась отчаянию. Я оставил её, старую плачущую женщину, которая, как бедный Исидор, забылась: она не помнила, куда дела свою твёрдость.

Я доехал на попутном джипе до Клери и вышел на улице Старой Церкви. Я должен был встретиться с Лилой на Дневной площади; недавно её переименовали в площадь Победы. Выйдя на площадь, я увидел у фонтана толпу людей. Слышались смех и крики, бегали дети; несколько человек, в основном пожилых, уходили прочь, в том числе господин Лемэн, друг моего дяди, участник Первой мировой войны, у которого колено не гнулось с самого Вердена. Он прошёл хромая мимо меня, остановился, покачал головой и пошёл дальше, ворча про себя. Мне не видно было, что происходит у фонтана. Я бы не обратил на это особого внимания, если бы не заметил обращённых на меня странных взглядов. Леле, новый хозяин "Улитки", Шариво, бакалейщик с улицы Бодуэн, хозяин писчебумажного магазина Колен, да и другие смотрели на меня со смешанным выражением смущения и жалости.

— Что происходит? Они молча отвернулись. Я бросился вперёд.

Лила сидела на стуле у фонтана с обритой головой. Парикмахер Шино, с бритвой в руках и улыбкой на губах, немного отодвинулся и любовался своей работой. Лила в летнем платье смирно сидела на стуле, сложив руки на коленях. Несколько секунд я не мог пошевельнуться. Потом у меня в горле что-то порвалось, и я издал вопль. Я кинулся к Шино, двинул его кулаком по роже, схватил Лилу за руку и потащил через толпу. Люди расступались: дело сделано, "малышка" расплатилась за то, что спала с оккупантами, так что всё в порядке. Позже, когда я смог думать, самым ужасным на фоне всего этого кошмара стало для меня воспоминание о знакомых лицах: все это совершили не какие-то монстры, а люди, которых я знал с детства. И это было страшнее всего.

Я помню, не могу забыть. Я бегу по улицам Клери, таща Лилу за руку. Мне кажется, я никогда не перестану бежать. Я не знал, куда бегу, впрочем, бежать было некуда. Я рычал.

Я услышал шаги за спиной и обернулся, готовый драться. Я узнал булочника, господина Буайе; он со своим толстым животом совсем запыхался.

— Пойдём ко мне, Флери, это рядом.

Он провёл нас в булочную. Его жена бросила на Лилу испуганный взгляд и заплакала, закрываясь фартуком. Буайе проводил нас на второй этаж и оставил одних. Перед тем как закрыть дверь, он бросил:

— Вот теперь фашисты действительно выиграли войну.

Я уложил Лилу на кровать. Она была неподвижна. Я сел рядом. Не знаю, сколько времени мы провели так. Иногда я проводил рукой по её голове. Конечно, они вырастут. Они всегда отрастают.

Её глаза смотрели в одну точку; казалось, она видит перед собой что-то страшное. Насмешливые лица. Бритву в руках славного сельского парикмахера.

— Ничего, дорогая. Это просто фашисты. Они пробыли здесь четыре года и оставили след. Вечером мадам Буайе принесла нам еду, но накормить Лилу оказалось невозможно. Она была в прострации, с широко открытыми глазами, и я думал об её отце, который "порвал с действительностью с её слезами и сложностями", как Лила когда-то выразилась. Ох уж эти аристократы! Ведь, в конце концов, что такое обритая голова молодой женщины? — это даже очень добродушно, когда подумаешь обо всём, что делали другие: концлагеря, пытки, — ну да, другие… — но кто другие?

Человеческое братство имеет иногда мерзкий привкус.

Ночью я встал и поджёг "Прелестный уголок". Облил бензином старые стены, а когда они начали рушиться, смог наконец спокойно заснуть. К счастью, это был только дурной сон.

Господин Буайе привёл доктора Гардье, который сказал нам, что Лила в состоянии шока, и сделал укол, чтобы она заснула. Когда дверь открывалась, я слышал, как радио возвещало о наших победах.

Поздно днём она проснулась, улыбнулась мне и сделала движение, чтобы провести рукой по волосам.

— Боже мой, что это…

— Фашисты, — ответил я.

Она закрыла лицо руками. Часто говорят, что слёзы облегчают.

Мы пробыли у Буайе неделю. Каждый день я выходил с Лилой на улицу, и мы шли по улицам Клери, держась за руки. Мы ходили медленно, целыми часами, чтобы все они могли нас видеть. Мы шли прямо вперёд, молодая женщина с выбритым черепом и я, Людовик Флери, известный во всей округе своей памятью. Я говорил себе, что нам будет очень не хватать фашистов: без них будет тяжело — не на кого сваливать свою вину.

На пятый день нашего шествия господин Буайе пришёл к нам в комнату очень взволнованный, держа в руке "Франс-суар": нас сфотографировали, когда мы шли по улицам Клери, держась за руки. Я не знал, что моё лицо может быть таким жёстким.

На следующий день нас остановили трое молодых людей с повязками FFI[47] на рукаве, Я их знал: они стали "участниками Сопротивления" через неделю после высадки союзников.

— Ты кончишь эту провокацию?

— Это было сделано, чтобы все могли видеть, так?

— Ты получишь пулю в зад, Флери. Надоело. Что ты хочешь доказать?

— Ничего. Всё давно уже доказано.

Они ограничились тем, что обозвали меня ненормальным. Я продолжал нашу "демонстрацию" ещё несколько дней. Меня уговорил перестать господин Буайе.

— Они привыкли вас видеть. Это больше не производит впечатления.

Мы вернулись в Ла-Мотт и вышли оттуда только в конце октября, чтобы пожениться.

Жанно Кайе каждое утро поставлял нам провизию и подарил щенка с их фермы. Лила назвала щенка Шери[48], что вызвало массу недоразумений: каждый раз, как она звала, мы прибегали оба. В эти дни случилось горе, в жизни без этого не бывает: мы узнали, что Бруно не вернулся из воздушного боя в ноябре 1943-го. На его счету было уже семнадцать побед, он имел чуть ли не самое большое количество наград среди лётчиков Английских военно-воздушных сил. И мы напрасно посылали в Польшу письмо за письмом, чтобы узнать что-нибудь о Таде.

Лила решила отложить на год поступление в Сорбонну, чтобы лучше подготовиться. Она много занималась. "Тенденции современного искусства", "Сокровища немецкой живописи", "Творчество Вермеера",

"Мировые шедевры", "Музеи Европы" — груда книг росла на столике, который она поставила у окна мастерской.

Родители Лилы на нашей свадьбе не присутствовали. Серьёзные испытания, через которые они прошли, не заставили их забыть своё высокое положение, и они не одобряли мезальянса. Прежние представления быстро возвращались, и Стас Броницкий снова ощетинился. Нашими свидетелями были Дюпра собственной персоной и графиня Эстергази, с восстановлением демократии ставшая по-прежнему Жюли Эспинозой. Американский солдат привёз её к мэрии на военной машине. Жюли сопровождали две изумительно красивые молодые женщины.

— Возобновляю свою организацию, — объяснила она нам.

Она была великолепна в огромной высокой шляпе, с вечной золотой ящерицей у плеча.

Мадам Жюли сожалела, что мы не венчаемся в церкви.

Дюпра был в визитке, с орхидеей в бутоньерке. "Лайф" посвятил ему статью, этот номер ещё и сейчас висит над портретом Брийа-Саварена; на обложке знаменитая фотография Роберта Капа с изображением "Прелестного уголка" и стоящего у входа его суверенного владыки в рабочем одеянии. Название статьи: "Взгляд на Францию". Статья вызвала большое негодование парижской прессы. В самом деле, в 1945 году искусство кулинарии не занимало в стране такого почётного места, как сегодня. Не знаю, какое место отводили Франции в Европе американцы, но они оказывали "Прелестному уголку" и его знаменитому хозяину не меньше уважения, чем немцы.

Утром перед церемонией Лила долго смотрелась в зеркало и сделала гримаску:

— Мне надо пойти к парикмахеру…

Её волосы отросли не больше чем на два сантиметра. Сначала я не понял. В Клери был только один парикмахер — Шино. Я посмотрел на неё, и она мне улыбнулась. Тогда я сообразил.

Дюпра одолжил нам на этот день один из своих фургончиков, и в половине двенадцатого мы остановились перед парикмахерской. Шино был один. Увидев нас, он отступил.

— Я хочу, чтобы вы меня подстригли по последней моде, — сказала Лила. — Смотрите. Волосы отросли. Никакого вида.

Она направилась к креслу и села улыбаясь.

— Как тогда, — сказала Лила.

Шино всё не двигался. Он совсем побелел.

— Слушайте, господин Шино, — сказал я. — Мы сейчас должны пожениться, и мы торопимся. Моя невеста желает, чтобы вы ей выбрили голову, как шесть недель назад. Не говорите мне, что вдохновение так быстро вас покинуло.

Он бросил взгляд на дверь, но я покачал головой.

— Ладно, ладно, — сказал я. — Я знаю, что восторг первых дней прошёл и сердце не лежит к таким вещам. Но надо уметь поддерживать священный огонь.

Я взял бритву и протянул ему. Он попятился.

— Я вам сказал, что мы спешим, Шино. Моя невеста пережила незабываемый день, и она очень хочет выглядеть как можно лучше.

— Оставьте меня в покое!

— Я не хотел бить тебя по физиономии, Шино, но если ты настаиваешь...

— Это не я придумал, клянусь вам! Они пришли за мной и...

— Не будем спорить, старина, кто это: "они", "я", "наши" или "другие". Это всегда мы. Давай.

Он подошёл к креслу. Лила смеялась. Цела, подумал я. Всё цело.

Шино взялся за работу. За несколько минут голова Лилы была обрита, как раньше. Она наклонилась и полюбовалась собой в зеркале.

— Это мне действительно идёт. Она встала. Я повернулся к Шино:

— Сколько я вам должен? Он молчал, раскрыв рот.

— Сколько? Не люблю делать долги.

— Три с половиной франка.

— Вот сто су, с чаевыми.

Он бросил бритву и убежал в заднюю комнату.

Когда мы подъехали к мэрии, все нас ждали. Когда присутствующие увидели бритую голову Лилы, наступило глубокое молчание. Усы Дюпра нервно вздрогнули. У моих товарищей из организации "Надежда" был

такой вид, будто фашисты вернулись и всё надо начинать сначала. Только Жюли Эспиноза оказалась на высоте. Она подошла к Лиле и поцеловала её:

— Дорогая, какая замечательная мысль! Это вам так идёт!

Лила была очень весела, и лёгкая скованность гостей быстро рассеялась. После церемонии мы поехали в "Прелестный уголок", и в конце обеда Марселен Дюпра произнёс речь, где с волнением говорил о тех, кто "стоял на посту", но без всякого намёка на себя. Он просто напомнил, "с какими испытаниями пришлось встретиться каждому из нас", и потом произнёс фразу, которую я не совсем понял: неясно было, то ли он рад вернуть "Прелестный уголок" Франции, то ли Францию "Прелестному уголку". В заключение он повернулся к приглашённым американским офицерам и с минуту созерцал их в мрачном молчании…

— Что касается будущего, нельзя не испытывать некоторого беспокойства. Господа, из вашей великой страны до меня доходят слухи, которые заставляют меня опасаться худшего. Наша Франция, претерпевшая столько бед, подвергнется новым испытаниям. Я уже слышу, что говорят о курах, выращенных на гормонах, и даже, да простит меня Бог, о замороженных блюдах и, что ещё хуже, о полуфабрикатах. Американские друзья, никогда Марселен Дюпра не примирится с кухней полуфабрикатов. Тем, кто захочет превратить нашу Францию в кормушку для скота, я стану поперёк дороги! Я буду стоять до конца!

Раздались крики "браво!". Американцы начали аплодировать первыми. Дюпра поднял руку:

— Нет смысла отрицать — после всего пережитого ощущаешь некоторую пустоту. Мы не смогли подготовить себе смену. Тем не менее я уверен: то, что я защищал изо всех моих сил, с каждым днём будет укрепляться и в конце концов победит и восторжествует так, как мы и

представить себе не можем. Что касается тебя, Людовик Флери, который столько сражался за это будущее, и вас, мадам, кого я знал маленькой девочкой, вы достаточно молоды для того, чтобы однажды увидеть ту Францию, о которой я, как старый человек, могу только мечтать, и тогда вы дружески вспомните обо мне и скажете: "Марселен Дюпра видел верно".

На этот раз аплодисменты продолжались добрую минуту. Мадам Эспиноза вытирала глаза.

— Ещё одно слово. За этим столом нет одного человека. Не хватает друга с большим сердцем, человека, не умеющего отчаиваться. Вы угадали: я говорю об Амбруазе Флери. Нам его очень недостаёт, и я знаю, Людо, каково твоё горе. Но не будем терять надежды. Может быть, он к нам вернётся. Может быть, он снова будет среди нас — тот, кто с таким постоянством умел выразить милым искусством воздушных змеев всё, что есть вечно чистого и неизменного на этой земле. Я поднимаю свой бокал за тебя, Амбруаз Флери. Где бы ты ни был, знай: твой духовный сын продолжает твоё дело и благодаря этому небо Франции никогда не будет пустым!

Я действительно взялся за работу, и никогда ещё после ухода дяди в нашей мастерской не кипела такая бурная деятельность. Страна нуждалась в моральной поддержке, и заказы сыпались со всех сторон. Наш фонд очень пострадал, и нам приходилось начинать практически с нуля. Большая часть изделий сгорела, но штук пять-десять, которые дяде удалось спрятать у соседей, служили нам образцами, хотя из-за небрежного обращения обветшали и потеряли форму и цвет. Я знал работу и работал быстро. Вопрос был только в том, хватит ли у меня вдохновения после всего пережитого. Воздушные змеи требуют большой неискушённости. С материалами тоже была проблема, а у нас не было ни гроша. Дюпра нам немного помог: как он говорил, во что бы то ни стало надо сохранить местную достопримечательность, но по-настоящему нас поставила на ноги мадам Жюли Эспиноза. В освобождённом Париже мадам Жюли открыла самую блистательную

страницу своей карьеры, которая через тридцать лет принесла ей такую известность. Я немного колебался, не зная, что сказал бы дядя, если бы знал, что наших змеев в некотором роде финансирует первая сводня Парижа, но меценаты всегда существовали. Кроме того, мне казалось, что, отвергнув эту помощь, я стал бы на одну доску с людьми, считающими, что первопричина всего мирского добра и зла находится ниже пояса. Так что мы поехали в Париж навестить мадам Жюли. Ей удалось заполучить прекрасную квартиру с мебелью в стиле Людовика XV. Мадам Жюли угостила нас чаем и рассказала, с какими трудностями сталкивается из-за конкуренции. Её возмущало, что заведения, принимавшие немцев, по-прежнему открыты и обслуживают американцев.

— Ну и нахальство у некоторых бабёнок! — ворчала она.

Я с ней согласился, тем более что накануне был свидетелем восхитительной сцены между Дюпра и мадам Фабьенн, "хозяйкой" с улицы Мироменил. Она явилась обедать в "Прелестный уголок" в сопровождении американского военного атташе и имела наглость сообщить Дюпра, что не один он, по его выражению, "стоял на посту".

Дюпра страшно разгневался.

— Мадам, — заорал он, — если вы не видите разницы между очагом цивилизации и борделем, я вас прошу выйти!

Мадам Фабьенн не пошевелилась. Это была маленькая близорукая женщина с хитрой улыбкой.

— Имейте в виду, — ревел Дюпра, — я принимал здесь, под носом у немцев, участников Сопротивления и лётчиков союзников!

— Ну что ж, господин Дюпра, у меня тоже есть кое-какие заслуги. Это даже позволило мне пройти комитет по проверке с высоко поднятой

головой. Знаете, сколько евреек я спасла во время оккупации? Не меньше двадцати. С сорок первого по сорок пятый в моём заведении побывало двадцать евреек. Когда меня обязали пройти комитет по проверке, эти молодые женщины явились и свидетельствовали в мою пользу. Например, во время этой ужасной облавы в Вель д'Ив я приняла к себе четырёх евреек. Моё заведение — это безусловно бордель, но сколько у вас евреев работало при немцах, господин Дюпра? Скажите-ка, что бы со мной произошло, если бы фашистские офицеры узнали, что имели дело с еврейками? Я не говорю, что занимаюсь хорошим ремеслом, и у меня нет претензий, но где эти молодые женщины могли бы найти пристанище и поддержку, кроме как у меня?

Дюпра — в порядке исключения — замер с разинутым ртом. После паузы он смог пробормотать только: "Чёрт возьми" — и удалился. Я пересказал этот инцидент мадам Жюли, которая несколько растерялась.

— Я не знала, что Фабьенн спасала евреек, — сказала она.

Она объявила, что ничто не доставит ей больше удовольствия, чем возможность помочь мне продолжать дело Амбруаза Флери.

— Пусть эти деньги пойдут на что-то чистое, — сказала она.

Мадам Жюли проявила также много понимания и доброжелательства по отношению к родителям Лилы.

— Нет ничего печальнее, чем судьба аристократов в изгнании, — объяснила она нам. — Я не могу примириться с мыслью, что люди, привыкшие к определённому уровню жизни, станут жертвами трудного времени. Я всегда ненавидела упадок.

Вследствие чего она доверила Геничке Броницкой управление особняком на улице Каштанов, который постепенно приобрёл

международную известность. Таким образом, Стас снова смог играть в рулетку и на бегах. Он скончался от сердечного приступа в Довиле в 1957 году, играя в рулетку, когда крупье подвинул к нему выигранных жетонов больше чем на три миллиона. Можно сказать, что он умер счастливым.

Посольство новой, Народной Польши не могло сообщить нам никаких сведений о Таде. Для нас он всегда жив и всегда в Сопротивлении.

Мы сели на поезд в Клери, добрались туда днём после многочисленных остановок (железную дорогу ещё не совсем привели в порядок) и пошли через поля к Ла-Мотт. После умывшего небо дождя было очень хорошо. Нормандская земля ещё не залечила свои раны, но в осенней тиши они не казались такими страшными. Прекрасное небо над перевёрнутыми танками и искорёженными домами вновь приобрело отрешённо-спокойный вид.

— Людо!

Я увидел. Он трепетал в воздухе, раскинув "руки" буквой V в знак победы. Над Ла-Мотт летел воздушный змей, изображающий генерала де Голля: небольшой ветер помог ему набрать высоту, и он сильно рвался в небо, — видимо, привязь была ему не по вкусу. Он летел величественно, немного тяжело, боком, освещённый закатным солнцем.

Лила уже бежала к дому. Я не двигался. Мне было страшно. Я не смел верить. В Париже я снова стучался во все двери: обращался в Министерство заключённых и депортированных, в Красный Крест, в польское посольство, — и мне подтвердили, что Амбруаз Флери значится в списках узников Аушвица.

Надежда пугает. Всё моё тело оледенело, и я уже плакал от разочарования и отчаяния. Это не он, это кто-то другой, или просто дети

решили сделать мне сюрприз. Наконец, не в силах справиться с собой, я сел на землю и закрыл лицо руками.

— Это он, Людо! Он вернулся!

Лила тянула меня за руку. Остальное было как счастливый бред. Дядя Амбруаз, который не мог меня обнять, чтобы не упустить своего "де Голля", смотрел на меня нежно и весело.

— Ну, что скажешь, Людо? Хорош змей, правда? Я не разучился. Таких понадобятся сотни, вся страна будет их заказывать.

Он не изменился. Не состарился. Такие же густые и длинные усы, то же веселье в тёмных глазах. Ничего они не могут сделать. Не знаю, кого я подразумевал под "ними". Наверное, фашистов или просто всех им подобных.

— Я за тебя беспокоился, — сказал он. — И за тебя тоже, Лила. Иногда даже спать не мог. Подумать только, двадцать месяцев ничего не знать...

"Чёрт возьми, — подумал я, — он двадцать месяцев пробыл в Бухенвальде и Аушвице — и мог беспокоиться за нас!"

— Я вернулся через Россию, — сказал он, — там я несколько месяцев работал. После всего, что они пережили, детям там действительно нужны воздушные змеи. Ты, конечно, не терял времени даром, но ещё много надо сделать.

Мы весь вечер составляли список того, что у нас осталось.

— Некоторые можно починить, — сказал дядя, — но за историческую серию придётся браться заново. Посмотри только!

"Паскаль" и "Монтень", "Жан-Жак Руссо" и "Дидро", которых мы забрали от соседей, висели под потолком все в пятнах, покрытые плесенью, поломанные и поблёкшие.

— Так, это мы сделаем, а потом… Он немного подумал.

— Не знаю, стоит ли восстанавливать то, что было. Нет, наверное, стоит, чтобы была память. Но нужно новое. Пока будем делать "де Голля", на какое-то время этого хватит. Но потом надо будет найти что-то новое, видеть дальше, смотреть в будущее…

Мне хотелось поговорить с ним о "Прелестном уголке" и Марселене Дюпра, что-то подсказывало, что будущее — с ними, но нет пророка в своём отечестве, и рано ещё было подводить итоги.

Возвращение Амбруаза Флери отмечалось как национальный праздник — у каждого было ощущение, что Франция обрела прежнее лицо. Дети помогли нам собрать тайком воздушного змея с его изображением, и всё воскресенье он парил над площадью, которая теперь носит его имя, рядом с музеем воздушных змеев в Клери; к сожалению, этот музей более известен за рубежом, чем во Франции, и славится далеко не так, как "Прелестный уголок". В стенах музея нет воздушного змея "Амбруаз Флери" — мой дядя решительно отказался быть музейным экспонатом, однако, как немного зло говорит Марселен Дюпра, "этого не долго ждать". Отношения между этими двумя уже не те, что прежде. Возможно, они слегка завидуют друг другу: иногда кажется, что они не могут поделить будущее. "Посмотрим, за кем будет последнее слово", — ворчат иногда они оба. Заканчивая наконец свою повесть, я хочу ещё раз написать слова: пастор Андре Трокме и Шамбон-сюр-Линьон, потому что лучше не скажешь.

Примечания

1

Леон Гамбетта (1838-1882) — французский адвокат и политический деятель. Во время франко-прусской войны 1870-1871 гг. — член Правительства национальной обороны. В 1881-1882 гг. — премьер-министр Франции.

2

"Конквистадоры" — поэма Ж. М. де Эредиа.

3

Анри Руссо, по прозвищу Таможенник (1844-1910), — французский художник-примитивист.

4

Эдуар Эррио (1872-1957) — французский политический деятель. Лидер партии радикалов (1919-1935), премьер-министр (1924-1925).

5

Имеется в виду Мюнхенское соглашение 1938 г. между Францией, Великобританией, нацистской Германией и Италией Муссолини, которое, по сути, способствовало развязыванию Второй мировой войны.

6

Арколе — местечко в Италии, где в 1796 г. Наполеон одержал победу над австрийцами и лично отличился при взятии Аркольского моста.

7

Пьер Лоти (1850-1923) — французский писатель.

8

Анна де Ноай (1876-1933) — французская поэтесса.

9

Рудольфо Валентино (1895-1926) — американский киноактёр.

10

Равашоль (1859-1892) — французский анархист. Зачинщик многочисленных покушений, казнён на гильотине.

11

Свен Гедин (1865-1952) — шведский путешественник, исследовавший области Центральной Азии.

12

Леон Блюм (1872-1950) — французский политический деятель. В 1936-1937 и 1938 гг. — глава правительств Народного фронта. В 1940 г. арестован немецкими оккупантами и интернирован в Германии.

13

Андре Тардье (1876-1945) — один из лидеров французских правых между двумя мировыми войнами; премьер-министр (1929-1930, 1932).

14

Эдуар Даладье (1884-1970) — французский политический деятель. Лидер партии радикалов (1935-1940); премьер-министр (1933, 1934, 1938-1940).

15

Пьер Лаваль (1889-1958) — французский политический деятель; премьер-министр (1931 — 1932, 1935-1936). В 1940 — 1944 гг. — один из лидеров режима Виши. Казнён по обвинению в государственной измене.

16

Пьер-Этьен Фланден (1889-1958) — французский политический деятель правого толка; премьер-министр (1934-1935).

17

Альбер Сарро (1872-1962) — французский политический деятель.

18

Курцио Малапарте (1898-1957) — итальянский писатель и журналист, преследовавшийся в 30-е гг. за антифашистскую деятельность.

19

Фердинан Фош (1851-1929) — маршал Франции. В 1918 г. — верховный главнокомандующий союзными войсками, одержавшими победу над Германией.

20

Ян Собеский — Ян III (1629-1696) — король Речи Посполитой. В 1683 г, разгромил турецкую армию, осаждавшую Вену.

21

Общество защиты животных (англ.).

22

Вальден — наст, имя Георг Левин (1878-1941) — немецкий писатель-экспрессионист и музыкант, основатель журнала "Буря".

23

Беллини — знаменитая семья венецианских художников (XV-XVI вв.).

24

Пьетро Лонги (1702-1785) — итальянский художник. Родился в Венеции.

25

Мон-Валерьен — холм на западной окраине Парижа, где оккупанты часто производили расстрелы патриотов.

26

Карл Мартелл (685-741) — национальный французский герой, знатный сеньор, выигравший в 732 г. битву с арабами при Пуатье.

27

Готфрид Бульонский (1061 — 1100) — герцог, предводитель первого крестового похода.

28

Роланд Ронсевальский — наиболее знаменитый герой из легендарных соратников Карла Великого, в 778 г. погиб в битве против баскских горцев.

29

Лотарингский крест — в средние века герб независимой провинции Лотарингия, откуда происходят предки де Голля. Лотарингский крест стал эмблемой движения "Сражающаяся Франция", возглавляемого де Голлем.

30

Жорж Гинемер (1894-1917) — знаменитый французский лётчик, погиб в воздушном бою. Имел на своём боевом счету 54 сбитых самолёта.

31

Приём на открытом воздухе (англ.).

32

Подпольная антифашистская газета, издававшаяся во время оккупации.

33

Польша (англ.).

34

"Звёзды и полосы" (англ.).

35

Этот парень (нем.).

36

Зимний велодром в Париже.

37

18 июня 1940 г. де Голль в Лондоне призвал французов к сопротивлению.

38

Не знаю, что стало со мною,

Печалью душа смущена.

Мне всё не даёт покою

Старинная сказка одна.

Г. Гейне, перевод В. Левина.

39

Поль Верлен. "Осенняя песня".

40

Национальные герои, герои Сопротивления, убитые гитлеровцами.

41

Военная игра (нем.).

42

Луарэ — департамент Парижского бассейна, в районе Орлеана.

43

Морис Гюстав Гамелен (1872-1958) — французский генерал, главнокомандующий силами союзников в 1939-1940 гг.

44

Свободный день во французской школе.

45

Владыка (англ.).

46

Ансельм Брийа-Саварен (1755-1826) — французский кулинар, автор книги "Физиология вкуса".

47

Forces Franchises Interieures — Французские внутренние силы (фр.).

48

Милый (фр.).